

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ОТДЕЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА

---

ВОПРОСЫ  
ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1952 ГОДА

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

6

НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ

---

"НАУКА"

МОСКВА - 1997

## СОДЕРЖАНИЕ

А Л Ш и л о в (Москва) Ареальные связи топонимии Заволочья и географическая терминология Заволочской чуди	3
А А л ь к в и с т (Хельсинки) Мерянская проблема на фоне многослойности топонимии	22
Д О Д о б р о в о л ь с к и й (Москва) Национально-культурная специфика во фразеологии (I)	37
Е А Л ю т и к о в а (Москва) Рефлективы и эмпфаза	49
Б Я О с т р о в с к и й (Москва) Эвиденциальность и перфектные формы (на материале языка дари)	75
Е Л Р у д н и ц к а я (Москва) Проблема алтайского сочинения в корейском языке	89

### КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

#### Обзоры

К Я С и г а л (Москва) Проблема иконичности в языке (обзор литературы)	100
--	-----

#### Рецензии

Е В К л о б у к о в (Москва) Межкатегориальные связи в грамматике	121
В М М о к и е н к о (С-Петербург) <i>Koester Thoma Soin Die Lexik der russischen Umgangssprache Forschungsgeschichte und Darstellung</i>	129
В З С а н н и к о в (Москва) Ю Д А пр е с я н О Ю Б о г у с л а в с к а я И Б Л е в о н т и н а Е В У р ы с о н М Я Г л о в и н с к а я Т В К р ы л о в а Новый объяснительный словарь синонимов русского языка Первый выпуск	134

### НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки	138
Указатель статей опубликованных в 1997 г	140

## РЕДКОЛЛЕГИЯ

Ю Д А пр е с я н А В Б о н д а р к о В Г Г а к В З Д е м ь я н к о в В М Ж и в о в  
А Ф Ж у р а в л е в Е А З е м с к а я Ю Н К а р а у л о в А Е К и б р и к  
М М М а к о в с к и й (отв секретарь), Т М Н и к о л а е в а (зам гл редактора), Ю В О т к у п и щ и к о в  
В В П е т р о в В М С о л н ц е в О Н Т р у б а ч е в (главный редактор)  
А М Щ е р б а к

Зав отделами Л Л А г а ф о н о в а М М М а к о в с к и й Г В С т р о к о в а  
Зав редакцией Н В Г а н н у с

Адрес редакции 121019 Москва Г-19 ул Волхонка, 18/2  
Институт русского языка, редакция журнала Вопросы языкознания

Тел 201-74-42

© 1997 г.

А.Л. ШИЛОВ

**АРЕАЛЬНЫЕ СВЯЗИ ТОПОНИМИИ ЗАВОЛОЧЬЯ  
И ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ  
ЗАВОЛОЧСКОЙ ЧУДИ**

Топонимия исторического Заволочья (понимаемого как междуречье Онеги и Северной Двины, или шире – как территория, лежащая в пределах бассейнов этих рек и Мезени) давно стала предметом изучения [Матвеев 1971, Агеева 1990 101–113]. Исследования М.А. Кастрена, А. Шегрена, А.Ф. Орлова, М. Веске, К. Виклунда, А.Л. Погодина, Я. Калимы, Т. Итконена, В. Ниссиля, М. Фасмера, А.И. Попова, Б.А. Серебренникова подытожены, проанализированы и развиты в многочисленных работах А.К. Матвеева, который опирается на несравненно более богатый топонимический и апеллятивный материал, нежели его предшественники.

К настоящему моменту можно считать доказанным наличие в Заволочье относительно поздних топонимов прибалтийско-финского (запад), коми (юго-восток), самодийского (северо-восток) и русского происхождения. На юге региона (басс. Устья) А.К. Матвеевым найдены топонимические следы мерянских переселенцев, предположительно датируемые XIII в. [Матвеев 1996].

Что же касается субстратных топонимов (созданных населением Заволочья в эпохи, предшествующие началу русской колонизации), то определенно установлено одно наличие мощного слоя топонимов саамского типа, принадлежащих минимум двум диалектным группам [Матвеев 1979, Матвеев, Стрельников 1988]<sup>1</sup>. Но топонимы, которые могут быть отнесены к указанным выше группам, охватывают не всю топонимию Заволочья. Часть субстратных топонимов явно принадлежит иным языкам, помимо перечисленных (хотя они определенно являются финно-угорскими), причем исследования Матвеева свидетельствуют о том, что эти топонимы предшествуют саамским или одновременны с ними. Этот тип топонимов (для юго-востока Заволочья), назван Матвеевым "северофинским", а соответствующий язык определен как промежуточный между прибалтийско-финскими и саамским с одной стороны и языками волжских финнов с другой<sup>2</sup>. Позднее А.К. Матвеев [Матвеев 1995, 1996] обозначил такую стратификацию топонимов Русского Севера: русские, прибалтийско-финские, саамские,

<sup>1</sup> Вероятно будущие исследования увеличат число древних саамских диалектных групп Заволочья. Во всяком случае любопытен следующий факт. В [Шилов 1996: 60] была предложена этимология названия *Двина* из саамского термина (имеющего соответствия в прибалтийско-финских и волжских языках) со значением *внешняя, дальняя, северная*. При этом наиболее близким к *Двина* оказалась форма слова не кольских (*lavien*) а финских саамских диалектов в западном *Duivine* в диалекте Утсьоки *diven*. Теперь можно заметить что в этих же диалектах есть термин со значением *задний* который весьма правдоподобно объясняет название р. *Шексна*, др. русск. *Шоксна*. *Шоксна* в западном диалекте *du oksne tuoksne*, в диалекте Утсьоки *duigesna* (из палатализованного *(d)* ожидалось бы русск. *ts(d)z*) \**Чоксна*, о колебании *t~č~n* в анлауте см. ниже в разделе *согга*). Здесь мы имеем не только созвучие но и парную оппозицию с названием Двины по относительному положению этих рек.

<sup>2</sup> В целом это соответствует наблюдениям И.И. Муллонен [Муллонен 1990, 1994] над топонимией Межозерья и нашим в отношении территории Карелии. В обоих случаях прослеживается достаточно четкая стратификация топонимов: русские, прибалтийско-финские, саамские плюс архаичные финно-угорские, которые во многих случаях раскрываются из реконструкций для прибалтийско-финского языка основы.

"марийские", подразумевая здесь скорее не марийцев, а летописных мерян, но имея в виду полагаемую им близость мерянского языка к марийскому. Доказательство этому Матвеев находит в интерпретации основ ряда топонимов, топоформантов *-бол-пол*, *-важ/-вож* и некоторых апеллятивных заимствований в северорусских диалектах, определяемых им как марийские. Наши данные, основанные на сопоставлении заволочской и карельской топонимии и анализе некоторых заимствований, позволяют дополнить, а в ряде позиций и оспорить выводы Матвеева в отношении субстратных топонимов Заволочья.

#### О СПОРНЫХ ТОПОФОРМАНТАХ ЗАВОЛОЧЬЯ

К таковым можно отнести *-еньга*, *-ежма/езьма*, *-бал(а)/-бол(а)/-пола* и *-веж/-важ/-без/-баж*. Первый из них отражает уральский "водный" термин, а распространен, в основном, в Заволочье, Карелии, Финляндии и на Кольском п-ве [Шилов 1997]. Второй остается пока необъясненным (данные автора подталкивают к выводу о гетерогенности его происхождения). Ареал его огромен: почти весь север Европейской России. Во всяком случае эти форманты не являются собственно волжскими.

Топоформант типа *-бола*, чаще присутствующий в ойконимах, нежели в гидронимах, А.И. Попов с полной определенностью трактовал как мерянский в значении "вид поселения" [Попов 1974]. А.К. Матвеев указал, что названия с *-бола/-пола* многочисленны и на Русском Севере, где они членятся на несколько локальных групп (Белозерье, Сухона, район оз. Лача, среднее и нижнее течение Двины, Пинега, Мезень), и пришел к выводу, что северные топонимы – не мерянские (хотя зачастую *-бола* присоединяется к "марийским" основам), но родственны им [Матвеев 1996]. Отметим, что к северо-западу от указанных территорий расположена небольшая группа топонимов на *-поль(-боль)*: *Каргополь* на Онеге, *Таржеполь* на Ивине, *Воеполь* в бассейне Нижнего Выга, древний *Сердоболь*.

О происхождении соответствующих формантов единого мнения нет. А.И. Попов сравнивал *-бол(а)* с удмурт. *нал* "сторона" [Попов 1974]. А.К. Матвеев, отметив, что на марийской почве формант не получает убедительной этимологии, предположительно сопоставил его с саам. *hälla* "сторона; половина" [Матвеев 1995]<sup>3</sup>. Интересно и прибалт.-фин. *pala* "кусоч (в т.ч. – земли), полоска поля" [SKES: 471], в топонимах – "участок земли" [ГНК 1993], а также *palo* "пожога", потенциально имеющее возможность перейти в термин, обозначающий жилище, поселение (вспомним историю русского *деревня*).

Рассматривался еще один вариант. Д. Европеус выводил подобные топоформанты из манс. *паул*, *павыл* "изба", венг. *falv* "деревня" [Европеус 1876]. М. Фасмер (цит. по [Матвеев 1996]) к венгерскому слову привел (со ссылкой на сообщение Я. Калимы) фин. *palva*, в топонимах означающее "деревня" (ср. *Palwalax* в Водской пятине [История 1987: 294]). Возможно такое значение действительно развилось в топонимическом употреблении из исходного "бесснежное место; место, где стаял снег; прогалина; место на поле без растительности": фин. *pälvi*, *pälve*, *pälvä*, карел., ливвик. *pälvi*, людик., эст. *pälv*, саам. *Vielle*, *p'ïowle*, *heäula*, *pieü<sup>a</sup>*, *piälv<sup>a</sup>*, *piäl* [SKES: 682–683; Itkonen 1958: 375]. Таким образом, можно полагать, что обсуждаемый формант имеет если не прибалтийско-финское, то, как минимум, финно-угорское, но не собственно мерянское происхождение.

Вопрос о форманте *-вож/-важ/-веж/-баж/-без/-бож* А.К. Матвеев не считает решенным, но видит выбор лишь между марийск. *важ*, *вож* "корень" (= "место разветвления; исток") и коми *вож* "ответвление, росоха; исток". При этом он указывает, что в прибалтийско-финских, саамском и мордовских языках соответствующих лексем нет, или они фонетически и семантически далеки [Матвеев 1995; 1996]. Нам кажется,

<sup>3</sup> Ср. с фин., карел. *puoli*, вепс. *pol'*, эст. *pool*, ливск. *piäl*, водск. *pooli* "половина, часть, сторона", но и "местность, край, округа".

что при данном подходе упускается чрезвычайно интересная возможность, не рассмотрев которую, нельзя оставаться в рамках указанной трактовки.

Ареал названий с обсуждаемым формантом (в основном гидронимов) не исчерпывается коми, марийскими, мерянскими территориями и Заволочьем. Подобные мы видим и в тверских (реки *Логовежь*, *Уйвежь*, озера *Скорбеж*, *Коробожа*, *Полобжа*), псковско-новгородских (р. *Пчевжа*, оз. *Дербовеж*), вологодских (р. *Цывеж*, древние волости *Арбужевесь*, *Луковесь*, *Мадовесь*, *Череповесь*<sup>4</sup>), смоленско-белорусских землях (рр. *Рутавечь*, *Весья*, *Вець*: село *Ветьское* в грамоте 1136 г. [ДКУ 1976: 9], *Сервеч*), в Ленинградской обл. (*Лемовжа*), в Эстонии (др.-русс. *Омовжа*, *Омовыжа* (в НПЛ под 1234 г.) < \**Etävesi* [Попов 1981], эст. *Etäjägi*), на юге Карелии (реки *Наровожа*, *Отовожа*, *Ковожа*, *Кайновожа*). Трудно сомневаться в единстве очерченного ареала<sup>5</sup>. Но также несомненно происхождение элементов *-веж*, *-вечь*, *-вещ*, *-весь*, *-вжа*, *-вожа* (откуда и *-божа*, *-беж*, *-бжа*) в названиях западной половины ареала. Это результат русского освоения прибалтийско-финского слова "вода", в древности еще и "река, водоем": фин., карел., водск., эст. *vesi*, вепс., ижорск. *vezi*, ливвик., людик. *vezi*, *veži*, *veži*, ливск. *vei'ž*, *ve'ž*, *vēž*, уральск. \**vete*.

К настоящему времени эта традиция номинации водных объектов в прибалтийско-финских языках утрачена<sup>6</sup>, но она жива в ряде других языков уральской группы (коми, самодийских), а топонимические следы ее имеются на всех территориях древнего проживания финно-угров и самодийцев<sup>7</sup>. Так что нельзя исключить, что гидроформанты типа *-веж*, *-вож*, *-важ*, *-беж*, *-бож*, *-баж* в Заволочье происходят из слова "вода" местных диалектов прибалтийско-финского типа (в волжских языках имеем марийск. *bet*, *βüt*, мордовск. *ved*, *väd* "вода" и соответствующие гидронимы типа *Vad*).

#### ЯВЛЯЮТСЯ ЛИ МАРИЙСКИМИ "МАРИЙСКИЕ" ТОПОНИМЫ И АПЕЛЛЯТИВЫ В ЗАВОЛОЧЬЕ?

Пока строго не доказана принадлежность какого-либо слоя топонимов определенному языку, их этимологизация в редких случаях бывает достаточно надежной. Чаще это оказывается возможным, если объект обладает выразительными характеристиками, прямо указывающими на вероятную семантику названия; но для этого необходимо личное знакомство с ним. В противном случае, в зависимости от выбора языка для сравнения, выводы, сделанные из анализа одних и тех же топонимов, окажутся различными<sup>8</sup>. Это относится не только к коротким, но и к многосложным топонимам. Так, костромской гидроним *Нерехта* может трактоваться из саам. *nir'ht'* "западный", но и из мордовск. \**нерехть*, где *нер-* – финно-угорская основа со значением "болото" или "озеро", *-хть* – показатель множественности в мордовском языке. Названия Архангельской области *Пертема*, *Пертома*, *Пертоминск* внешне входят в круг топонимов с основой *перт-* (*Пертозеро*, *Пертюг*, *Пертоя*, *Пертнаволок* и др.),

<sup>4</sup> Об атрибуции элемента *-весь* в этих четырех названиях см. [Лукичева 1985], с историей вопроса. В любом случае, это названия не русские (ср., например, *Арбужевесь* с прибалт.-фин. *arpoja*, *arboi* "жрец"). Русские названия с *весь* "деревня" писались в два слова, даже если их первый компонент был нерусским: *Пужвина весь*, *Яня Весь*, *Келемельская Весь* [Кн. 1500].

<sup>5</sup> Некоторые конкретные названия мы, возможно, ввели в этот список ошибочно. Так, основы названий *Скорбеж* и *Дербовеж* могут быть объяснены из др.-русс. *скора* "шкура" и *дервь* соответственно (хотя можно допустить соответственно и фин. *sykurä*, *sykärö* "охапка, куча, скирда" и *terva* "смола", подвергшиеся сильному искажению при адаптации названий славянами). В этом случае и элемент *-веж* получает объяснение на русской почве [Подольская 1983].

<sup>6</sup> А.И. Попов указывал, что она сохранена лишь ливским языком [Попов 1981]. Можно еще указать названия множества озер Финляндии, с компонентом *-veti*, осознаваемым как "озеро; плес озера".

<sup>7</sup> А.К. Матвеев предположил наличие подобной традиции и у предков саамов, сопоставив названия ряда рек *Шача* в марийских землях с саам. *šavse* "вода" [Матвеев 1996].

<sup>8</sup> Так, границу былого расселения балтов проводили в Белозерье на основании наличия там топонимов типа *Перкумс*, *Музугис*, *Пигумс* [Семелов 1934]. Но сейчас совершенно очевидно, что это вепсские топонимы, содержащие термин *hantez* "подсека".

восходящих к прибалт.-фин. *perit(i)* "изба" [Матвеев 1966]. Но они могут восходить и к саам. *peärtat* "ловушка (на бобра, росомуху)". Проиллюстрируем это положение для топонимов Русского Севера, основы которых А.К. Матвеев определил как "марийские". Названия Заволочья и марийские апеллятивные параллели приведены согласно [Матвеев 1995]. Мы же приведем для тех же топонимов прибалтийско-финские и саамские апеллятивные параллели и топонимы Карелии и Кольского п-ва.

*Келгозеро* (марийск. *келге, келгы* "глубокий") ср. с названиями *Келкин наволоок, Келко остров, на Олонцы Килгиничи, Килкин наволоок в лахте* [Книги 1930], р. *Келка, Килгамостров*, р. *Килькон* в Карелии, возвышенность *Kelgantshielj* на Кольском п-ве, р. *Kälkäjoki* в Финляндии и с саам. *leäl<sup>8</sup>kan, k'i elg<sup>d</sup>*, родит. пад. *k'ïälĠan*; "гладкий ягельник; место с редким лесом".

*Корна, Корнов, Корнома* (марийск. *корно, корны* "дорога") ср. с многочисленными в Карелии топонимами с основой *Карн-, Корн-* (р. *Карная* в Карельском уезде Водской пятины в 1568 г. [История 1987: 140]) и прибалт.-фин. *kaarne, koarne*, саам. *karnas* "ворон".

*Кужа, Кужозеро, Кужручей* (марийск. *кужу, кужи* "длинный") ср. с названиями р. *Кужа, оз. Кужарви, р. Кужатоя, р. Кужой, р. Куженга, о. Кужишари, оз. Ку(у)жьярви, м. Кужиниеми (Куусиниеми)* и с карел. *kuizi, kuizi*, людик. *kūž(i), kūzi*, вепс. *kuz*, саам. *küss* "ель".

*Ломбозеро, Ломбуха* (марийск. *ломбо, ломба* "черемуха") ср. с названиями *Ломбозеро, Ломбостров, р. Лумбуица* в Карелии и с саам. *\*lombal* (саам. *luobhal*), фин. диал. *lotpolo* "озероидное расширение реки", саам. *luamb* "лесное озеро" (карел. *lambi*) или карел. *lumbah* "кувшинка".

*Пистерка, Пистома, Пыстозеро, Пыстома* (марийск. *писте, писты* "липа") ср. с названиями р. *Пистайоки, оз. Писто* в Карелии, р. *Писта, оз. Peästjaur* (русс. *Пестозеро* в 1608 г.) на Кольском п-ве и с прибалт.-фин. основой *pist-* с семантикой вертикальности: фин. *pisto* "крутая гора, холм, скала"; карел. *pisto, pišto*, людик. *pišt, pišt(ö)*, вепс. *pišt* "закол, рыболовная плотина" (кстати, людиковская и вепсская формы, в отличие от марийского апеллятива, хорошо объясняют *-ы-* в указанных названиях Заволочья).

*Пунжеро, Пунжозеро* (марийск. *пунчō, пунжы* "сосна") мы можем сравнить с названиями *Пунча* на Кольском п-ве и дер. *Пунцола* [Кн. 1500], дер. *Пунчевое, оз. Пунчевское* в Карелии, хотя соответствующий прибалтийско-финский апеллятив пока привести затрудняемся.

*Пучега, Пученьга, Пучера, Пучозеро, Пучгора* (марийск. *пучо, пучы* "олень") ср. с карельскими названиями о. *Пучиха, дер. Путчейла* и саам. *pūč(š)A*, родит. пад. *pūčšA* "metbrum vitile". Названия с такой семантикой (из разных языков) вообще нередки в Карелии.

*Шуда, Шудозеро, Шудболото* (марийск. *шудо, шуды* "трава") ср. с названием *Шуденлампи* в Карелии, дер. *Судлакши* (1568 г. [История 1987: 79]) близ Приозерска и карел. *šuzi* (\**šudi*), родит. пад. *šuden* "волк" или с саам. *sučč<sup>E</sup>, sučč<sup>E</sup>* "талый".

Наконец, названия с элементом *Икс-* (*Икса, Иксозеро, Иксома*), которые А.К. Матвеев сопоставляет с марийск. *икса* "залив, пролив, протока; речка, соединяющая два водоема" и костромским диалектным *векса* "межозерный проток" (об этимологических связях терминов: [Матвеев 1974]). Нам это сопоставление представляется спорным, так как топонимы с *Икс*, локализующиеся на западе Архангельской обл., значительно удалены и от района бытования термина *икса*, и от созвучных с ним гидронимов (подмосковная *Икша*). Зато они входят в ареал гидронимов Кольского п-ва и Карелии, большая часть которых имеет форму *Викс-/Вики-* и лишь на юго-востоке ареала появляется *Ики-* (см. об этом названии ниже), соседствуя с архангельскими *Иксами*.

Это озера *Vehsjawre*, *Vikkjävre* на Кольском п-ве [Itkonen 1958], карельские оз. *Вишксинселькя*, *Виексинкиярви*, *Викшиозеро*, *Викшезеро*, *Викслампи*, *Виксиярви* (*Викшиозеро*), заливы *Викшлампи*, *Виксилакши*, *Викса речка* [Книги 1930], реки *Викша*, *Виксенда*, *Викшезеро* и р. *Викша* (1563 г.: на *Викше озери...* на *Векишо ж озери* [Книги 1930]), *Икшиозеро* и р. *Икша* (пр. Верхнего Выга). Кстати, в 1563 г. *Икшиозеро* названо: *Выкша озерко*, а неподалеку от него находится исток р. *Окса* басс. Онежского оз. и *Укшиозеро*, р. *Укша* басс. Водлы.

Перечисленные озера и речки являются боковыми по отношению к принимающим их воды водотокам и озерам и их названия логично связать с саам.  $v̄ue\bar{x} \underset{>}{s}^E$ .  $v̄je\bar{k} \underset{>}{s}^E$ .  $o\bar{x} \underset{>}{s}^E$  "ветвь". в топонимах "ответвление, приток" (карел. *oksa*, *okša*; ср. рядом *Икша* (*Выкша*), *Укша* и *Окса*). В некоторых случаях форма названий свидетельствует о переосмыслении через фин. *viiksi*, карел. *viikši* "ус", что для топонимов также может принять значение "приток, протока"<sup>9</sup>. Отметим, что именно это переосмысление скорее всего "задержало" исчезновение начального саамского V- в прибалтийско-финском и русском освоении по мере продвижения на юго-восток; обычно оно происходит раньше (ближе к Кольскому п-ву)<sup>10</sup>.

Таким образом, основы "темных" топонимов Заволочья сами по себе непоказательны или малопоказательны в плане поставленной задачи. Намного более информативны в этом плане местные заимствования, что убедительно продемонстрировано А.К. Матвеевым [Матвеев 1973; 1995]. Однако и здесь выводы могут оказаться неоднозначными, если соответствующий термин представлен в широкой группе языков, в нашем случае финно-угорских.

*Мыгра* "горка, бугор" можно сравнить не только с марийск. *мыгыр* "шишка, горб; желвак", но и с фин. *mykkyrä*, *mykerä* "выпуклый, холмистый" [Востриков 1981], к чему мы добавим и фин. *nyhkyrä* "шишка, желвак", эст. *mügarik* "неровный, с ямами" [SKES: 355–356], карел. (говор Салми) *mägür* "гора, холм" [ПФГЛ 1991: 61] (ср. с ойконимом *Мигуры* в Карелии).

*Чинга*, *чингушка*, *чинговатик* "тонкое, но твердое еловое дерево" (со ссылкой на Подвысоцкого, Фасмер дает мезенское и пинежское *чинговатик* "вновь выросший на пожарище лес") может быть сравнено не только с марийск. *чинга* "мелкослойное дерево (которое трудно колоть)", но и с саам.  $ts̄ḡñ \underset{>}{k}^E$ . родит. пад. множеств.  $ts̄ḡñ \underset{>}{G}i$  "подпорка" [Itkonen 1958: 629], людик. *čing* "дерево (длиной в сажень), прикрепленное к задней части невода и удерживающая его кошель на поверхности воды" [Kujala 1944: 441] (оно должно быть именно мелкослойным, чтобы дольше не пропитываться водой). Отметим и именование (1597 г.) *Петр Чингин* в Селецком Лопском погосте [История 1987].

*Равина* "наклонная жердь, шест, к которому крепится парус к лодке" А.К. Матвеев сопоставляет с марийск. *равы* "шест, жердь". Но вряд ли *равина* можно рассматривать в отрыве от северного диалектного *райна*, *райно*, *рейно* "рея" (ср. зафиксированное на Двине в начале XVII в. Р. Джемсом *raïne* – русск. *раины* "рея" [Ларин 1959]), др.-русск. *раина*. Это слово считается источником прибалт.-фин. *raïne*, *raina*, коми-зыр. *raina* "рея, бугшприт", а само полагается заимствованным из др.-сканд. *rá* "рея, шест" [SKES: 716]. *Равина* могло возникнуть, как локальный вариант *раина* и само послужить источником марийского *равы*.

*Туржа* "голавль, язь" (у Куликовского "молодая семга") созвучно не только с марийск. *турушо* "голавль", но и с фин. *tursa*, *turso*, карел. *turzoï*, *turt'ša*, *turt'šui* "морда.

<sup>9</sup> При этом нет никаких признаков перехода саамского (равно как финского и карельского) слова в географический апеллятив, оно нигде не выступает в качестве детерминанта и, конечно, не связано с распространенной в топонимах финалью *-кал-кша*.

<sup>10</sup> Ср. русск. *Ундукса* (река в Северной Карелии), очевидно через карел. *\*Unduksen(jugi)* из саам *\*Vundas* "Песчаная", что отвечает грунту дна реки, весьма необычному для этого района.

рыло, лицо; мордатый, большоголовый (человек, животное)", фин. *törsö*, карел. *törzä* "мордатый", фин. *torsake* "матерая рыба" [SKES: 1428, 1506]. Ср. с этимологией русск. *голавль* и с прибалт.-фин. *turpa, turb* "морда", но и "голавль".

Наконец – *шардун*. Это слово в значении "некастрированный олень" известно на Кольском п-ве. А.К. Матвеев полагает, что это слово было перенесено туда с более южных территорий и, вслед за Фасмером, связывает его с марийск. *шарды*, мордовск. *сярда, сярдо* "лось". Хотя в Заволочье (как и в Карелии) никаких следов бытования подобного апеллятива не обнаружено, Матвеев считает, что основа *шард* "лось" присутствует в названиях типа *Шарда, Шардболото, Шардозеро, Шарденъга, Шардовка, Шардома, Шардуша*. По поводу топонимов заметим следующее. Во-первых аналогичные есть в Карелии и на Кольском п-ве: *Шардозеро, Шардоваровский ручей, Шардомозеро, р. Шардола, о-ва Шардонские, Soard-luohhal, Šuorda-tuoddar, Sardjavr, Shardejauravaarr, Šardeilaapp*. Саамские названия Т. Итконен сопоставляет (и ничто не препятствует допустить то же самое в отношении названий заволочских) с саам. *šardei* "журчащий (ручей)", *soard<sup>A</sup>* "ветровал" (прибалт.-фин. *sorto, šordo* "ограда пастбища из поваленных деревьев") и с личным именем \**šardei*: в 1620 г. записаны саамские имена *Демешика Шардеев, Шардейка Игаексов*.

Сказанное не исключает (но и не подтверждает) былого существования слова \**šard* "олень" у аборигенов Заволочья. Но оно не обязательно должно исходить от волжских финнов или свидетельствовать о наличии в Заволочье следов языка волжского типа, поскольку соответствующая основа имеется и в обско-угорских языках: манс. *suŋti* "оленок до года", хант. *sũrti* "олень на втором году". Для русского же (Кольский п-в) *шардун* чисто предположительно можно указать территориально близкий источник потенциального заимствования: шведское *hjort* "олень" с переходом *hj-* → *sj-* → *š-* по второй палатализации. Можно допустить и заимствование *шардун* из незасвидетельствованного иносказательного саам. \**sard-* "олень", которое могло восходить к *sar<sup>DD<sup>E</sup></sup>* "кусочек мяса" или *serdtei* "бродяга, кочевник".

Рассмотренные примеры показывают, что наличие соответствующих слов в лексике Заволочской Чуди еще не является свидетельством в пользу близости этого языка к языкам волжских или же прибалтийских финнов.

### О ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКЕ ЗАВОЛОЧСКОЙ ЧУДИ

Как и топонимия, заимствованная лексика Русского Севера являлась предметом множества исследований; их результаты в целом рассмотрены А.К. Матвеевым [Матвеев 1995] (см. также [Востриков 1978; 1981; Субботина 1985; Гусева 1971; Дерягин, Комягина 1971]). Показано, что подавляющая часть заимствований раскрывается из прибалтийско-финских языков, другие из ненецкого, коми и саамского (о марийских заимствованиях по нашему мнению говорить еще рано, см. выше). Но ряд заимствований не нашел еще разумного объяснения. С точки зрения выяснения языковой принадлежности аборигенов Заволочья интерес представляют, в первую очередь, эти последние. Ниже мы рассмотрим "темные" географические термины, некоторые из которых распространены исключительно в Заволочье<sup>11</sup>.

#### *едома*

Слово *едома* известно на Русском Севере, прежде всего в Архангельской и Вологодской областях, со следующим кругом значений: "холмистая земля; плоско-вершинный холм; высокий берег реки; возвышенность за рекой; глухой дальний лес; плохое угодье; болотистая земля; всякая отдаленная земля" [СлРЯ, вып. 5; Субботина

<sup>11</sup> В плане решения рассматриваемой проблемы было бы крайне интересно провести также анализ "темных" заимствований, отмеченных Л.А. Субботиной [Субботина 1985] в соседнем с Заволочьем Белозерье. Из 160 собранных ею географических апеллятивов нерусского происхождения таковых оказалось 23. Часть из них повторяется и в Заволочье (*едома, согра*), часть является узлокальной (*оманга, войндык*).

1985; Алабугина и др. 1974; Федоров 1971]. Термин перенесен русскими в Сибирь, означая в Якутии "невысокая гора; вторая пойменная терраса реки", на Камчатке "невысокая гряда или холм" [Мурзаев 1984: 197].

Ранние упоминания слова в формах *едома*, *едма*, *едмище* датируются XV–XVI вв. и локализируются в бассейнах Онеги и Сев. Двины: *нижняя Едма по Огайску реку, а от Огайску реки по ручьи, кои промежи двема едмами* [ГВНП 1949: № 277], *а техъ сель пожни и лесы... и страдные земли и ловища и едмища, а то Василью* [ГВНП 1949: № 170], *вверхъ по той горе и по едоме до верхние стороны Белоручья* [АИ 1842, 2: 92].

Соответствующие же топонимы распространены территориально шире. Можно указать: волость *Сидорова Едома*, дер. *Мокрая Едома* в Пермской губернии, уезд Устюжский [Акты писц. 1990], *Едомское озеро* [АИ 1842, 1: 209], дер. *Едома* близ Шексны [Акты СВ, 2: № 391], дер. *Николо-Эдома* на р. *Эдома* – пр. Волги близ Тутаева (в 1488 г. названы р. *Едома* и *Едомский стан* [Акты СВ, 3: № 243]), деревни *Едома* на Печоре (близ устья Цильмы), на Пинеге, на Мезени, на Лудонге (приток Двины), деревни *Едьма* на Волюге и Устье (басс. Двины), *Ниж. Идьма* на Кулое (пр. Ваги), дер. *Идомор* в басс. Пижмы Вятской, *Идомка* – пр. р. Ружа в Нижегородской обл., с. *Едимново (Едимоново)* на Волге у Конаково и *Едомский лес* близ него. Многочисленны и микротопонимы типа урочище *Едома*, луга *Едомка*, *Подъедомка*, поле *Едомка* [Алабугина и др. 1974].

А.И. Попов считает родственным этому слову элемент *-едам/-одом* в названиях ряда населенных пунктов на территории бывших мерянских земель (преимущественно в басс. р. Кострома): *Шельшедам/Шельшедом* (1504 г.), *Иледам* (XIV в., в 1450 г. *Иледом*, ныне с. *Ильдомское*), *Качкодом*, *Шушкодом*, *Тюхтедомово* [Попов 1974]. К этому можно добавить *Лоходомово* на р. Кострома и *Талдом* (ранее также *Толдом*, *Толдам*).

В целом происхождение термина считается неясным [Kalima 1919:17; Фасмер, 2: 9; Матвеев 1996]. Предлагавшиеся этимологии (из фин. *eda maa, etä maa* "дальняя земля, передняя земля" [Погодин 1907; Федоров 1971]) сомнительны по причине отсутствия соответствующих прибалтийско-финских топонимов в Финляндии, Карелии и Вепском Межозерье. Но термин *едома* и соответствующие названия наиболее часты на территории распространения древней топонимии прибалтийско-финского и саамского типа. Это дает нам основания для сопоставления этого термина с саам. *vājd<sup>A</sup>*, родит. пад. *vājDot* "большая гора с густым лесом" (саамское *v-* в анлауте часто пропадает в русской передаче и прибалтийско-финских соответствиях). Указанный апеллатив продуктивен в собственно саамской топонимии. С ним, очевидно, связаны топонимии *Вайда-зуба*, *Войтитундра*, *Войта* на Кольском п-ве, *Вайтасаари*, *Войдома*, *Ваитлеская губа* ([Мат. 1941: 368]; видимо из *\*Vaida-leäxše*) в Карелии. Быть может в этом списке впоследствии окажутся и некоторые другие названия, ибо мы подозреваем, что саамские "свернутые" топонимы (см. о них: [Itkonen 1958: XXI]) типа *\*(V)eidomaž < Veidom-jawre* "дремлют" в некоторых карельских названиях типа г. *Домашняя*, пор. *Домашний*, оз. *Домашнее*.

Приведенные примеры показывают, что к саамскому термину (или родственному ему, но утраченному термину прибалтийско-финского языка-основы) могут восходить и топонимы, обычно рассматриваемые как славянские: *Удомля* (р., оз. басс. Мсты), *Видомлицы* (дер. на Мсте), *Ведомша* (близ Плещеева оз.), *Ведомка* (пр. Москвы-реки), *Ведьма* (р. в Нижегород. обл.), *Ведьма* (р. басс. Немана; ср. с др.-прусск. *Weytimis*), *Видомля* (село в Белоруссии; в 1646 г. *Wiedomla* [Жучкевич 1971]). Последнее название В.А. Жучкевич выводит из местного термина *видма* "песчаная дюна", но сам этот термин, не имеющий славянских соответствий, возможно связан с *едома* или непосредственно с финно-угорским источником (ср. с названием порога *Выдумский Бык* на Ангаре, явно произошедшем из перенесенного в Сибирь термина – варианта известного *едома*).



финно-угор. \*o (→ др.-саам. \*o) > саам. *uo*, фин. *a* (показано еще К. Виклундом) и соответственно: *koidoma*, *küätsam*, *kaidu(moa)*.

### лагмас

В Архангельской области отмечено слово *лагмас*, означающее "заболоченный лес с буреломом" [Матвеев 1968; 1970], "низкое болотистое место на берегу реки" [Алабугина и др. 1974]. Там же бытует слово *вагмас*, практически идентичное по значению с *лагмас* [Матвеев 1968; 1970; 1993; СРНГ, вып. 4]. В связь с этими терминами ставится ряд микротопонимов на юго-востоке области (*Вагмас*, *Лажмас*, *Лажмасы*) и *Лажмаз* в Свердловской обл.

По мнению А.К. Матвеева термины имеют общее происхождение, а переход *л* → *в* мог произойти на почве языка коми в XVII в. Этимология для *лагмас* предложена не была, *вагмас* А.К. Матвеев сравнивает с эст. *võhtas* "остров в болоте", фин. *vehmas* "густой лиственный лес", *vehmas* "зеленеющий, густой" [Матвеев 1993; 1995]. При этом он полагает, что вокализм первого слога отражает особенности финно-угорского диалекта Чуди Заволочской, отличающие его от современных прибалтийско-финских языков и сближающие его с диалектами кольских саамов (см. *ласта*).

Помимо указанных выше топонимов приведем и другие, которые могут происходить от финно-угорских терминов с основами *vVht-*, *IVht-* (о финали *-ac* см. в разделе *пенус*):

р. *Вохма* – пр. Ветлуги; дер. *Вихмесь* на р. Паша; пос. *Выхма* в Эстонии; *деревня на Вегмассе у Вегмасского озера* [Кн. 1500] на Карельском перешейке, на карте XIX в. оз. *Wehmais*; оз. *Vehmajärvi*, прол. *Vehmersalmi*, дер. *Vehmasmäki*, *Vehnia* в Финляндии.

р. *Лекма* в басс. Камы; дер. *Лажмокурья* у Кубенского оз. (упомянута в XVI в., ныне входит в состав пос. Устье [Чайкина 1988]); оз. *Легмозеро*, тonya *Легмас* в Белозерье<sup>14</sup>; оз. *Легма* в басс. Вытегры; руч. *Легмас* – пр. Ояти; *Лажмозеро* в басс. Илексы; *Лажмозеро* на Кольском п-ве; *Лажмозеро* на р. Шуя. Любопытно, в свете семантической идентичности *лагмас* и *вагмас*, что последнее название мы видим в писцовых книгах 1563 г. в вариантах: "на Лажмоч озере... за Вогмом озером" [Книги 1930].

В финно-угорских языках не видно источников, к которым могли бы быть возведены указанные названия (помимо тех, что приводит А.К. Матвеев для *вагмас*) кроме, разве что, карел. (говор Суоярви) *elihtmä* "топкое место на болоте" [ПФГЛ 1991: 25] с неясной этимологией. Но, с учетом позднего происхождения *h* в прибалтийско-финских языках, ранняя форма искомого термина восстанавливается как \**IVžm-/IVižm-*. С учетом вышеказанного в отношении вокализма первого слога в прибалтийско-финской и заволочской топонимии и лексике, для прибалтийско-финских территорий (*V = e, i*) эта реконструкция может быть сравнена с фин. *lisma*, саам. *lism<sup>e</sup>*, вепс. *ližm* "болото, илистая вода", откуда производят русск. *лижмы*, *личма* "пльвуны, топкие берега", *лизма* "низкий заболоченный берег" [Фасмер, 2: 494, 506; Kalima 1919: 154; Nissilä 1967: 47; Меркурьев 1979; Алатырев 1948; Субботина 1985] и с карел. *lidma* "слизь, мокрота"<sup>15</sup>. Вариант же \**lažm-/latšm-* (*V = a*) сопоставим с коми *lažmid* "неглубокий, мелкий" и мордовск. *lašma*, *lašmo* "долина, болотистая низменность", *ložmo* "яма, впадина".

Приведенные финно-угорские термины очевидно лежат в основе таких названий как финское *Listajoki*, карельские оз. *Лижменское*, оз. *Лижмозеро* и р. *Лижма* (на *Лежмо озери... на Лижмо озери... на усть Лажмо речки*) [Книги 1930]), р. *Лезма* (Приладожье,

<sup>14</sup>Л.А. Субботина связывает это название с прибалт.-фин. *lehtmä*, *leht* "корова" [Субботина 1975]. Это слово очевидно легло в основу (через антропоним \**Lehtoi*) названия дер. *Легмой* (кар. *Lehtoi*) у р. Видлица. Но производить от него большинство указанных топонимов было бы, вероятно, неправильно.

<sup>15</sup>Хотя Фасмер считает, что *lidma* не имело праформы \**ližma/lišma*, Хакулинен приводит множество примеров с \**-ž-* > *-(d)-*.

1564 г. [Самоквасов 1909]), р. *Ледьма*, р. *Лидма*, о. *Ледманшуари*, оз. *Лидмах*, оз. *Лидмаламни*, несколько деревень *Лаима* в Рязанской обл., р. *Лосьма* басс. Мокши. С реконструируемым же *\*IVšm-/\*IVtšm-* можно соотнести некоторые топонимы, лежащие вне области бытования современных финно-угорских терминов (подчас и вне области современного обитания финно-угорских народов): оз. *Lastmas-jauraz* на Кольском п-ве; *Lismanis* в Латвии; р. *Laštuo* в Литве; дер. *Леицина* в Белозерье [Акты СВ, 2: № 223]; р. *Лочма* в Переяславском уезде [Акты СВ, 1: № 545]; реки *Лосьмянка* и *Лосьмина* к западу от Москвы; р. *Лесми* в басс. Малой Оби.

Таким образом, финно-угорское происхождение термина *лагмас* (и *вагмас*) представляется наиболее вероятным, хотя точную этимологию мы предложить затрудняемся. Видимо, эти термины возникли в языке финно-угорского (не саамского) населения Заволочья, родственного языкам как волжских, так и прибалтийских финнов, в формах, близких к *\*latšm-*, *\*vatšm-*. Дальнейшая их эволюция протекала по прибалтийско-финскому типу (ср. с карел. *elihmä* (с протетическим *e-*?) и эст. *võhtas*) и привела к тем формам, что послужили источником русского заимствования.

### ласта

В архангельских говорах *ласта* "береговая трава, вид сена", в приуральских и пермских "низменность, равнина, луг; заболоченный участок на берегу реки" [Фасмер, 2: 463; СлРЯ, вып. 8]. Раннее употребление датируется 1624 и 1674 гг., но имеются более ранние (XIV–XV вв.) упоминания топонимов, производных от исходного нерусского термина. Таковыми, очевидно являются *пожня в Лосты* (р-н Чухченемы в Подвинье) [ГВНП 1949: № 170], р. *Лоста* – пр. Лежи в басс. Сухоны [Акты СВ № 297, 294]; *Лостицы* в р-не Песи [НГБ 1986: № 167]. Назовем еще дер. *Ластепала* на Пинеге, дер. *Ластома* на р. Кащинка басс. Волги. В Финляндии есть озеро *Ластуярви*, на Карельском перешейке была дер. *Luosta* [История 187: 505], в Карелии – оз. *Луаштанга* басс. Кепы (карел. *Luostanki*, в 1599 г. – *Лостозеро* [Мат. 1941: 227], на карте 1728 г. – *Лошито*); на Кольском п-ве – ручей *Ластмуруай*, озера *Lastjaur*, *Laštjawre*. Эти последние можно связать с саам. *lāš*<sup>A</sup> "мокрый березняк с кустиками морошки; сырой еловый лес с березняком" [Иконен 1958: 206]. Не беремся утверждать, что северорусский диалектизм восходит именно к саамскому источнику. Это слово могло существовать и в архаичном языке прибалтийско-финского типа Чуди Заволочской, ср. современное фин. *luhta*, ливвик. *luhtu*, вепс. *luht*, водск. *luhta*, эст. *luht* "пойма, сырой прибрежный луг; лужа, залив; заливной луг, высокая береговая трава", откуда производят олон. *лухта* "мелкое место на озере, поросшее травой", вологодск. *лохта* "заболоченное место" [Kalima 1919: 187; ПФГЛ 1991: 56]. Прибалтийско-финские термины могут восходить к древнему *\*lusta*, на былое существование которого указывают названия р. *Лустовка* басс. Тосны, дер. *Залустежье* в басс. Луги (Калима к списку прибалтийско-финских терминов привел и рус. *ласта*, но заметил, что это слово этимологически неясно и должно быть отделено от *лухта*). Таким образом, фонетически *ласта* совпадает с саамским термином, а семантически ближе к терминам прибалтийско-финским.

### пенус

Слово *пенус*, *пендус*, *пентус*, *пёнтус* известно в пудожских говорах Карелии и в Архангельской области (Шенкурск, Каргополь, Нядомский и Вельский р-ны) в значении "поросшее травой болото, на котором косят лишь в засушливые годы; покос в сыром месте; травянистое болото" [Фасмер, 3: 232; Дерягин, Комягина 1972; ПФГЛ 1991: 69]. А.И. Попов указывал, что так называли и траву, скошенную на таком

болоте, приводя из актов XVII в.: *сена чистого пендуса* [Попов 1955: 16–17]. Форма *пенус* распространена на северо-западе Русского Севера, а *пендус*, *пентус* – на юге Архангельской обл. [Дерягин, Комягина 1972; Матвеев 1995]. Известна дер. *Пендуз* в Вологодской обл. [Чайкина 1988].

Признанной этимологии слова нет. Я. Калима [Kalima 1919: 183] сравнивал его с карел. *rainoš* "болотистая низина между холмами", откуда выводят беломорское *painos* [ПФГЛ 1991: 69]. Против этого выступал А.И. Попов, предполагавший заимствование из вымершего финно-угорского языка. А.К. Матвеев, соглашаясь с критикой Поповым этимологии Калимы, заметил, что соответствий словам *пенус*, *пентус* пока не удалось найти ни в финно-угорских, ни в самодийских языках (ввиду чего он обратил внимание на созвучие с лит. *riaunus* "сенокосное болото", *rianiš* "ложбина"). Отмечается также неясность происхождения финали -ус и необъяснимость колебания *пенус* ~ *пендус* на русской почве [Kalima 1919; Матвеев 1995].

Последнее имеет принципиальное значение, ибо без выяснения вопроса о первичной форме русского заимствования невозможно серьезно ставить вопрос о его источнике. Укажем, что в употреблении заимствованных терминов и топонимов, содержащих консонантные группы с *n* или *m*, на Русском Севере, в частности в Карелии, как раз наблюдаются колебания, которые могут объяснить и наш случай. Сравним:

оз. *Шайдомозеро*, в 1597 г. – *Шайбоозеро* [История 1987], оно же *Шундоло*, *Шандома*, *Шандомское* [Каталог 1959];

пор. *Шайрукша* (Нижний Выг), он же – *Шонрукша* [Никольский 1927] (видимо из саам. \**Šaap-roxša* "Чертова Куча");

оз. *Шаньгима* и р. *Шаньга*, в 1563 г. – "по *Шаймы* реки да по *Шайму* озеру" [Книги 1930];

оз. *Тамбичозеро* и р. *Тамбица*, в 1558 г. – *Тямьеть озеро* [Акты 1988: 143], в 1628 г. – *Таймица* [АИ 1842, 3: 247];

в *Глубокой Пяндеге* (р. Свирь) в 1563 г. [Книги 1930], позднее – *луда Пейтега*, *луда Пендега* [Озерецковский 1812]

*Лайбола*, *Лямбилица*, *слободка Либелицкая* в одном документе XVI в. [Самоковасов 1909];

*Лейбой Наволок*, он же *Лембой наволок* [Книги 1930].

к *Шале реки промеж двух лайбин* (вместо обычного *ламбин*) в записи 1505 г. [Мат. 1941: 127]. Последний пример приводит и Калима, иллюстрируя его другими случаями вариантности северорусских заимствованных терминов: *койга* и *конга*, *шайга* и *шаньга*.

Надо сказать, что это явление могло развиваться в северорусских говорах под влиянием финно-угорского языкового субстрата, ибо оно известно и собственно прибалтийско-финским языкам. Так, фин. *loima* "вересняк", эст. *loim* "озерцо; изгиб ручья, заросший травой" сравнивают с фин. *lotma*, кар. *lodma*, лив. *lodmi*, люд. *lodm* "овраг, низина", иллюстрируя вариантами написания собственных имен: личного имени *Loima*, в 1552 – *Lodma*, 1546 – *Loijdma*; дер. *Loima*, 1573 – *Loimajja*, 1489 – *Loydma*; р. *Loimijoki*, 1439 – *Loymeioki*, *Lodmaioki*, *Lodhmaioki*, [SKES: 301].

Таким образом, если русск. *пенус* первоначально звучало как \**пейнус* (ср. *райда* наравне с *рада*, *байна* и *баня*), оно может рассматриваться как вариант *пендус*, *пентус*, причем первичной (наиболее близкой к источнику заимствования) следует считать именно последнюю форму.

Что же до *с*-ового окончания термина, то подобные нередки в саамской и вепсской топонимии. В саамских топонимах они могут происходить из суффикса прилагательных *-es*, суффиксов отглагольных существительных *-esš*, уменьшительных *-(e)nes*, *-az*, *-až* [Керт 1988; 1991]. Последний элемент также часто образует свернутые формы топонимов: *Labb-jawr* > *Labbaz* [Itkonen 1958: XXI]. Часты топонимы на *-с(э)* на вепс-

ской территории: *Салмас* (при *salmi* "пролив"), *Карас* (при *kar* "залив"), *Ламбас*, *Ламбаз* (при прибалт.-фин. *lampi, lambi* "озерко") и т.п. И.И. Муллонен полагает, что окончание *-as(-us)* могло присоединяться к основе еще в дотопонимическом, апеллятивном употреблении, указывая вепс. *kaskez* "подсека" при прибалт.-фин. *kask(i), kaiduz* "пролив" при *kaid* "узкий", *kukkaz* "холм" при прибалт.-фин. *kukko* [Муллонен 1991; 1994; 19–20]. С-овые финалы мы находим и в русских заимствованиях, ср. *шеймус* "место нереста семги, нерестовая яма" с карел. *šeimi, šoimi* "кормушка, колыбель" [Матвеев 1993], архангельское *ламбас* "в болоте озеро" [Свиный 1829] с карел. *lambi* "лесное озеро".

В современных языках *пендус/пентус* (<\**penduz*/\**pentus*) не находит явных соответствий кроме, разве что, саам. *pīndta<sup>d</sup>* "разливаться" (о реке) [Itkonen 1958: 363], откуда можно предположить прилагательное \**pindtes*' или существительное \**pindtaž* "место, которое заливается в половодье (и где в межень можно косить траву)" (см. карельское название *Пиндуши*). Однако более выразительные, хотя территориально более далекие, аналогии обнаруживаются, если принять во внимание более древнюю форму предполагаемого этимона. Согласно [Setälä 1902; Хакулинен 1953] *-t-* в \**pentus* должно восходить к \**-tš-/\*-dž-*, ср. фин. *lansi, lanto*, мордовск. *landaka*, самодийск. *lamdo, labi* с ливск. *loñš, láiñš* "низина, низкое сырое место"; фин., карел. *petäjä* с саам. *piets*, марийск. *pündžo* "сосна"; фин. *kaita* с саам. *k<sup>1</sup>eDž<sup>2</sup>E* "узкий"; прибалт.-фин. *notk(o)* с саам. *nu<sup>1</sup>š<sup>2</sup>κ<sup>3</sup>E*, *njoaske, nuetsk* "низина, сырая долина" и марийск. *notško* "мокрый".

Реконструируемая основа \**pentš-/\*pendž-* (ср. с названием *Пензюла*, позднее *Pensola* на р. *Пенсанйоки*, оз. *Pönsonlambi* в Приладожье [История 1987: 172], р. *Понзема* (XVI в.; ныне – *Гридина*), р. *Понча* басс. Ковды, *ручей Пенча* басс. Свири [Книги 1930]) может быть сопоставлена с коми-зыр. *пеньдзей* "высохший ручей", ненецк. *пензя* "овраг, высохший ручей с крутыми берегами" [Поспелов 1988: 150], селькупск. *понджа* "открытое болото", откуда русск. (Зап. Сибирь) *поньджа* "безлесное открытое болото; высохшее болото" [Мурзаев 1984: 454]. Здесь мы имеем близость и фонетического облика основ, и семантики, неизменно содержащей понятие высохшего (сезонно или окончательно) водоема, водотока. Очень вероятно, что та же основа отразилась (с иным развитием древней семантики) в прибалтийско-финском слове со значением "куст(арник)": фин. *pensas*, карел. *penžaž*, людик. *pendzahaine*, вепс. *penzag, pēzag, pen<sup>d</sup>zag*, эст. *põšas*, что подтверждает нашу реконструкцию. Поэтому можно полагать, что в языке Чуди Заволочской, близком к прибалтийско-финскому языку-основе (и в своем развитии прошедшим ряд стадий, характерных для прибалтийско-финских языков) имелось слово \**pentš-/\*pendž-* > \**pentus*/\**penduz*, которое и послужило источником русск. *пендус, пентус* ~ \**пейнус, пенус* (хотя, как мы видим, эволюция основы \**pendž-* у Заволочской Чуди привела к иной эволюции аффрикаты, нежели в прибалтийско-финских языках). Возможно кар. *rainoš*, беломорское *пайнос* этимологически родственны этой основе, но судить о том, является ли карельское слово реликтом древней финно-угорской основы (см. у Хакулинена о переходе \**ai* > *ei*, а также русск. *райно* наравне с *рейно* [Фасмер, 3: 436]) или же заимствовано из русского диалектизма (вариант к \**пейнус*), мы не беремся.

#### поча

Термин известен олонецким и архангельским говорам: *потча* "речной или озерный залив, губа"; *поча, поца* "лужа, болото, старое русло реки" [Фасмер, 3: 347; Алабугина и др. 1974]. Топонимы, содержащие этот термин или его финно-угорский источник, распространены в Карелии, Архангельской и Вологодской обл.: заливы *Поца* на оз. Верх. Куйто и *Пожа* на оз. Ниж. Куйто, *Подзялахта* на Водлозере; бол. *Поджасу*

у Коткозера; р. *Почега* (*Пучега*) басс. Водлы; дер. *Юрпуча* в восточном Прионежье; *Почозеро*, р. *Поча* басс. Онеги (на реке *Поче* – 1556 г. [АИ 1842, 1: 305]); реки *Пожа* и *Поч* в басс. Мезени; *Поча* – пр. Ваги (от *Почи реки... до Поци* – XV в. [ГВНП 1949: № 278]); *Поча* – пр. Пинеги (в устье образует бифуркацию); дер. *Лучуга* на бифуркации Сев. Двины; *Поча*, *Почакина речка* (1556 г.) – притоки Шексны [Акты СВ, 2: № 316]. В [ПФГЛ 1991] приведены микропонимы с элементом *Подж-*, *Поч-*, *Поч-* на юге и востоке Карелии, а в [Алабугина и др. 1974] русские топонимы с апеллятивом *поча* (*Ореховская Поча*, *Большая Поча*) в Виноградовском р-не Архангельской обл.

Можно полагать, что таково же происхождение ряда более южных топонимов, приуроченных с соответствующим видам объектов (болота, старицы, речные бифуркации, заливы озер). Например: деревни *Почугинское* на р. Меглинка, пр. Мологи; *Поцелы* у р. Кашинка (пр. Волги); *Почеп* у р. Орша басс. Тверцы, на р. Корожечна (дважды) и в верховьях Мсты; *Поцел* на рр. Черная и Уйवेशь басс. Мологи; оз. *Почаево* на р. Дивонка басс. Мсты; р. *Почебож* в мерянских землях; р. *Пожба* басс. Оки в Рязанской обл.; р. *Почварга* в басс. Мокши; *Поцинь* (в 1136 г. [ДКУ 1976]), ныне *Пацинь* в Брянской обл.; *Потси* в Эстонии; *Поцием* на севере Латвии; *Почап* у р. Оредеж, пр. Луги; *Свануце* в углу западного плеса оз. Селигер; *Пожеревицы* на р. Судома, пр. Шелони; *Почеп* (а рядом дер. *Губенка!*) в истоке р. *Поша* басс. Ловати<sup>16</sup>. Возможно сюда же относятся и названия р. *Почага* (ныне *Почайна*) в Нижнем Новгороде; *пустошь Почаина на речке на Почаинке* в мордовских землях [Анпилогов 1977: 18].

Происхождение русск. *поча*, *поца*, *потча* Фасмер называет неясным. И.И. Муллонен и Н.Н. Мамонтова высказали предположение о его связи с вепс. *poze*, *roza* "топкое место, лужа" (в Волог. обл.), *poža* "яма на лугу, омут в реке" (северовепсское) [ПФГЛ 1991: 74–75]. Думается, что это совершенно правильно. Но семантика указанных лексем, география соответствующих топонимов и форма русских диалектизмов говорят, скорее о том, что связь эта не прямая. Мы полагаем, что сам современный вепсский термин является реликтом древнего прибалтийско-финского слова, существовавшего и в языке Заволочской Чуди (откуда было заимствовано русскими). С учетом формы и семантики вепсских и русских слов, а также фин., карел. *rohja*, людик., вепс. *roh* "дно водоема; бухта; угол залива" [ПФГЛ 1991: 73] это слово восстанавливается как *\*pošal/\*podža* "залив, протока → заросший водоем, старица, заболоченный берег у водоема". Это значение поддерживается белозерским *похта* (ср. с *roh*) "болото; заросшее озеро и озеро в болоте; топкое место; низкий заболоченный берег реки, озера", архангельским *пахта*, *пахтовина* "болото; заросшее русло реки" [Мусихина 1984]. Л. Хакулинен праформой к *rohja* дает *\*pož(j)a*, что не объясняет русского слова и топонимов с *поч-*, *потч-* (возможно древний термин имел диалектные варианты).

### *согра*

Термин *согра* распространен на обширных территориях Русского Севера с основным значением "болотистый лес" [Фасмер, 3: 706; Мурзаев 1984: 511–512]. В письменных памятниках слово фиксируется лишь с XVII в., производные от него топонимы уже с XV в. На разных территориях *согра* имеет местные варианты *шогра*, *шохра*, но соответствия *с-ш-* и *-г-/-х-* полагаются необъяснимыми на русской почве [Востриков 1978]. Неясным остается и происхождение слова [Kalima 1919: 16; Попов 1948; Мурзаев 1984; ПФГЛ 1991: 89].

На наш взгляд для решения этого вопроса необходимо привлечь ряд других русских диалектных терминов с близкой семантикой (*кугра*, *кегора*, *чагра*, *шигар*) и рассмотреть территориальное распределение и этих терминов, и созвучных им топонимов.

<sup>16</sup>Конечное *-н* в ойконимах *Почап*, *Почеп*, *Поцел* возможно отражает прибалтийско-финское *pa(a)*, *pa*, "голова, вершина", в топонимах "край, конец деревни": *Аланья* "Нижний Конец", *Ликонья* "Грязный Конец".

Картина вырисовывается следующая (1–2 столбцы таблицы): рассматриваемые термины и топонимы образуют широкую полосу, простирающуюся от Финляндии до Оби. В средней своей части эта полоса выпускает "язык", уходящий на юг в среднерусские и даже украинские территории. Заметим, что имеющийся лексический и топонимический материал взаимно перекрывается не везде, но в целом территория, покрываемая им, является сплошной. Достаточно плавно и согласованно (в смысле отношения термин/топонимы) изменяется и фонетический облик лексических и топонимических основ. Наблюдается и плавное изменение значения терминов, вызванное или изменением ландшафта, природных условий данной территории, или сдвигом семантики термина по типу: тип местности – пригодность местности для ведения хозяйства (оленеводства).

Северо-западные и северо-восточные варианты термина находят хорошие соответствия в лексике соответствующих финно-угорских языков (3 столбец). В центре ареала оказываются варианты *согра*, *шогра*, *шохра*. Фонетически и территориально они близки вепс. *šohring* "болотина". Но вепсское слово не может определенно считаться источником русского термина. Вообще наблюдаемая картина свидетельствует о том, что не существовало единого источника всех вариантов русского термина (или, что вероятней, терминов), а они были заимствованы из родственных, но уже различавшихся к моменту заимствования слов финно-угорских языков. Так что правильнее было бы предположить, что *согра* и *шогра* заимствованы из архаичных диалектов Веси или Чуди Заволочской, а *шохра* из мерянского языка. Сложнее с южными *цигор* и *чагровник*. Здесь потенциально есть две возможности. Термин мог быть перенесен на юг славянским (или смешанным славяно-чудским) населением. Но он мог иметь и местные корни, скажем древне-мордовские.

### содера

Слово *содера*, *садера* известно на Русском Севере в значении "заболоченный лес; лес, растущий на кочковатом болоте" [Мурзаев 1984: 491]. В древних памятниках не встречается и практически не представлено в топонимии (разве что в названии р. *Сдеришка* < \**Содеришка* во Владимирской обл.). Единственная этимология, заслуживающая внимания, принадлежит А.К. Матвееву [1964]: марийск. *чодра* "лес". Считаем небезынтересными и фин. *suo töygy* "болотный холм", *suotura* "трясина, жидкая болотистая почва", саам. *šaidar* "болотное место".

\*

Из анализа рассмотренных географических терминов следует, что до начала русской колонизации, к которой хронологически близко появление здесь прибалтийско-финских и мерянских элементов, на территории Заволочья проживало население, говорящее минимум на двух типах диалектов. Первый тип может быть определен, как саамский (что и раньше не вызывало сомнений); с ним связан термин *едома* и, возможно, *содера*. Второй тип, при всем его своеобразии, наиболее близок к прибалтийско-финским языкам, а порой к прибалтийско-финскому языку-основе. С этим типом диалектов мы связываем термины *поча*, *лагмас*, *вагмас*, *согра*, *пенус/пендус* (*ласта* и *койдома* могут, в принципе, происходить из диалектов как саамского, так и прибалтийско-финского типов). Однако, эти заимствования не могут быть возведены к единому диалекту прибалтийско-финского типа. Рассмотренные термины демонстрируют в одних случаях сохранение финно-угорской аффрикаты *-tʃ-* (*поча*), в других – результаты ее эволюции в *-h-* (*лагмас*) или *-d(t)-* (*пендус/пентус*). Поэтому приходится считать, что либо обсуждаемый язык Чуди Заволочской прибалтийско-финского типа эволюционировал уже в эпоху славянского освоения Русского Севера (и протиполоставляемые заимствования разновременны), либо, что более вероятно, на терри-

Русские термины и их распространение	Топонимы на соответствующей территории	Возможные языковые источники
<p><i>кегора, тегора</i> "местность, удобная для выпаса оленей, богатая ягелем" [ГСК 1939; Фасмер; Меркурьев 1979]. "густой олений мох" [Алатырев 1948] (Кольский п-в, Карелия)</p> <p><i>кугры</i> "подмытые водой берега", <i>кугровина</i> "кочка на пожне", <i>кугра</i> "болото с кочками" (юго-восток Карелии) [ПФГЛ 1991], "топкое болото" (Белоозеро) [Субботина 1985]; <i>кугра, кугорка</i> (Кенозеро) "низкое сырое место" [Кенозеро 1987]</p> <p><i>чагровник</i> (Каргополье) "низменное сырое место, поросшее чахлым лесом" (то же: <i>согра, сугра, шогра</i>) [Гусева 1971]; <i>чагра</i> (юг Арханг. запад Кировск. обл.) "густой труднопроходимый лес на сыром месте"; <i>чагора</i> (Красноборский р-н Волог. обл.) "чаща; топкое место на болоте; непроходимое сырое место в лесу" [Востриков 1981]</p> <p><i>согра</i> "низменное сырое место, поросшее чахлым лесом" (Каргополье) [Гусева 1971]; "густой кустарник у реки; сырое место, заросшее кустами" (Виноградовский р-н Арханг. обл.) [Алабутина и др. 1974]; "болотистый чахлый лес" (Белозерье; Арханг. обл.) [Субботина 1985; Востриков 1978]; "старница, вытянутое заболоченное понижение" (воронежск.), "заболоченный черноольшаник в пойме" (тамбовск.) [Мурзаев 1984]</p> <p><i>шогра</i> (Каргополье, Белозерье) "низменное сырое место, поросшее чахлым лесом" [Гусева 1971; Востриков 1978]</p> <p><i>шахра</i> (Волог. обл.) "сырой кочковатый луг; сырые понижения с ельником с мощным моховым покровом и редким подлеском"; (Кировск. обл., Чуломский р-н Костр. обл.) "гнилой низкорослый лес на болоте" [Востриков 1978; Мурзаев 1984] ? (Гверская обл.)</p> <p><i>шигар</i> (Приуралье) "густой сосняк на болоте; моховос болото с мелким и густым сосновым лесом" [Матвеев 1962]</p> <p><i>цигор</i> (хурское, устаревшее) "сухое место на болоте; незатопляемая часть поймы: насыпь песка у реки" [Черепанова 1992] укр. <i>чагар, чагарник</i> "кустарник"</p>	<p>р. <i>Kekarusjoki</i>; оз. <i>Тогроярва</i> [Кн. 1500] (Финляндия); <i>Kiekeröläksi</i> – зал. оз. Хайколя; дер. <i>Чегравара</i> [Самоквасов 1909]; р. <i>Шигренджа</i> басс. Выга; дер. <i>Кегаровщина</i> (Заонежье); оз. <i>Дегра</i> басс. Суны</p> <p>микротопонимы <i>Согра</i> в Каргополье; <i>Согра, Согорка</i> по Шиленьге; <i>Согра</i> в верховьях Пинеги; р. <i>Тегра</i> басс. Двины; <i>Майсогра</i> (р-н Ваги) [Акты СВ, 3: № 290]; <i>Согорки</i> на р. Сямжена басс. Сухоны</p> <p><i>Шогра Великая</i> в Кеме (1490 г.), <i>Шограш</i> Вологодск. уезда (1503 г.) [Акты СВ, 2: № 298, 308] р. <i>Шахраш</i> Нерехотской волости [Акты СВ, 1: № 196], дер. <i>Сахарож</i> в Ярославск. обл.; дер. <i>Шухра</i> в басс. Черли Клязьминской</p> <p>рр. <i>Шегра, Шегринка, Шегра</i>; оз. <i>Тагрань</i>; дер. <i>Чигариха, Чигориха</i>; остров <i>Чиграва</i> (Волга); р. <i>Шугор</i>, пр. Печоры; дер. <i>Чигара</i> к СЗ от Томска; дер. <i>Шогринское</i> к СВ от Екатеринбургa; р. <i>Шегарка</i>, пр. Оби, уроч. <i>Согра</i> в Курганск. обл. дер. <i>Шигры</i> Калужск. обл.; р. <i>Шигор</i> басс. Сейма; пос. <i>Шигры</i> в басс. Сосны</p>	<p>карел. <i>kiekerö, čiekerö</i>, саам. <i>šieggar, tšiegar, tšëgar</i> "зимнее оленье пастбище" [Тконен 1958; ПФГЛ 1991; SKES]</p> <p>вепс. <i>kuhr</i> "небольшая яма в лесу, на болоте", <i>kuhrikas</i> "топкий, неровный" [ПФГЛ 1991]</p> <p>вепс. <i>šohging</i> "болотина (заболоченное место)" [ПФГЛ 1991]</p> <p>марийск. <i>шыргы</i> "лес" [Востриков 1978]</p> <p>хант. <i>tšger</i> "мелкая сосна", селькупск. <i>согыр</i> "топкое место с мелким кустарником" [Матвеев 1962; Мурзаев 1984]; манс. <i>sali-šig</i> "оленье пастбище"</p>

тории Заволочья одновременно были представлены две группы диалектов прибалтийско-финского типа: на северо-западе более архаичная, на юго-востоке эволюционировавшая в направлении, сходном с финским, карельским (собственно карельское наречие), эстонским языками. То есть в этом отношении в Заволочье реализовалась картина, схожая с той, что имеет место для современных прибалтийско-финских языков, часть которых (южнокарельские наречия, вепсский язык) сохранила некоторые архаичные фонетические элементы (в ряде случаев имеющиеся также в волжских и саамских соответствиях)<sup>17</sup>. Этим в значительной степени снимается противоречие в выводах А.К. Матвеева (о субстрате "марийского" типа) и наших. За южной группой диалектов логично оставить определение Матвеева "севернофинские". Северную справедливо было бы назвать "чуждской".

Особого разговора заслуживает территориальное распространение топонимов, связанных с финно-угорскими источниками обсуждаемых заимствований (мы уже обращали внимание на поразительный ареал топонимов, восходящих к др.-фин. \**tšúžm*- (фин. *systmä*) "лесная глушь", саам. \**tšaotšam* "равнина или холм, поросшие густым лесом" [Шилов 1996: 72–73]). Здесь лишь ограничимся топонимами с элементом *-edom*. Это не единственный, но один из наиболее ярких, наглядных (и бесспорных притом) примеров распространения "саамизмов" далеко на юго-восток от районов не только нынешнего и относительно недавнего (Южное Приладожье, Обонежье) проживания саамов, но и от районов, где массовые саамизмы в топонимии не вызывают сомнения, хотя пребывание там саамов археологически и документально не зафиксировано (Заволочье, вепсское Межозерье [Муллонен 1990; 1994]). По нашему мнению, это говорит о былом присутствии в костромских землях предков саамов, точнее предков уральского компонента их генезиса. Впрочем, эти саамизмы могут оказаться на поверку финнизмами, то есть принадлежать народу, в контакте с которым восточные предки саамов сменили свой язык (самоидийского типа, как полагают многие) на язык финно-угорского типа<sup>18</sup>. Обращают на себя внимание, в свете сказанного, такие марийско-саамские лексические параллели (примеры взяты из словарей [Raasonen 1948; Itkonen 1958]: марийск. *šeŋgel* – саам. *soaŋŋk* "задний" (прибалт.-фин. *taka-, taga-* или *perä, perze*); марийск. *waweš, wapteš, wapš* "сеть для ловли птиц, зверей" – саам. *vüq̄v̄š<sup>A</sup>, vüps<sup>A</sup>* "полотно рыболовной сети"; марийск. *ize* (коми *ичöm*) – саам. *uts, uđtš* "маленький" (прибалт.-фин. *pieni*); марийск. *eŋeš* "ежевика, малина" – саам. *joŋŋ<sup>a</sup>* "брусника" (прибалт.-фин. *vattu, vadelma* "малина", *puola, hol* "брусника"); марийск. *kumdu, \*komda* – саам. *kov̄D̄i, koB̄<sup>h</sup>i, komte, kom<sup>d</sup>taš<sup>a</sup>* "широкий"; марийск. *nendže* "ил; слякоть"

– саам. *nješše, nē<sup>ä</sup>šš<sup>E</sup>* "грязь, вязкая почва"; марийск. *oto* "лес на возвышенности", *ata*. *oto* "остров; куст, роща, мелкий частый лес" (чуваш., татар. *atau*) – саам. *viŋđle, viowde*, "лес" (> фин. *outa*); марийск. *šukš* – саам. *šyč̄š<sup>A</sup>, suhs, suok'sâ* "червь"; марийск. *ul'mo, ulmo* – саам. *olmaj, q̄lmq̄ž, q̄lmaj* "муж(чина)"; марийск. *koškam* – *keĎDzoD* "есть".

Так что не исключено, что тот же элемент *-edom* является волжско-финским (мерянским?) по происхождению, но соответствующий термин сохранился лишь в

<sup>17</sup>Мы не касаемся вокализма обсуждаемых топонимов и апеллятивных заимствований. Во-первых, здесь много сделано А.К. Матвеевым. Во-вторых, предстоит еще большая работа по разграничению явлений, связанных с неоднородностью языкового субстрата Заволочья с одной стороны, и с различием результатов освоения субстратной топонимии и лексики аборигенов славянскими пришельцами с другой. Напомним, что север и запад региона осваивался новгородскими словенцами, пришедшими с прибалтийско-финских земель и увлекшими с собой какое-то число карел и вепсов. Юго-восток Заволочья колонизовали ростово-суздальские кривичи, пришедшие с земель меря и волжских финнов.

<sup>18</sup>Для проблемы ранней истории "восточных" предков саамов интерес представляют факты, подобные следующему: близость саамского (диалекты Финляндии, см. прим. 1) *dwöksne, diegesnu* "задний" к др.-инд. *dakšina* "правый; южный" (формы слова в иных саамских диалектах и прочих финно-угорских языках сильно отличаются от вышеуказанных; см. в [SKES] статью *taka*).

саамском языке как заимствование, а в языке-источнике исчез. Этот и подобные факты (прим. 5) указывают на гораздо более восточные, чем это обычно считается (карту и литературу см.: [Муллонен 1994]), территории, где саамский язык начал формироваться как язык финно-угорского типа. Нынешний же, свой прибалтийско-финский облик он, по-видимому, начал обретать именно в Заволочье или на ближайших к югу от него территориях, но вряд ли западнее. Таким образом мы возвращаемся, в известной степени, к гипотезе А.Л. Погодина [Погодин 1912: 107].

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Агеева Р.А.* 1990 – Страны и народы: происхождение названий. М., 1990.
- АИ 1842 – Акты исторические, собранные и изданные Археографическою комиссиею. Т. 1–5. СПб, 1841–1842.
- Акты 1888 – Акты Соловецкого монастыря 1479–1571 гг. Л., 1988.
- Акты писц. 1990 – Акты писцового дела 60–80-х годов XVII века. М., 1990.
- Акты СВ – Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси конца XIV – начала XVI в. Т. 1–3. М., 1952–1964.
- Алабугина и др.* 1974 – Ю.В. Алабугина, Т.А. Иванова, Л.В. Кульмаментьева, Г.А. Огонькова, Л.А. Пичугова. Заимствованные апеллятивы в русских говорах Виноградского района Архангельской области и их отражение в топонимике // Вопросы ономастики. № 8–9. 1974.
- Алатырев В.И.* 1948 – Словник-вопросник по изучению заимствованных карельских, вепсских, финских и областных слов в русских говорах КФССР. Петрозаводск, 1948.
- Антипов Г.Н.* 1977 – Нижегородские документы XVI века. М., 1977.
- Востриков О.В.* 1978 – Несколько субстратных включений в русских говорах Костромской области (*сорьез, тохта, шохра*) // Этимология русских диалектных слов. Свердловск, 1978.
- Востриков О.В.* 1981 – Финно-угорские лексические элементы в русских говорах Волго-Двинского междуречья // Этимологические исследования. Свердловск, 1981.
- ГВНП 1949 – Грамоты Великого Новгорода и Пскова / под ред. С.Н. Валка. М.; Л., 1949.
- ГНК 1993 – Географические названия Карелии // Родные сердцу имена. Петрозаводск, 1993.
- ГСК 1939 – Географический словарь Кольского полуострова. Ч. 1. Л., 1939.
- Гусев Л.Г.* 1971 – Заимствованные слова в географической терминологии Каргопольского края // Вопросы топониматики № 5. Свердловск, 1971.
- Дерягин В.Я., Колягина Л.П.* 1972 – Из истории и географии финно-угорских заимствований в севернорусских говорах // Вопросы изучения русских народных говоров. Диалектная лексика. 1971. Л., 1972.
- ДКУ 1976 – Древнерусские княжеские уставы XII–XV вв. / изд. подг. Я.Н. Шапов. М., 1976.
- Европеус Д.П.* 1876 – Об угорском народе, обитавшем в средней и северной России, в Финляндии и в северной части Скандинавии до прибытия туда нынешних их жителей // Тр. II Археолог. съезда 1871. Вып. 1. Отд. 4. СПб., 1876.
- Жучкевич В.А.* 1977 – Краткий топонимический словарь Белоруссии. Минск, 1971.
- История 1987 – История Карелии XVI–XVII вв. в документах. Петрозаводск; Йоенсуу, 1987.
- Каталог 1959 – С.В. Григорьев, Г.Л. Грицевская. Каталог озер Карелии. Изд. АН СССР, 1959.
- Кенозеро 1987 – Топонимика Кенозера. В.Я. Дерягин, З.С. Дерягина, Г.И. Манихин. Архангельск, 1987.
- Керт Г.М.* 1988 – Словообразование имен в саамском языке // ПФЯ. Петрозаводск, 1988.
- Керт Г.М.* 1991 – Структурные типы саамской топонимии // ПФЯ. Петрозаводск, 1991.
- Кн. 1500 – Переписная окладная книга по Новгороду Вотской пятины 7008 года // Временник МОИДР. Кн. 11, 1851; Кн. 12, 1852.
- Книги 1930 – Писцовые книги Обонежской пятины 1496 и 1563 гг. // Материалы по истории народов СССР. Вып. 1. Л., 1930.
- Ларин Б.А.* 1959 – Русско-английский словарь-дневник Ричарда Джеймса. Л., 1959.
- Лукичева Э.В.* 1985 – О происхождении некоторых топонимов Белозерья с компонентом *-весь, -вец* // Проблемы русской ономастики. Вологда, 1985.
- Мат. 1941 – Материалы по истории Карелии XII–XVI в. Петрозаводск, 1941.
- Матвеев А.К.* 1962 – Новые данные о финно-угорских заимствованиях в русских говорах Урала и Западной Сибири // Вопросы финно-угорского языкознания. М.; Л., 1962.
- Матвеев А.К.* 1964 – Субстратная топонимика русского Севера // ВЯ. 1964. № 2.
- Матвеев А.К.* 1966 – Ареалы некоторых субстратных основ в севернорусской топонимии // Вопросы географии. 70. М., 1966.
- Матвеев А.К.* 1968 – Пермские элементы в субстратной топонимии Русского Севера // СФУ. 1968. Т. 4. № 1.

- Матвеев А.К.* 1970 – Типы бытования географических терминов в субстратной микротопонимии Русского Севера // Вопросы географии. № 81. 1970.
- Матвеев А.К.* 1971 – Из истории изучения субстратной топонимики Русского Севера // Вопросы топонимастики. № 5. Свердловск, 1971.
- Матвеев А.К.* 1973 – Этимологизация субстратных топонимов и апеллятивные заимствования // Этимология 1971. М., 1973.
- Матвеев А.К.* 1974 – К этимологии коми-зыр. ВИС-(ВИСК-) // AL Academiæ scientiarum Hungaricæ. V. 24(1–4). 1974.
- Матвеев А.К.* 1979 – Древнее саамское население на территории Севера Восточно-Европейской равнины // К истории малых народностей Севера СССР. Петрозаводск, 1979.
- Матвеев А.К.* 1993 – Субстрат и заимствование в топонимии // ВЯ. 1993. № 3.
- Матвеев А.К.* 1995 – Апеллятивные заимствования и стратификация субстратных топонимов // ВЯ. 1995. № 2.
- Матвеев А.К.* 1996 – Субстратная топонимия Русского Севера и мерянская проблема // ВЯ. 1996. № 1.
- Матвеев А.К., Стрельников С.М.* 1988 – Лексические параллели между диалектами белозерских и кильдинских саамов (по данным топонимии) // Этимологические исследования. Свердловск, 1988.
- Меркурьев И.С.* 1979 – Живая речь кольских поморов. Мурманск, 1979.
- Муллонен И.И.* 1990 – Vepsians in Mezhozerye from place-name data // Proceedings of the XVII international Congress of Onomastic sciences. V. II. Helsinki, 1990.
- Муллонен И.И.* 1991 – Вепские фоноформанты // ПФЯ. Петрозаводск, 1991.
- Муллонен И.И.* 1994 – Очерки вепской топонимии. СПб., 1994.
- Мурзаев Э.М.* 1984 – Словарь народных географических терминов. М., 1984.
- Мусихина Э.С.* 1984 – К вопросу о формировании гидрогеографической терминологии в севернорусских говорах // Этимологические исследования. Свердловск, 1984.
- НГБ 1986 – *В.Л. Янин, А.А. Зализняк.* Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1977–1983 гг.). М., 1986.
- Никольский В.В.* 1927 – Быт и промыслы населения западного побережья Белого моря // Труды Ин-та по изучению Севера. Вып. 36. М., 1927.
- Озерецковский Н.Я.* 1812 – Путешествие академика Н. Озерецковского по озерам Ладожскому, Онежскому и вокруг Ильмена. СПб., 1812.
- Погодин А.Л.* 1907 – К вопросу о русских словарных заимствованиях из финского языка // ИОРЯС. 1907. Т. 12. № 3.
- Погодин А.Л.* 1912 – К вопросу о древнем населении нашего Севера – лопарях и чуди // ЖМНП. 1912. № 11.
- Подольская Н.В.* 1983 – Типовые восточнославянские топоосновы. Словообразовательный анализ. М., 1983.
- Попов А.И.* 1948 – Топонимическое изучение Восточной Европы // Уч. зап. ЛГУ. Сер. востоковедч. наук. Вып. 2. № 105, 1948.
- Попов А.И.* 1955 – Из истории славяно-финноугорских лексических отношений // AL Academiæ scientiarum Hungaricæ. V. 1–2. Budapest, 1955.
- Попов А.И.* 1974 – Топонимика древних мерянских и муромских областей // Географическая среда и географические названия. Л., 1974.
- Попов А.И.* 1981 – Следы времен минувших: из истории географических названий Ленинградской, Псковской и Новгородской областей. Л., 1981.
- Поспелов Е.М.* 1988 – Школьный топонимический словарь. М., 1988.
- ПФГЛ 1991 – *Н.Н. Мамонтова, И.И. Муллонен.* Прибалтийско-финская географическая лексика Карелии. Петрозаводск, 1991.
- Самоквасов Д.Я.* 1909 – Архивный материал. Новооткрытые документы поместно-вотчинных учреждений Московского царства. Т. 2. М., 1905–1909.
- Свищын П.П.* 1829 – Изъяснение некоторых карельских слов, доказывающих существование там чуди // Отечественные записки. 1829. Ч. 38. № 110.
- Семенов В.П.* 1934 – *Семенов-Тянь-Шанский В.П.* Топонимическая карта Восточно-Европейской равнины // Труды I Всесоюзного географического съезда. Вып. 4. Л., 1934.
- СРНГ 1966 – Словарь русских народных говоров. Вып. 1– Л., 1966 –.
- СЛРЯ 1975 – Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 1–М., 1975 –.
- Субботина Л.А.* 1975 – Этимологический анализ некоторых субстратных топонимов северной части Белозерского края // Вопросы ономастики № 10. Свердловск, 1975.
- Субботина Л.А.* 1985 – Заимствования в географической терминологии Белозерья: Дис... канд. филолог. наук. Томск, 1985.
- Фасмер М.* – Этимологический словарь русского языка. Т. 1–4. М., 1964–1973.

- Федоров А. И. 1971 – Освоение заимствованных слов в севернорусских говорах // Дialeктная лексика. 1969. Л., 1971.
- Хакулинен Л. 1953 – Развитие и структура финского языка. Ч. 1: Фонетика и морфология. М., 1953.
- Чайкина Ю. И. 1988 – Географические названия Вологодской области. Архангельск, 1988.
- Черепанова Е. А. 1992 – Южновеликорусская топонимия в писцовых книгах XVII в. // Центральнo-черноземная деревня: история и современность. М., 1992.
- Шилов А. Л. 1996 – Чудские мотивы в древнерусской топонимии. М., 1996.
- Шилов А. Л. 1997 – К происхождению гидроформанта *-ень/ь)га* в субстратной топонимии Русского Севера // Традиционная культура финно-угров и соседних народов. Петрозаводск, 1997.
- Itkonen T. J. 1958 – Koltan- ja Kuolanlapin sanakirja. Osa 1–2. Helsinki, 1958.
- Kallima J. 1919 – Die ostseefinnischen Lehnwörter im Russischen. Helsinki, 1919.
- Kujola J. 1944 – Lyydilaismurteiden sanakirja. Helsinki, 1944.
- Nissilä V. 1967 – Die Dorfnamen des alten ludischen Gebiets. Helsinki, 1967.
- Raasonen H. 1948 – Ost-Tscheremissisches Wörterbuch. Helsinki, 1948.
- Setälä E. N. 1902 – Zur finnisch-ugrischen Lautlehre // FUF. 1902. Bd. 2. Hf. 3.
- SKES – Suomen kielen etymologinen sanakirja. Osa 1–6. Helsinki, 1955–1978.

© 1997 г. А. АЛЬКВИСТ

## МЕРЯНСКАЯ ПРОБЛЕМА НА ФОНЕ МНОГОСЛОЙНОСТИ ТОПОНИМИИ

Исчезнувшие финно-угорские народности Средней России: меря, мурома и мещера – привлекают внимание представителей многих поколений исследователей. Особенный интерес вызывает мерянская проблематика как в России, так и за ее пределами. Мой учитель и научный руководитель, специалист по финно-угроведению – профессор Микко Корхонен (1936–1991) считал исследование финно-угорского субстрата России как бы историческим долгом финнов.

Обратиться к проблемам меряности на страницах журнала "Вопросы языкознания" меня заставила статья Александра Константиновича Матвеева, напечатанная в 1-ом номере издания за 1996 г. К рассуждениям опытного специалиста по топонимии и говорам Русского Севера я хотела бы в краткой форме добавить кое-какие свои размышления о мерянской проблеме не только с точки зрения финского "меряниста", но прежде всего с позиции исследователя Средней России, а именно Мерянской земли и ее топонимии. При этом хотелось бы обратить внимание на некоторые принципиальные вопросы изучения субстратной топонимии Мерянской земли.

### НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СУБСТРАТА МЕРЯНСКОЙ ЗЕМЛИ

Финно-угорский субстрат Средней России исследован крайне недостаточно. Пока даже планомерно не собран материал, необходимый для глубокого исследования. Прежде всего речь идет о топонимах и антропонимах; диалектная лексика собрана несравненно лучше. В данной статье мы не будем затрагивать те многочисленные исследования о мере, выводы в которых сделаны на основе одного и того же не очень значительного и не всегда качественного топонимического материала, на что указывает А.К. Матвеев [Матвеев 1996: 4; 1997: 46].

Некоторые выводы предыдущих исследований, безусловно, оказались правильными, но в большей части, к сожалению, все еще при изучении топонимии пользуются одними и теми же, порой недостоверными результатами. Конечно, если во многом построить исследование заново с самого начала, можно двигаться вперед, опираясь даже на давно известный, ограниченный топонимический материал. Однако только дополнительные материалы позволят нам по-новому взглянуть на проблему исследования и дадут совершенно новые возможности для последовательного изучения топонимии Мерянской земли. Поэтому, как нам кажется, на данном этапе одной из наиболее важных задач исследователей нашего поколения является систематический сбор полевых материалов, который должен отвечать высоким требованиям как с точки зрения достоверности сведений, так и в плане их многосторонности.

В настоящее время именно древняя микротопонимия стоит перед опасностью исчезновения. Сохранившейся в Средней России микротопонимии угрожает, например, вымирание деревень или превращение их в дачные городки, уход из мира старого поколения, миграция населения и быстрое изменение его традиций. В подобных условиях топонимия уже не переходит к новому поколению так, как это было раньше

веками. Однако, не все еще потеряно, и особенно радует то, что хорошую и подробную информацию можно услышать иногда не только от пожилых людей, но и от людей среднего поколения. Если же материалы в ближайшие годы и десятилетия не будут собраны, часть богатой топонимии может исчезнуть навсегда. Именно сейчас есть последняя возможность начать систематический сбор материала.

В 1995 году нами разработан трехлетний проект исследования финно-угорского субстрата Средней России, финансируемый Академией Финляндии и осуществляемый кафедрой финно-угорского языкознания Хельсинкского университета. Цель проекта – научное исследование языкового и, частично, другого духовного наследия дославянских жителей Ростовского и Переславского районов Ярославской области, включая районы двух больших озер Ярославского края – Неро и Плещеево, т.е. центральной территории летописной мери (ср. [Леонтьев 1996: 292]). Исследование ведется в лингвистическом аспекте с привлечением данных этнографии, фольклористики, науки о древних верованиях и последующим сопоставлением получаемых результатов с выводами археологических исследований.

Полевыми исследованиями собирается, по возможности, весь сохранившийся топонимический материал двух южных районов Ярославской области, на территории которых до настоящего времени только существующих населенных пунктов насчитывалось более 600 [ЯО]. Задачей проекта является тщательное и планомерное исследование всех населенных пунктов: как существующих, так и исчезнувших. Материал об исчезнувших деревнях собирается, как правило, от их бывших жителей. Полевые исследования проводятся ярославскими сотрудниками по вопроснику, составленному с учетом региональных особенностей Средней России.

В сравнительных целях исследуется также ряд населенных пунктов в других районах и сопредельных областях, в том числе на территории Костромской мери, в Муромском и Мещерском краях.

Параллельно ведется сбор соответствующих материалов в местных и центральных архивах, где в документах встречаются топонимы, уже не используемые в живой речи современными деревенскими жителями. Частично такие названия еще могут пассивно существовать в памяти старшего поколения, и поэтому извлеченный из архивных источников материал, по возможности, проверяется у современного населения данной местности.

По собранному и проверенному материалу составляется максимально полная компьютерная картотека как для исследования проблемы в связи с проектом, так и для науки в целом. После окончания проекта собранные полевые материалы по Ростовскому и Переславскому районам Ярославской области будут полностью опубликованы в виде словаря географических названий с основными сведениями. В дальнейшем планируется также составить соответствующий словарь, опирающийся на тщательно изученные архивные источники<sup>1</sup>.

#### **ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ СУБСТРАТНОЙ ТОПОНИМИИ СРЕДНЕЙ РОССИИ**

Длительная история заселения Средней России богата многообразием культур и народов. Уже один этот факт свидетельствует в пользу того, что дославянская топонимия региона гетерогенна по своему происхождению. В ряде случаев в ней можно выделить перекрывающие друг друга параллельные топонимические компоненты с предполагаемой одинаковой семантикой, но с такими фонетическими различиями, которые не объясняются славянским влиянием, а могут быть связаны с

---

<sup>1</sup> Приведенные ниже примеры собраны как полевыми исследованиями автора в Ярославской и сопредельных областях в 1989–97 гг., так и при осуществлении указанного проекта исследования в 1995–97 гг. Источники письменных материалов даются отдельно. Ударение в приведенных примерах не указывается: в абсолютном большинстве случаев оно стоит на первом слоге.

существованием на территории в разное время отличающихся друг от друга по языку народов финно-угорского происхождения.

В субстратной топонимии Средней России участвуют не только непосредственно дорусские компоненты, например, мерянского происхождения, но и более древние элементы, имеющие, главным образом, финно-угорские корни, а также, вероятно, на каких-то участках территории и иного, в том числе балтийского происхождения. Естественно предположить, что мерянами была освоена определенная доля предшествующей топонимии, которая, в свою очередь, частично могла восходить к языкам более древних жителей ареала (с точки зрения мерянского языка, к субсубстрату).

Вполне вероятно, что освоение мерей (суб)субстрата происходило относительно легко благодаря родству языка. В процессе ассимиляции подобное должно было случаться и в более ранние времена. На основе общей лексики финно-угорских и, тем более, финно-волжских языков, можно предположить, что часть субсубстратной (с современной точки зрения) топонимии при освоении ее новыми языками, скорее всего, сохраняла в несколько измененной фонетической форме свое первоначальное семантическое содержание.

Причислить весь субстратный топонимический материал региона к какому-либо определенному языку – задача нереальная. Это не позволяет сделать, прежде всего, проявляющаяся в топонимии языковая близость этносов, в прошлом попеременно населявших Среднюю Россию. Заимствование названий одного языка другим осуществлялось на разных этапах заселения.

Из-за явной многослойности топонимических компонентов бывшей мерянской территории употреблять определение "мерянский" на современном этапе исследования следует крайне осторожно, хотя, в определенном смысле, всю топонимию финно-угорского происхождения мерянской земли можно считать "мерянской", ведь она в любом случае должна была проходить мерянскую адаптацию до "передачи" ее в процессе ассимиляции славянскому населению. Менее рискованно говорить просто о финно-угорском субстрате с территориальными дополнениями, например, Мерянской земли.

Как утверждает А.К. Матвеев [Матвеев 1996: 5], абсолютных критериев выделения топонимии мерянского типа нет. Вместе с тем, он предлагает несколько возможных критериев. Определение даже условных критериев для таких целей предусматривает высокую степень собранности топонимии не только в Средней России, но и на огромных прилегающих, бывших или теперешних финно-угорских территориях. Наличие обширных топонимических материалов только по Русскому Северу в данном случае является недостаточным. Необходимо иметь подобную богатую коллекцию топонимов и по Мерянской земле, не говоря уже о других территориях Средней, а также Северо-Западной и Восточной России.

Для выделения топонимии мерянского типа мы, естественно, должны уметь отличать ее по каким-то признакам от топонимии, возникшей на основе других (финно-угорских) языков. Но до основательных сравнительных исследований огромной массы субстратной и продуктивной топонимии широкой территории обитания финно-угорязычных народов в прошлом или настоящем определять по любым критериям какие-нибудь категоричные изоглоссы и точную принадлежность древних топонимических слоев к определенным языкам очень рискованно. Пока же такое исследование провести невозможно из-за недостаточной собранности топонимии значительных территорий.

Нам кажется, что критерий А.К. Матвеева [Матвеев 1996: 5] № 1 – "фиксация структурно-словообразовательного типа на территории ИМЗ /исторические мерянские земли/ и его отсутствие на смежных территориях (кроме РС /Русский Север/)" – является достаточно опасным. Позволяя себе отождествление топонимии Мерянской земли лишь с топонимией Русского Севера, мы по какой-то непонятной причине оставляем в стороне остальную часть Средней России, не говоря уже о других (бывших) финно-угорских территориях. Подобный подход будет отражать только

субъективную точку зрения, а не настоящее состояние дела. По предлагаемому критерию мы можем оставить субстратную топонимию этих остальных территорий в стороне только в том случае, если она окажется отличной в каком-то отношении именно от субстратной топонимии Мерянской земли и Русского Севера. Ни вопрос о выделении топонимии мерянского типа, ни вопрос о связи мерянской топонимии с домерянской не могут решаться с учетом лишь севернорусских данных (ср. [Матвеев 1996: 5]). При определении топонимии мерянского типа до осуществления фундаментальных исследований мы ничего не можем оставлять в стороне. Это дело самого исследования. Критерии не должны рассматриваться произвольно.

А.К. Матвеевым [Матвеев 1996: 5] учитывается мнение исследователей о принадлежности того или иного типа названий к мерянской топонимии, что, естественно, и должно делаться. Однако на основе предыдущих исследований по финно-угорскому субстрату Средней России мы фактически имеем очень мало бесспорных сведений. Многие из предложенных этимологий оказались неустойчивыми, были основаны прежде всего лишь на похожем фонетическом облике лексического компонента в каком-то из финно-угорских языков и часто не учитывали при этом семантическую вероятность. Следовательно, отбор подходящих исследований происходит субъективно, избирательно и не может служить абсолютным критерием.

Современное состояние изучения субстратной топонимии Средней России сравнительно уверенно позволяет исключить лишь славянскую топонимию из географических названий финно-угорского (а возможно, в какой-то мере, и иного) происхождения.

Очень серьезный вопрос возникает при выделении компонентов субстратного языка с явным наличием разного рода фонетических адаптаций, часто происходящих с народными этимологиями, которые имели место не только во время славянской колонизации, а неизбежно уже на более ранних этапах освоения местных топонимов пришельцами. В некоторых случаях основы номинации в русском языке, а также географическая реальность могут свидетельствовать о наличии народной этимологии (см., например, [Ahlqvist 1997]).

В ряде случаев семантика, первоначальное содержание топонима явно не подчиняется фонетическим законам. Консонантизм субстратной топонимии Средней России кажется достаточно стабильным, но при вокализме часто наблюдаются явления, не вмещающиеся в рамки развития фонетической системы финно-угорских языков. При этом надо учитывать русскую адаптацию, о чем упоминает А.К. Матвеев [Матвеев 1997: 46].

Нам кажется, что пренебрежение явными видоизменениями может серьезно исказить общую картину распространения какого-либо определенного топонимического компонента.

Методом широкого сравнения топонимических компонентов (как субстратных, так и продуктивных) огромных пространств былого и современного расселения финно-угров и специфических особенностей их языков мы можем доказать, главным образом, финно-угорское начало топонимии субстратного происхождения Средней России. Для этимологизации определенных названий, кроме помощи живых финно-угорских языков и учета первоначального вида и состояния местности, требуется тщательное исследование основ номинации, например, с помощью русской топонимии в виде семантического сравнительного материала. Русская топонимия может быть существенно важной и бесспорно доказательной с точки зрения подтверждения возможных топонимических калек или полукалек, или же как показатель наличия определенных принципов номинации в той или иной местности. Ср. классический пример: название с. *Киболо*, основа \**Ки* которого этимологизируется как 'камень' на основе расположения села на реке *Каменка* [Eugoraeus 1868: 105; Vasmer 1935: 398, 417; Попов 1974: 16; Ткаченко 1985: 61, 149–150].

Вполне реально стремиться не только к выяснению субстрата, оставленного непосредственно дорусскими жителями территории, которые, видимо, могли сохранить

компоненты языков более древних народностей и племен, живущих на данной территории, но и к выделению каких-то осколков топонимических компонентов, восходящих к субсубстратным языкам.

Определение качества древнего топонимического материала, отделение субстрата от субсубстрата (порой разновременного), т.е. выявление разных слоев субстратной топонимии – сложнейшая задача, которая частично может быть разрешена сопоставлением результатов языкознания, археологии, а в определенных случаях также и географии. Следовательно, кроме фонетико-морфологических и лексических сравнений с разными языками финно-угорской языковой группы потребуется бесшовная и систематическая совместимость языковедческих, а именно топонимических данных с археологическими. Для поддержки этимологизации части названий нужны дополнительные сведения о географических и природных условиях, об их изменениях в течение длительного времени, а также, по мере надобности, иная лингвистическая информация.

Является ли компонент мерянским или домерянским (финно-угорским), в некоторых случаях можно будет определить подтверждением археологического возраста ряда географических объектов с одинаковым топонимическим компонентом. Максимально полная археологическая изученность определенного места позволит достаточно уверенно исключить более ранние, например, домерянские признаки человеческого действия. Желательно иметь полное археологическое исследование также и других мест, названия которых будут либо параллельными (имея и тот же корень/определение, и тот же суффикс/детерминант) с исследуемым топонимом, с языковедческой точки зрения, либо однокомпонентными (однокоренными или суффиксальными) с исследуемым топонимом, относящимся к археологически исследуемому месту. Так, например, селище *Бремболка* у с. Городище Переславского района Ярославской области считается археологами мерянским поселением [Леонтьев 1996: 48], относимым к VII–X в.в. [СПАЯ: 24]. Подтверждением меряничности топонимов на *-бол* бывшей мерянской территории служит ряд односуффиксальных ойконимов со следами мерянских поселений типа *Пужбол*, *Деболовское* (см. [Леонтьев 1996: 27–28, 38–39] и ниже об общности компонента *-бол*).

Второй надежный способ отделения субстрата от субсубстрата связан с географией. Если известно, что этимология топонима определяется географическими условиями, в некоторых случаях их изучение может помочь в выяснении возраста названия. По изменениям географических условий можно установить временные границы существования определенного типа ландшафта, по которому предполагается место названо. При этом желательно иметь также сведения о нескольких местах с одинаковым названием.

Возьмем, к примеру, гидроним *Вёкса*. Все четыре великих озера Мерянской земли, а именно ярославские Неро и Плещеево и костромские Галичское и Чухломское, имеют вытекающие из них реки под этим названием. Кроме этих четырех рек на территории от Ярославской до Вологодской областей имеется еще несколько параллельных гидронимов. Даже не касаясь этимологии данного топонимического компонента, можно делать выводы о его происхождении.

Вполне вероятно, что "Вёкса" из озера Неро образовалась в сравнительно позднее время. Есть предположение, что на рубеже эр озеро Неро могло распространяться до рек Устье и Которосль<sup>2</sup>. Теперешняя *Вёкса*, соединяясь с р. Устье, теряет свое название и дальше течет под названием Которосль. Если река не существовала незадолго до мерянского времени, то, следовательно, она и не могла иметь названия, а была, вероятно, названа мерянами, пришедшими туда вскоре после ее образования.

Судя по ландшафтным данным, подобное вполне допустимо и относительно "вёкс" других великих озер. Удостовериться в этом можно путем изучения динамики развития ландшафта в определенные периоды.

<sup>2</sup> Сведения об оз. Неро и о р. Векса получены от научного сотрудника кафедры физической географии и ландшафтоведения Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова В.А. Низовцева.

Нам кажется, что подобный археолого-географический критерий, при помощи которого ряд названий субстратного происхождения можно отнести к определенному (в данном случае, к мерянскому) языку, является пока единственно устойчивым и дающим точные результаты. Определение происхождения каких-либо топонимических компонентов лишь на основе их распространения является очень опасным на данном этапе исследования. Этот критерий может быть эффективно использован только тогда, когда на основе сравнения огромного количества топонимов широкой территории обитания финно-угорских народов (в наше время и в древности) будут определены ареалы данных компонентов. Результаты таких сравнений не могут считаться окончательными.

### ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ТОПОНИМИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ

Не имея возможности останавливаться на многочисленных этимологиях топонимов, приведенных в статье [Матвеев 1996: 13–], следует все же отметить, что часть из них является спорной. Предполагаемые автором [Матвеев 1996: 6–] мерянские топоформанты могут толковаться и несколько иначе. Некоторые из них рассмотрены или будут обсуждены в других наших работах.

А.К. Матвеев [Матвеев 1996: 6] насчитывает на территории исторических мерянских земель всего лишь чуть более тридцати названий населенных пунктов на *-бал*, *-бол*, *-пал*, *-пол*, *-пола*. Эта цифра берется из общезвестных материалов, но по итогам полевых исследований можно утверждать, что на центральной территории Мерянской земли компонент *-бол(V)*, *-бал(V)* и т.п. встречается намного чаще, например, в названиях урочищ, частей деревни или же в фамилиях, нередко имея и русскую суффиксацию. Первоначальный ойконимный характер данного компонента не вызывает сомнений, но с его возникновением связан ряд сложных вопросов.

На территории бывшей Мерянской земли мерянское происхождение компонента *-бол(V)*, *-бал(V)* кажется бесспорным. Проблематичным является то, что распространенность ойконимного суффикса отнюдь не ограничивается указанными А.К. Матвеевым [Матвеев 1996: 6] многочисленными северорусскими ойконимами, а может оказаться намного более широкой. Следует вспомнить ойконимы Петербургской области типа *Шибалово*, *Кемполово* или же упомянутые в книге Вотской пятины 1500 г. названия дровень *Калбола* и *Кимбола* [Попов 1981: 140], последнее из которых является параллельным названному автором [Матвеев 1996: 7] *Кимбала* близ озера Лача.

Настоящие *-бол*-компонентные топонимы не следует путать с ойконимами прибалтийско-финского типа на *-ла*, имеющими двуслоговую топонимическую основу на *-б(V)*, *-л(V)*. Вопрос о принадлежности ойконимов типа *Кишолово*, *Лемолово*, *Римолово*, *Раолово* к одному из этих рядов решается только путем этимологизации. Этимология многих подобных ойконимов прозрачна, и поэтому легко исключить из ряда *-бол* явные названия на *-ла*, как например, *Корбалово* от прибалтийско-финской основы со значением 'глухой лес, лесное болото и т.п.': ср., фин., кар. *korpi*, вепс. *kor'h*, и заимствованное говорами Русского Северо-Запада диалектное слово *корба* 'сырой сльник, чаща' (ср. [ЭСРЯ II: 322; Kalima 1919: 128; SSA 1: 405]).

Включение ойконима *Кимбола*, например, в ряд на *-бола* вместо *-ла* ясно на основе вероятного параллельного топонима *Кинобол* Владимирской области. (о чередовании *n ~ m* см. [Ahlqvist (в печати)].) Бывшее село Кинобол было расположено на речке *Кинга* или *Кинья*, кроме которой на территории обитания финно-угров существует множество других географических названий с *Кин(V)*-, имеющих другие суффиксы или детерминанты, что свидетельствует о наличии данной топоосновы. Особенно важным является топоним, в котором к данной основе прикреплен другой ойконимный суффикс *-ла*, а именно название древней волости, находящейся на территории современной Московской области, к востоку (северо- и юго-востоку) от города Загорска – *Кинела* (1462 г.), как убедительно свидетельствует ойконимия древних актов [Кинельский стан 1705; 1762; Смирнов 1929: 25, 41].

Следует заметить, что перечисленные топонимические основы [Матвеев 1996: 7] севернорусских названий на *-бал*, *-нал* отличаются от топооснов соответствующих названий Мерянской земли. Если бы они были даны одноязычным этносом, следовало бы ожидать какую-то долю повторных названий. В целом, топонимия центральной Мерянской земли указывает на большую общность с топоосновами ойконимов Белозерского края, нежели бассейнов северных рек.

Вероятно, недостаточность и отсутствие практического материала повлияли на сделанный А.К. Матвеевым [Матвеев 1996: 7] вывод относительно преобладания консонантных окончаний у мерянских названий. На самом деле, например, подсуздальское село *Кибол* [Матвеев 1996: 13] именуется его жителями *Киболо*, в такой форме оно упоминается также у А.И. Попова [Попов 1974: 14, 16]. Соответствующим образом подростовское село *Пужбол* именуется в некоторых близлежащих деревнях как *Пужболо*. О названии села *Деболовское* имеются сведения как в форме *Дебол*, так и в форме *Дебола* и по русской модели – *Деболы*. Однако русская суффиксация часто перекрывает возможность узнавания первоначального окончания данных ойконимов.

В этой связи следует обратить внимание на марийское *ѳмбал* 'верх, на'. Ср., например, название марийской деревни *Вончѳмбал* на берегу реки *Вонча* [Галкин 1991: 44] и его русский вариант *Вонжеполь*. Не исключено, что среди названных А.К. Матвеевым [Матвеев 1996: 7] северных топонимов на *-бал*, *-нал*, по крайней мере, в окончании четырехсложных названий, в частности, *Шурамбала*, можно видеть нечто вроде марийского *ѳмбал*. Ср. с ним название марийской деревни *Шура* [Галкин 1991: 144]. (К территории расселения мери относится также группа названий *Брембола* и *Бремболка*, об этимологии которых см. [Ahlqvist (в печати)].) Ср. также вышеназванные *Кимбола* и *Кимбала* с марийским названием конца деревни *Кѳмбал*, этимологизируемого И.С. Галкиным [Галкин 1991: 65] от мар. *кѳ* 'камень' и *ѳмбал* 'верх, поверхность'. Ср. еще мордовское *tombal* 'место по ту сторону, другая сторона' [MW: 2296].

Этимология компонента *-бол(V)*, *-бал(V)* остается пока нераскрытой. Распространенность данной ойконимной модели говорит в пользу более общего в древности типа наименования поселений. Наличие на бывшей Мерянской земле ойконимного суффикса *-ла*, принятого рассматривать как прибалтийско-финский, показывает, что взаимосвязь данных суффиксов следует пересмотреть.

Связывание происхождения гидронимов на *-бож*, *-ингирь*, *-кур* (*-кура*, *-курга*) именно с мерянами вызывает большое сомнение уже из-за их относительной редкости по сравнению со многими другими топонимическими типами субстратного происхождения на бывшей мерянской территории (ср. [Матвеев 1996: 6-]).

Связь компонентов *-бож*, *-баж(а)*, *-бош*, *-наж(а)*, *-наш* с семантикой коми апеллятива *вож* 'приток на верхнем течении' [UEW: 825] более вероятна, нежели с марийским *важ*, *вож*, имеющим конкретное обозначение 'корень' [UEW: 548], к которому А.К. Матвеев [Матвеев 1996: 7] склонен их отнести. В топонимии Мерянской земли имеются и другие, еще менее распространенные следы, раскрывающие, с точки зрения современных финно-угорских языков, связи с пермской группой, а именно речные названия на *-шор*, *-шур*. Ср. коми *шор* 'ручей' и удм. *шур* 'ручей, рска' [UEW: 499]. При этом следует помнить о контактах мери с Прикамьем (см. например, [Горюнова 1961: 129]).

Компонент *-бож* встречается, в какой-то степени, и за пределами указанных в публикации [Матвеев 1996: 7-8] территорий. Так, например, к Петербургской губернии относится река с названием *Паша*, имеющая приток под названием *Козопаша* [WRG II: 388]. В чистом апеллятивном виде гидроним *Паш*, *Паша* выступает также в Перми [WRG III: 595]. Речное название *Паж* встречается как в Средней России, так и в Олонцкой губернии [WRG III: 567]. Исследователь [Матвеев 1996: 15] подчеркивает, что классифицируемые им, как мерянские, названия на *-важ*, *-веж* распространены за пределами среднеустьянской территории и что они, хотя бы

частично, могут оказаться субсубстратом. Однородность всех приведенных [Матвеев 1996: 7–8] форм вроде *-еж*, *-маж*, *-меж* и др. пока не может считаться доказанной. В ряде случаев они вполне могут относиться к иной топонимической модели.

Сопоставимый с финно-волжскими соответствиями (ср., например, фин. *järvi*, вепс. *järv*, саам. *jav're*, морд. *er'ke*, (*j*)*är'kä*, в которых *-ke* является суффиксом уменьшительности, а также мар. *jär*, *jer*) географический термин, указывающий на первоначальную связь с озером, встречается в субстратной топонимии Средней России в некоторых отличающихся друг от друга как в фонетико-морфологическом отношении, так и в плане словообразования обликах.

Географический термин, обозначающий 'озеро', представлен на территории Ярославского края, как правило, в виде топоосновы или определения в ряде названий с *Яхр(V)-*, *Ягр(V)-*: д. *Яхробол*, оз. *Яхробольское*, пуст. *Яхрово* (1627–28 гг.) [Смирнов 1929: 89], (бывш.) с. *Ягреново*, рч. и гора *Яхрома/Яхрама* с метатезными формами *Яхорма/Яхарма*, как и оз. *Ягорба* с сел. *Ягорбино*.

А.К. Матвеев [Матвеев 1996: 6, 9–10] рассматривает названия на *-V + хрa* 'озеро' как мерянские. Однако, скопление озерных названий на *-хрa*, *-хро* сосредоточено, в основном, по среднему и нижнему течению Оки и по нижнему течению Клязьмы в речной пойме (см. [Смолицкая 1973: 247]), в топонимии же Ярославского края окончание *-хрa*, *-хро* встречается крайне редко. Примерами могут служить название озера *Шехрома ~ Шехромка ~ Шахросиха* [ОЯО: 159–160], и, вероятно, озера *Искробольское* (< \*Искра). Упрощенная основа *Хр(V)-* или метатезная *Хар(V)-* встречается в топонимах вроде названия пустоши *Хрово* [Смирнов 1929: 80] и покоса *Харило* [Смирнов 1929: 79].

На территории центральной мери не меньшую распространенность, чем названия с *Яхр(V)-*, *Ягр(V)-*, имеют названия с суффиксом *-ер(о)*, *-ор(о)*, обычно прикрепленным детерминантно-образно к топооснове с многочисленными вариациями. Они могут быть отнесены первоначально к названию озера, а впоследствии часто и к ойкониму. А.К. Матвеев [Матвеев 1996: 10] упоминает вариант топоформанта *-ер* только относительно среднеустьянского микрорегиона русского Севера. В то же время, например, на территории Ярославского края встречаются следующего типа названия: оз. *Неро* (см. этимологию [Ahlqvist (в печати)]), оз. (?) *Селр* (1562 г.) [Смирнов 1929: 69], а также ойконим *Кустерь*. Нередко они представлены с русской суффиксацией, вроде *Ховоры (Ховарь)*, *Инеры*, *Чучеры*, *Биберево*, *Нажеровка*.

Наряду с приведенными [Матвеев 1996: 8–9] объяснениями окончанию *-кур*, в основном, в названиях пойменных озер во Владимирской и восточных окраинах Московской областей, а также названиям озер *Кура* и *Куро*, следует учитывать и иное, соответствующее содержанию топонима объяснение, а именно возможность видоизменения топонимического суффикального компонента *-хрa* с обозначением 'озеро'. Среди озерных названий бассейна р. Клязьма на *-хрa*, *-хро* имеется, по Г.П. Смолицкой [Смолицкая 1973: 247], например, разновидность на *-гор*. К Ярославскому краю относятся сведения об ойконимах вроде *Вигорь*, *Сигорь (Большая и Малая)* *Шугорь ~ Шугарь*. Чередование *a ~ у* наблюдается и в ряде вариантов субстратных топонимов, а замена *х* на *к* – обычное явление в местных диалектах. (Ср. также названные метатезные формы *Яхорма* и *Ягорба*.)

А.К. Матвеев [Матвеев 1996: 18] предполагает наличие оппозиции топоформантов *-кур* и *-курга*. Костромские и ярославские названия с компонентом *-курга* могут быть объяснены на основе компонента *-кур* с прикрепленным к нему речным суффиксом *-(V)га*. Следовательно, они могут быть объяснены как 'озерные реки', имеющие чаще всего определение. Не следует при этом забывать о возможном гетерогенном происхождении внешне одинаковых топонимов. В основе происхождения северных названий может быть диалектная лексика. Для полной уверенности этот вопрос в каждом конкретном случае следовало бы изучать отдельно. Возможности полевого исследования при этом вряд ли можно переоценить.

Вероятно, бесспирантные формы на *-ep(o)*, *-op(o)* в топонимии бывшей мерянской территории можно рассматривать как упрощение компонента *лхр(V)*-, *лгр(V)*- (ср. [Матвеев 1996: 10]), но только в том случае, если удастся доказать отсутствие одновременных слоев по существу одного и того же компонента. На их существование, в свою очередь, могли бы указывать перекрываемость друг другом приведенных выше компонентов и отсутствие отдельных географических ареалов. Гидронимы на *-кур*, будучи связаны с данным географическим термином, могут быть древнее собственно мерянских названий. Однако последовательность разных видоизменений можно, хотя бы приблизительно, установить, используя методы географии.

За исключением суффиксального ойконимного компонента *-бол(V)*, *-бал(V)* и озерного суффикса *лхр(V)*-, *лгр(V)*- и *ep(o)*, *-op(o)* (при условии датирования вариантов) выделяемые А.К. Матвеевым [Матвеев 1996: 6–] как характерные мерянские, другие топонимические типы не являются убедительными. Их ареалы, в основном, выходят за рамки исторических мерянских земель и Русского Севера. Иногда они даже более густо представлены вне Мерянской земли. Как правило, они имеют слишком большую общность для выделения их как мерянских.

Даже если имеются определенные топонимические ареалы исторических мерянских земель и Русского Севера, это не может служить гарантией, чтобы отнести данные компоненты к мерянскому типу, не говоря уже об их меряничности. При выполнении указанных выше условий мерянский тип и, тем более, меряничность отдельных топонимических компонентов может быть доказана, но пока только на той территории, где, согласно известным фактам, проживало мерянское население. Иное можно было бы доказать только при полном совпадении ареалов ряда топонимических типов.

Особое внимание при выделении среднеустьянского микрорегиона как места поселения мигрантов из Волго-Окского междуречья уделяется А.К. Матвеевым [Матвеев 1996: 11] гидронимам на *-енгарь*, являющимся многочисленнее типов на *-бал(o)*, *-курга* и др. В решении вопроса о происхождении названий на *-енгарь*, выявляемых автором статьи у мерян и марийцев, он видит большое диагностирующее значение. Предложенным методом, то есть сравнением выбранных структурно-словообразовательных типов топонимов [Матвеев 1996: 11–12], вопрос о принадлежности среднеустьянских названий на *-енгарь* марийцам или мерянам не может быть решен. Заключение исследователя [Матвеев 1996: 11] о том, что на основе меряничности среднеустьянских названий на *-енгарь* "бытующие на территории ИМЗ /исторические мерянские земли/ названия на *-ингирь* придется признать мерянским субстратом, а не марийским адстратом", не обосновано.

Из современных финно-угорских языков только в марийском засвидетельствован географический термин *энгер*, *а́нгыр* '(маленькая) речка, ручей', хорошо представленный, как утверждает А.К. Матвеев [Матвеев 1996: 8], в марийской гидронимии, с которой топонимический компонент *-(V)нгарь* явно связан. Наличие данного термина в других (финно-угорских) языках нам не известно. Соответственно основы некоторых перечисленных [Матвеев 1996: 11] среднеустьянских названий на *-(V)нгарь* или их фонетико-морфологические формы имеют явную схожесть с марийской топонимией. Ср., напр., *Куберенгарь* и русское название марийской деревни *Куберсола* [Галкин 1991: 65]. На топонимию бывшей Мерянской земли они, как правило, не указывают.

На центральной территории поселения мери названия на *-(V)нгарь* практически отсутствуют. То, что топоформант *-ингирь* не встречается на территории Ярославской области, ни в коем случае не может быть объяснено плохим сохранением микрогидронимии, как это делает А.К. Матвеев [Матвеев 1996: 8]. Наоборот, предварительные результаты полевого сбора топонимических материалов показывают совсем иную тенденцию: сохранность названий мелких речек и ручьев, в целом, высокая, и большая часть названий проточных вод имеет субстратное происхождение. О жизнестойкости субстратных гидронимов говорят также Н.Д. Русинов [Русинов 1982: 26], утверждая, что из установленных свыше 250 малых рек Угличского Верхневолжья

75% имеют неславянские названия. Эту картину, однако, искажает указанная выше явная народная этимологизация части названий.

Отсутствие компонента *-(V)нгарь* в топонимии территории центральной мери навряд ли может быть следствием сильной диалектной дробности мерянского этноса, как предполагает А.К. Матвеев [Матвеев 1996: 8]. Однако нельзя исключать или утверждать и возможное наличие данного географического термина, например, в северных и восточных диалектах мерянского языка. Приведенные [Матвеев 1996: 18] в доказательство диалектной дробности мерянского языка диалектные различия отражают, в большей части, только фонетическую сторону топонимов. При этом влияние славянских мигрантов в разных частях мерянской земли не изучено в достаточной степени.

Несмотря на ожидаемые диалектные и языковые различия субстратная топонимия Средней России, в целом, демонстрирует повторяемость большого числа топонимических компонентов. Уже типичность для всей мерянской территории компонента *Векса* – вероятного первоначального географического термина с одной и той же формой и семантикой – является одним из доказательств достаточно большой языковой общности так называемой центральной и костромской мери.

Вышесказанное позволяет задать вопрос: на каком основании делаются попытки связать гидронимы на *-енгарь* с мерянским языком, а не, например, с языком древних марийцев, часть которых жила когда-то намного западнее своих теперешних территорий? Точка зрения А.И. Попова [Попов 1974: 24–25], относившего данный компонент к позднему марийскому наслоению, кажется более обоснованной, уже исходя из его восточной, неярославской распространенности.

#### СЛОЖНОСТИ В РЕШЕНИИ МЕРЯНСКОЙ ПРОБЛЕМЫ

А.К. Матвеев убежден в ключевой роли топонимии среднеустьянской территории для решения мерянской проблемы. Данный микрорегион представляет, по его мнению, "наибольший интерес как зона возможного распространения мерянской топонимии" [Матвеев 1996: 11]. Автор статьи [Матвеев 1996: 22] считает, что меряничность топонимов с формантами *-бал*, *-бол* и *-курга* лучше всего доказывается не столько их связью с территорией ИМЗ /исторические мерянские земли/, сколько небольшим среднеустьянским регионом. В связи с этим он приводит сравнительно мало параллельных географических названий собственно Мерянской территории.

Мы придерживаемся того мнения, что решение мерянской проблемы навряд ли может заключаться в изучении топонимии южной части Архангельской области при недостаточной степени собранности и изученности топонимии самой мерянской территории, тем более при отсутствии достоверных сведений о массовом переселении туда именно мерян или их потомков. Предполагаемое [Матвеев 1996: 12–14] существование переносных (параллельных) названий в топонимии Средней Устья не только с ростовской территории, но и со сравнительно отдаленной от него суздальской, уменьшает вероятность подобного явления. Трудно доказать, что часть населения обеих территорий мигрировала именно в данный далекий небольшой регион.

Решение о меряничности определенных лексических компонентов на основе топонимии внемерянской территории является весьма сомнительным. Сделанный А.К. Матвеевым [Матвеев 1996: 11–12] вывод о мерянском происхождении топонимии среднеустьянской территории не может быть подтвержден уже из-за неубедительности выделения мерянского слоя топонимии из субстрата. Кроме того, выборочное сопоставление материалов и использование неокончательных или неправильных выводов о происхождении рассматриваемых топонимических компонентов должно привести к необоснованным выводам. Согласно имеющимся сведениям, при реконструкции мерянского языка среднеустьянская топонимия не может быть использована (ср. [Матвеев 1997: 46]).

Нетипичность приведенных А.К. Матвеевым [Матвеев 1996: 12] топонимических компонентов исторических мерянских земель (только *-бал*, *-бол* и *-ехра* являются типичными, а *-бож*, *-ингирь* и *-кур(а)*, *-курга* можно считать редкими), а также их распространенность на внемерянских (и вне среднеустьянских) территориях делают меряничность уже большинства из них надуманной. Следовательно, подтверждение меряничности происхождения приводимых среднеустьянских топонимов опирается на слишком слабую почву. Немногочисленные топонимические параллели Мерянской земли с южной частью Архангельской области не могут быть заменены свидетельствами марийского языка. Таким способом мерянское происхождение топонимов не может быть доказанным.

Связи приведенной А.К. Матвеевым [Матвеев 1996: 13–] среднеустьянской топонимии направлены как на фонетическом, так и на лексическом уровне, главным образом, в марийскую сторону. Многие из этих топонимов проще всего объясняются на основе марийского языка, как это, собственно говоря, и делает автор статьи. С большей вероятностью можно было бы предполагать существование марийско-подобного по языку населения на исследуемой им территории. Примечательно, что и в древнем пласте топонимии Русского Севера Матвеевым [Матвеев 1996: 20] выделяется марийское начало.

Рассмотренная в статье [Матвеев 1996: 13] среднеустьянская параллель суздальскому ойкониму *Кибол*, а именно *Кубал(о)*, естественным образом объясняется именно на марийско-подобной почве. Марийское *у*, как правило, заменяется в русском языке на *у*. Ср., марийская форма вышеупомянутого *Куберсола*, а именно *Күверсола* или же название марийской деревни *Куверба* Нижегородской области, звучащее по-марийски *Күвервуй* [Галкин 1991: 65].

Судя по микротопонимии, слово, обозначающее 'камень', звучало в мерянском, скорее всего, ближе к мордовским или даже прибалтийско-финским языкам, чем к марийскому языку. Ср., например, основу зафиксированного нами названия оврага в Переславском районе *Киврицкий овраг*, характеризующийся действительно каменным дном, и фин., кар., вепс., эст. *kivi* 'камень', лив. *ki'uv*, *ki'v*, *ki'u* 'камень; жернов', морд. *kev*, *käv* 'камень; (мн. ч.) жернов' [SSA 1: 378]. О марийско-подобной лабиализации – ср. мар. *kü*, *küj* 'камень' [SSA 1: 378] – топонимия бывшей мерянской территории не свидетельствует. Последовательно топонимия Мерянской земли приходит к данной топооснове с передним гласным *и*, а не с задним *у*.

Если предположить переход мерянского \**i* в *й*, как это делает А.К. Матвеев [Матвеев 1996: 14], останется непонятным отсутствие влияния данного обстоятельства на фонетический облик топонимии Мерянской земли, так как существуют формы *Кибол* и *Кибож*, а не *Кубал(о)* и *Кубаж*, хотя мерянский язык должен был быть в силе еще до предполагаемой автором статьи миграции. На этом основании делается [Матвеев 1996: 14] важный вывод о том, что "мерянские названия СУ /Средняя Устья/ принадлежат либо какому-то своеобразному древнемарийскому наречию, либо, и это вероятнее, языку, находящемуся в близком родстве с марийским". Возникают вопросы: стоит ли на этом основании вообще говорить о мерянских названиях? Не слишком ли рано говорить об "устьянских мерянах"?

Субстрат ростовско-суздальских территорий позволяет нам связать его с современным марийским языком, видимо, в меньшей степени, чем с некоторыми другими финско-волжскими языками. Определенный А.К. Матвеевым [Матвеев 1996: 16] мерянский язык как близкий к современному марийскому не может на основе сведений топонимии восходить, по крайней мере, к центральной территории мери.

Естественно, следует учитывать мощное тюркское влияние на современный марийский язык. То, что о языке древних марийцев нам по существу мало известно, не позволяет строить исследование на возможном наличии каких-то явлений в каком-то языке. Даже определенный факт, имеющийся в марийском языке, без свидетельств субстрата Мерянской земли не доказывает его меряничности, тем более, что на известной в настоящее время бывшей мерянской территории мы пока не располагаем

достаточно убедительными доказательствами в пользу существования близкой к марийцам группы мери, которая, однако, вполне могла заселять, например, часть Костромского края.

Опасной является идентификация вымершего языка на основе каких-либо единичных его фрагментов. Ключевая роль, данная А.К. Матвеевым [Матвеев 1996: 11] названиям на *-енгарь*, для языковой идентификации мерянской топонимии на территории исторических мерянских земель кажется несправедливой. На основе лишь топорформанта *-ингирь* и гидронимов *Ингирь* признание большой близости мерянского языка к марийскому [Матвеев 1996: 8, 12] будет иметь неустойчивую почву. Сущность языка не может быть раскрыта на такой узкой основе. Поиск места мерянского языка в финно-угорском мире не может опираться на случайности, а требует учета несравненно большего количества топонимических и диалектологических фактов.

При выявлении особой близости мерянского языка к марийским А.К. Матвеев [Матвеев 1996: 17] поднимает вопрос о связи этнонимов *меря* и *мари*. Решение этимологии этнонима *меря* нами предлагается с новой точки зрения (см. [Ahlqvist (в печати)]); относительно названий на *-мар(ь)* см. [Ahlqvist 1993]. Названия *Мерьское болото* и *Мерьков ручей*, приведенные Матвеевым [Матвеев 1996: 20], на основе наших исследований необязательно следует рассматривать как этнотопонимы (ср. [Ahlqvist (в печати)]). До установления четких границ расселения народности к подобным данным следует относиться с большой осторожностью (ср. [Матвеев 1997: 46]).

Приводя возможные переносные названия для подтверждения предполагаемых миграционных потоков с одной (финно-угорской) территории на другую, не следует забывать о достаточно большой повторяемости топонимических компонентов в целом. Часть древней субстратной топонимии имеет очень широкое распространение на севере Евразии. Данный пласт топонимии может условно быть назван, например, "древнефинским". Используемый в публикации [Матвеев 1996: 20–21] термин "северофинский" ограничен территориально, хотя именно временной аспект важнее в содержании определения. При условии более полного выделения в "древнефинской" топонимии отдельных пластов названия следует уточнить.

Рассматривая вероятное наличие в Средней Устье более древней топонимии, чем предполагаемая им мерянская, А.К. Матвеев [Матвеев 1996: 14–15] видит возможным подселение "устьянских мерян" к родственному им, более древнему населению. Подобное переселение является более чем вероятным, но слишком рискованно говорить в этой связи именно о мерянах, в то время как приведенные там же доказательства больше указывают на марийцев.

Исходя из достаточно широкого распространения основ таких топонимов как *Кадьевская*, *Устья* или даже *Которосль*<sup>3</sup>, необязательно судить о них, как о переносных названиях с мерянской территории. Сравнительно простые по своей структуре названия типа *Кадьевская* или *Устья* не могут служить в этом случае очень вескими доказательствами. Ойконимы же *Ростов*, *Ростово*, *Ростовка* и т.д. распространены не только в средних или северных частях России, но и достаточно широко на территории расселения славян (см. [RGN VII: 658]). Поэтому наличием названия села *Ростово* в Устьянском районе трудно доказывать миграцию жителей из Ростовского края Ярославщины. (Ср. [Матвеев 1996: 12].)

Скопление же некоторых топонимов в определенных местах может быть показательным, но только в том случае, если действительно речь идет о крайне редко встречающихся названиях. Для выводов потребуются весьма критическое отношение, включая ответы на вопросы о происхождении топонима и времени его переноса. Так, А.К. Матвеев [Матвеев 1996: 12] считает возможным отнести среднеустьянский

<sup>3</sup> А.К. Матвеев [1996: 12] упоминает, что у ростовского гидронима *Которосль* в XIX в. был записан вариант *Которость*. Следует подчеркнуть, что формы *Которость* и *Которось* до сих пор активно используются в языке местного населения.

гидроним *Которас* именно к мерянским, переносным. Нам кажется, что, по крайней мере, основа данного названия принадлежит, скорее всего, домерянскому субстратному слою. На это указывает не только сравнительно широкое распространение топоосновы *Кот(V)-*, связанной иногда, как мы предполагаем, с приведенным выше озерным суффиксом *-ор(о)*, ср., *Которское ~ Каторское ~ Котарское* – оз., СПб. г. [WRG II: 485], *Катрома* – р., вытекающая из оз. *Катромское*, Вол. г. [WRG II: 291], но и, прежде всего, вероятное распространение озера Неро до самой реки Которосль еще в сравнительно недавнее время, как говорилось выше. Мы считаем, что речное название *Которосль* содержит указанный выше озерный суффикс *-ор(о)*, возникнув от лимнонима вроде *\*Которо* в то время, когда река еще была непосредственно связана с озером. На основе географических данных можно предположить, что это произошло еще в домерянское время. Следовательно, жители Костромской деревни *Которово* рассуждают о наличии в древности большого водного пространства возле своего населенного пункта, что кажется вполне приемлемым на основе ландшафтных данных местности.

Вполне вероятно, что часть топонимических компонентов могла использоваться на протяжении длительного времени различными народностями финно-угорского происхождения. Хотя какую-то часть их можно обоснованно отнести к тому или иному времени и народу, судить о том, что такая широко распространенная топонимическая модель, как гидронимия на *-V(za)*, даже на ограниченной территории обязательно относится к определенному времени или этносу – слишком прямолинейный подход (ср. [Матвеев 1996:14]). Одноязычность топоосновы с одним и тем же суффиксальным компонентом не должна приниматься как бесспорный факт.

На основе топонимии Мерянской земли не вызывает доверия предположение А.К. Матвеева [Матвеев 1996: 15] о характерности мерянских элементов, главным образом, для гидронимии и нетипичности их для микротопонимии, что автор статьи объясняет, исходя из особенностей хозяйства мерян, аргументируя это тем, что охотникам и рыболовам, в первую очередь, нужно было называть водные объекты, по которым проходили их основные маршруты. Само собой разумеется, что охотникам и рыболовам необходима точная ориентировка и в лесах, болотах. В наше время это можно заметить по их особо хорошим и подробным сведениям о микротопонимии округа. Согласно нашим замечаниям, неславянский слой языка может с большей вероятностью быть определен как мерянский, в первую очередь, в микротопонимии Мерянской земли, нежели в гидронимии, более постоянной по существу.

Не обладая специальными знаниями, не станем дальше обсуждать вопрос о возможности миграции (пост)мерянского населения на территорию среднего течения Устья Архангельской области. Приведенные А.К. Матвеевым топонимические сравнения нас в этом еще не убедили. Археологическое исследование северных селений на *-бол(V)*, *-бал(V)* – типа *Кубал(о)*, *Обало* и *Сорбало*, которые Матвеев [Матвеев 1996: 15] называет мерянскими поселениями, могло бы достаточно уверенно доказать их принадлежность к определенной культуре или культурам, при этом не забывая о северо-западных селениях с *-бол(V)*, *-бал(V)*.

Вместе с тем, А.К. Матвеев [Матвеев 1996: 16] упоминает еще об одном очень интересном факте: о наличии пяти названий *Синий камень* на территории Средней Устья. Согласно нашим исследованиям [Ahlqvist 1995], "синие камни" имеют широкое распространение именно на территории летописной мери: в южной части Ярославской области и сопредельных регионах. "Синие камни", по нашим сведениям, имеются единично и в иных районах. Однако на других среднероссийских территориях подобного скопления "синих камней" не обнаружено, но не следует забывать, что при более тщательном изучении эта картина может несколько измениться. Так, например, в 1997 г. нами выявлен "Синий камень" под Костромой и в северной части Рязанской области.

Другое крайне интересное явление, отражающее духовную культуру и поверия жителей бывшей центральной территории обитания мери, – так называемые мирские камни, часть которых имеет углубления на своей поверхности (см. [Ahlqvist 1996]).

Важно выявить возможное наличие подобных камней и на территории Русского Севера.

Отсутствие полукалек в топонимии Волго-Окского междуречья может, по мнению А.К. Матвеева [Матвеев 1996: 10], указывать на недолгое двуязычие. Нам кажется, что мерянский язык сохранялся намного дольше, чем предполагают материалы археологических исследований. Подобным образом материальная культура и духовные традиции населения, в частности, современной мордовской деревни почти полностью русско-православные, хотя язык, несмотря на сильное русское влияние, все же мордовский – эрзянский или мокшанский. На мерянской территории вероятным кажется длительное сожитительство местного и пришлого населения в отдельных селениях, о чем можно судить на основе ойконимии.

Хотя в наше время первой необходимостью является интенсивный сбор материалов, он, однако, будет лучшим образом осуществлен только в тесной связи с теоретическим исследованием. Понятно, что самые точные, раскрывающие суть проблемы вопросы в каждом конкретном случае могут быть заданы только на базе достаточно полных предварительных знаний о деле. Все же с выводами не следует спешить: выявление характерных черт, этимологизация топонимических компонентов финно-угорской субстратной топонимии Средней России только в начале своего пути. При достаточной степени изученности неизбежно будут получены ответы и на вопросы, связанные с возрастом различных топонимических компонентов, с выделением, хотя бы в некоторой степени, пластов субстратного и субсубстратных языков.

Мерянская проблема постоянно интересует языковедов и археологов, но хотелось бы вызвать интерес к ней также у современных этнографов, фольклористов, ученых, занимающихся вопросами религии. В последнее время появились совершенно новые возможности исследования генетики населения у антропологов. Все это, как нельзя лучше, способствовало бы более всестороннему изучению следов древних жителей Мерянской земли. В любом случае нельзя не согласиться с А.К. Матвеевым [Матвеев 1996: 21] в том, что перед мерянистикой открыты привлекательные перспективы.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Альквист Арья 1995 – Синие камни. каменные бабы. JSFOu, 86. Helsinki, 1995.
- Альквист Арья 1996 – Загадочные камни Ярославского края // Congressus Octavus Internationalis Fenno-Ugriarum, Jyväskylä 10.–15.8.1995. Pars VII. Literatura. Archaeologia & Anthropologia. Redegerunt Heikki Leskinen, Risto Raittila, Tonu Seilenthal, Jyväskylä, 1996.
- Галкин И.С. 1991 – Кто и почему так назвал: Рассказы о географических названиях марийского края. Йошкар-Ола, 1991.
- Горюнова Е.И. 1961 – Этническая история Волго-Окского междуречья // МИА. № 94. М., 1961.
- Кинельский стан 1705 – РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 7653. Л. 511 об. –597. 1705 г. Переписная книга Переславль-Залесского уезда. Кинельский стан.
- Кинельский стан 1762 – РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 2591. Л. 1–24. 1762 г. Кинельский стан Переславль-Залесского уезда.
- Леонтьев А.Е. 1996 – Археология мери: К предыстории Северо-Восточной Руси // Археология эпохи великого переселения народов и раннего средневековья. Вып. 4. М., 1996.
- Матвеев А.К. 1996 – Субстратная топонимия Русского Севера и мерянская проблема // ВЯ. 1996. № 1, 3–23.
- Матвеев А.К. 1997 – Мерянская проблема и пути ее решения // Традиционная культура финно-угров и соседних народов: Проблемы комплексного изучения. Международный симпозиум, г. Петрозаводск, 9–12 февраля 1997 г. Тезисы докладов. Петрозаводск. 1997.
- ОЮ – Озера Ярославской области и перспективы их хозяйственного использования / Отв. ред. В.Л. Рохмистров. Ярославль, 1970.
- Попов А.И. 1974 – Топонимика древних мерянских и муромских областей // Географическая среда и географические названия. (Сборник статей.) Л., 1974.
- Попов А.И. 1981 – Следы времен минувших: Из истории географических названий Ленинградской, Псковской и Новгородской областей. Л., 1981.
- Русинов Н.Д. 1982 – Названия малых рек Угличского Верхневолжья // Топонимия Северо-запада СССР и проблемы ее изучения в высшей и средней школе. (Тезисы докладов и сообщений). Череповец, 1982.

- Смирнов М.И.* 1929 – Историко-географическая (хореографическая) номенклатура Переславль-Залесского края. (Материалы для ее изучения). // Труды Переславль-Залесского Историко-Художественного и Краеведного Музея. XI вып. Переславль-Залесский, 1929.
- Смолицкая Г.П.* 1973 – Субстратная гидронимия бассейна р. Ока // Ономастика Поволжья. 3. Материалы III конференции по ономастике Поволжья. Уфа, 1973.
- СПАЯ* – Список памятников археологии Ярославской области. Приложение к решению Малого Совета Ярославского Совета народных депутатов № 99 от 29.04.93. Министерство культуры РСФСР. Управление культуры Ярославского облисполкома. Инспекция по охране памятников истории и культуры. /Хранится в Комитете по охране памятников истории и культуры. Ярославль./
- Ткаченко О.Б.* 1985 – Мерянский язык. Киев, 1985.
- ЭСРЯ* – Фасмер, Макс. Этимологический словарь русского языка. Перевод с немецкого и дополнения О.Н. Трубачева. Т. I–IV. М., 1964–1973.
- ЯО* – Ярославская область. Административно-территориальное деление (на 1 января 1986 года). Справочник. Ярославль, 1986.
- Ahqvist Arja* 1993 – *Ihmar' ja Kuhmar'* // MSFOu 215. Festschrift für Raija Bartens zum 25.10.1993. Helsinki, 1993.
- Ahqvist Arja* (в печати) – Merjalaiset – suurten järvien kansaa. /Выходит Helsinki, 1997./
- Ahqvist Arja* 1997 – The ethnonym *Muroma* // Die Vorträge des Symposiums "Finnisch-ugrische Sprachen in Kontakt" (Groningen, 21.–23. November 1996). /Выходит Maastricht, 1997./
- Europaeus D.E.D.* 1868 – Tietoja suomalais-ungarilaisten kansain muinaisista olopaikoista // Suomi, II jakso, 7 osa. Helsinki, 1868.
- Kalima J.* 1919 – Die Ostseefinnischen Lehnwörter im Russischen / MSFOu, XLIV. Helsinki, 1919.
- MW* – H. Paasonens Mordwinisches Wörterbuch. Bearbeitet und herausgegeben von Martti Kahla. I–IV. Lexica Societatis Fenno-Ugricae. XXIII. 4. Helsinki, 1990–1996.
- RGN* – Russisches Geographisches Namenbuch. Begründet von Max Vasmer. Herausgegeben von (Max Vasmer und) Herbert Brüauer. Bd. I–XI. Wiesbaden, 1964–1988.
- SSA* – Suomen sanojen alkuperä. Etymologinen sanakirja. 1. Erkki Itkonen, Ulla-Maija Kulonen. 2. – Ulla-Maija Kulonen. Helsinki, 1992–.
- UEW* – Uralisches Etymologisches Wörterbuch. Károly Rédei. Unter Mitarbeit von Marianne Bakró-Nagy, Sándor Csúcs, István Erdélyi, László Honti, Éva Korenchy, Éva K. Sal und Edit Vértes. Bd. I–II. (Bd. III: Register. Zusammengestellt von Attila Dobó und Éva Fancsaly). Budapest, 1986–1991.
- Vasmer Max* 1935 – Beiträge zur historischen Völkerkunde Osteuropas. III. Merja und Tscheremissen // Schriften zur slavischen Altertumskunde und Namenkunde. Herausgegeben von Herbert Brüauer. Bd. I. Berlin, 1971. /Переиздание с 1935 г./
- WRG* – Wörterbuch der russischen Gewässernamen. (Zusammengestellt unter Leitung) von Max Vasmer. Bd. I–V, Nachtrag. Berlin (–Wiesbaden), 1961–1973.

© 1997 г. Д.О. ДОБРОВОЛЬСКИЙ

## НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА ВО ФРАЗЕОЛОГИИ (I)

### 1. КАТЕГОРИЯ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СПЕЦИФИКИ: РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ ФИКЦИЯ?

Тема национально-культурной специфики является достаточно традиционной для исследований в области фразеологии. На протяжении многих лет в работах по фразеологии (в особенности, если они выполнялись в рамках традиционного языкознания) утверждалось, что идиомы представляют собой национально-специфические единицы языка, аккумулирующие культурный потенциал народа. Ср. характерное утверждение А.М. Бабкина, что идиоматика – это "святая святых национального языка", в которой неповторимым образом манифестируется дух и своеобразие нации [Бабкин 1979: 7].

Априорное закрепление за фразеологией того или иного языка национально-специфических черт оказывается при внимательном рассмотрении отнюдь не бесспорным. Против него могут быть выдвинуты возражения как интуитивного, так и теоретического характера. С интуитивной точки зрения не вполне ясно, почему мы должны усматривать некую национальную или культурную специфичность в таких идиомах, как *лезть на стену*, *качать права*, *не моргнуть глазом*. С теоретической точки зрения затруднительным и нецелесообразным представляется включение в инструментарий научного описания понятий, не имеющих операциональных определений. Этим объясняется отказ от использования понятия национально-культурной специфики лексисом (как отдельных слов, так и фразеологизмов) в работах, претендующих на относительную строгость.

Справедливости ради заметим, что в лингвистике используется довольно много нестрогих понятий, так что сказанное относится не только к обсуждаемой здесь проблеме. По-видимому, специфика этой области знаний не позволяет достичь во всем формальной строгости, отвечающей естественнонаучным канонам, однако полный отказ от попыток операционализации используемых понятий переводит соответствующие тексты из сферы науки в сферу эссеистики. Это становится особенно очевидным при обращении к категориям типа национально-культурной специфики языковых выражений.

В наделении всей идиоматики национально-специфическими чертами сказалось произвольное смещение различных аспектов рассмотрения языка. Большинство идиом, как и других образно-метафорических единиц лексикона, относительно редко обладают абсолютными эквивалентами в других языках, что объясняется не столько их национально-культурным своеобразием, сколько несовпадением техники вторичной номинации. Следствием такого несовпадения оказываются либо различия в образной составляющей плана содержания близких по значению идиом, либо несовпадения актуального значения при близости внутренней формы. Так, значение немецкой идиомы *das kannst du vergessen* (букв. "можешь забыть об этом"), выражающей скепсис говорящего по поводу предположения, высказанного партнером по коммуникации, наиболее удачно

передается на русский язык идиомой *дохлый номер*, которая, несомненно, отличается по образной составляющей.

С другой стороны, столь близкие и по внутренней форме и по компонентному составу идиомы, как русское *поставить на карту что-л.* и немецкое *etw. aufs Spiel setzen* (букв. "поставить на кон что-л.") неидентичны по своему актуальному значению. Анализ особенностей употребления этих идиом показывает, что русская идиома может употребляться только в контекстах, в которых речь идет не просто о риске, а о риске с надеждой на определенный выигрыш (ср. сходные наблюдения в [Костева 1996: 11]). Значение немецкой идиомы не содержит этого признака, поэтому данные выражения эквивалентны лишь в контекстах нейтрализации. По этой причине, в частности, нельзя использовать идиому *поставить на карту* при переводе следующего немецкого предложения: *Reitungschwimmer setzen ständig ihr Leben aufs Spiel*. В качестве приемлемого перевода можно предложить нечто вроде *Работники спасательной станции постоянно подвергают свою жизнь опасности*.

Подобные примеры могут быть найдены и при сопоставлении русского языка с английским. Идиомы *пускать пыль в глаза кому-л.* и *throw dust into someones's eyes*, абсолютно идентичные по образной составляющей, обнаруживают тем не менее существенные различия в значении. Английская идиома толкуется в [Longman DEI] как 'to confuse (someone) or take his attention away from something that one does not wish him to see or know about' ('сбивать с толку кого-л., отвлекать внимание кого-л. от чего-л., чего он, по мнению субъекта, не должен видеть или знать'), в то время как русская идиома означает нечто вроде 'с помощью эффектных поступков или речей пытаться представить кому-л. себя или свое положение лучше, чем они есть в действительности' [КРАФС].

Межязыковые различия такого рода, однако, никоим образом не связаны со спецификой национальной культуры. Анализ подобных примеров вообще заставляет предположить, что различия во фразеологии разных языков могут быть описаны в чисто семантических терминах без обращения к понятию национально-культурной специфики. Однако встречаются и такие случаи, в которых семантические объяснения оказываются недостаточными для осмысления определенных ограничений на употребление фразеологизмов. Так, в переводах художественной литературы одни идиомы оказываются уместными, а другие – нет. Например, попытку перевести немецкую идиому *jmdm zeigen, was eine Harke ist* (букв. "показать кому-л., что такое грабли") с помощью русской идиомы *показать кузькину мать кому-л.* следует признать явно неудачной. С семантической точки зрения именно идиома *показать кузькину мать* должна рассматриваться как наиболее полный эквивалент данной немецкой идиомы, поскольку в значении и той и другой идиомы (в отличие от квазисинонимических единиц) присутствует идея выяснения статусных отношений между участниками ситуации (ср. подробнее [Добровольский 1996: 81]). Однако, хотя эта идиома и предлагается в качестве эквивалента в [НРФС], она, насколько нам известно, никогда не используется в переводах немецких текстов, содержащих идиому *jmdm zeigen, was eine Harke ist*. Ср. приводимые в [НРФС] в качестве примеров контексты из произведений Б. Брехта, Э. Штриттматтера и Х.Х. Кирста. Этот факт можно рассматривать как доказательство наличия ограничений, не связанных с собственно семантическими параметрами [ср. характерный контекст (1)].

(1) "Но мы, говорит, вскорости прикончим весь этот обман народного зренья под видом войны. Поэтому, говорит, нам вполне известно, что теперь надо всеми министрами состоит при царе свой мужик под именем Григорий Ефимыч, и он им всем кузькину мать покажет." (Евг. Замятин. Слово предоставляется товарищу Чурыгину).

Наличие таких ограничений позволяет предположить, что план содержания ряда фразеологизмов (в первую очередь, по-видимому, идиом и пословиц) включает некоторый особый компонент, который несколько условно может быть назван национально-культурным.

Для того, чтобы выяснить природу национально-культурного компонента во фразеологии, следует прежде всего договориться о том, что считать национально-культурной спецификой. Можно представить себе два крайних взгляда на эту проблему. Согласно первому, национально-культурный компонент усматривается только в значении так называемых слов-реалий типа *самовар, лапти, щи* и соответственно в идиомах *и мы не лаптем щи хлебаем, ездить в Тулу со своим самоваром* и т.п. Если принять эту точку зрения, национально окрашенные идиомы следует рассматривать как явление весьма маргинальное. Чисто интуитивно такое сужение предметной области представляется неоправданным, так как можно найти примеры релевантных ограничений на употребление фразеологизмов, не содержащих слова-реалий (ср. обсуждаемый выше пример идиомы *показать кузькину мать*).

Прямо противоположной позицией было бы включение максимально широкого круга языковых явлений в понятие национальной культуры. Подобная точка зрения восходит к идеям В. Гумбольдта о внутренней форме языка и воплощении в языке "духа нации" и получила свое наиболее последовательное развитие в неогумбольдтианской традиции. Несколько упрощенно суть соответствующей аргументации может быть представлена следующим образом. "Духовное присвоение действительности" происходит под воздействием родного языка, так как мы можем помыслить о мире только в выражениях этого языка, пользуясь его концептуальной сетью, то есть оставаясь в своем "языковом круге". Следовательно, разные языковые сообщества, пользуясь разными инструментами концептообразования, формируют различные картины мира, являющиеся по сути основанием национальных культур (см. например [Weisgerber 1962]).

Применительно к анализу фразеологии близкие позиции представлены в работах В.Н. Телия. "Культурно-национальная специфика идиом" усматривается в возможности интерпретировать их значение в категориях культуры, которая со ссылкой на Н.А. Бердяева [Бердяев 1990: 26] признается национальной по сути. Поскольку для идиом характерна образная мотивированность, "которая напрямую связана с мировидением народа-носителя языка", идиомы в принципе обладают культурно-национальной коннотацией [Телия 1996: 214–215]. Все, что интерпретируемо в терминах ценностных установок, "прескрипций народной мудрости", "мировидения и миропонимания народа", признается релевантным в аспекте национальной культуры. Таким образом, культурно специфическими оказываются идиомы *плевать в потолок, считать ворон, валять дурака* и т.п., так как в них выражается "стереотипная для русского самосознания установка: 'недостойно человека заниматься (тем более – активно) заведомо пустопорожними, нерезультативными делами'" [Там же: 257]. Сходным образом идиомы типа *лежать на печи* и *сидеть сложа руки* интерпретируются с позиций установок "практической философии", согласно которым пассивное бездействие подлежит осуждению [Там же: 257–258].

Хотя наличие подобных ценностных установок в русской культуре не вызывает сомнений, остается неясным, насколько правомерно считать эти идиомы национально специфическими, так как и в других национальных культурах безделье, насколько нам известно, осуждается<sup>1</sup>. Открытым остается также вопрос, означает ли предлагаемая интерпретация, что и слова типа *бездельничать, воровать, врать, лицемерить* являются национально специфическими. Хотя в [Телия 1996] это эксплицитно не утверждается, можно предположить, что в рамках представленной там концепции на этот вопрос должен быть дан положительный ответ: ведь все эти слова (так же, как и соответствующие идиомы) интерпретируемы в терминах ценностных установок.

Подобный подход, ставший в последнее время достаточно модным, возможно, и оправдан с точки зрения некоторого лингвофилософского дискурса, но, на наш взгляд,

<sup>1</sup> Если уж говорить о "специфически русских" воззрениях на эту концептуальную область, то следовало бы отметить скорее традиционно приписываемую русскому национальному сознанию терпимость по отношению к безделью и бездельникам, ср. многочисленные фольклорные свидетельства в пользу "лежания на печи" (в противовес суетливой активности).

мало способствует решению собственно лингвистических задач, то есть описанию и объяснению особенностей употребления единиц языка. Кроме того, к такому подходу могут быть предъявлены те же претензии, что и к традиционной фразеологии, так как и он не предлагает операциональных критериев выделения обсуждаемого свойства.

Чтобы избежать подобных проблем, не возвращаясь к редукционистской концепции, ограничивающей круг национально-культурно специфических явлений в языке названиями предметов, выставляемых обычно в качестве экспонатов в музеях народного быта, целесообразно выделить два принципиально различных понимания национальной специфики. В первом случае национально-культурная специфика некоторого явления данного языка определяется относительно некоторого другого языка. Такой подход может быть назван сравнительным. Во втором случае речь идет о представлениях носителей языка о национальной маркированности тех или иных единиц своего языка вне сопоставления с другими языками. Такой подход может быть с известной долей условности назван интроспективным.

При сравнительном подходе специфичными признаются все факты языка  $L_1$  относительно языка  $L_2$ , которые представляются нетривиальными с точки зрения традиционной народной культуры из перспективы языка  $L_2$  (и соответствующей культуры). При этом нас не интересует то обстоятельство, что многие из выделяемых в качестве специфических фактов могут иметь место и в других языках (культурах).

Важно сразу оговорить, что не все межъязыковые различия оказываются культурно значимыми. Ниже мы остановимся на этом несколько подробнее, сейчас следует лишь указать на принципиальную возможность выделения в кругу межъязыковых различий тех из них, которые являются неслучайными, с одной стороны, и имеют культурно обусловленные причины и/или культурно значимые следствия – с другой. Определенная традиция в этой области заложена работами А. Вержбицкой, в особенности [Wierzbicka 1992]. Заметим, что дискуссия о содержании понятия культуры не входит в задачи данной работы. Для определения культурной значимости языкового факта здесь предлагаются чисто эвристические критерии: если наличие данного факта имеет некоторые следствия для осмысления других знаковых систем, стандартно относимых к традиционной народной культуре (ср., например, [Никитина 1993]), или же если он воспринимается как обусловленный функционированием подобных знаковых систем, этот факт языка признается культурно релевантным. Иными словами, в качестве культурно значимых здесь рассматриваются только те явления, которые имеют соответствия в нескольких культурных кодах. Данные эвристики предлагаются для сравнительного подхода, поскольку для определения культурной значимости языковых явлений в рамках интроспективного подхода могут оказаться важными другие критерии.

Интроспективный подход основан на представлении о наличии "имманентных" национально-культурных характеристик безотносительно к специфике других языков и культур. Исследовательские эвристики этого типа апеллируют скорее к психолингвистическим методам. Задача исследования формулируется как поиск ответа на вопрос, в чем состоит национальная специфика языка  $L_1$  глазами его носителей. Наиболее адекватными исследовательскими приемами в этом случае представляются опрос информантов и различные тесты, направленные на выяснение отношения носителей языка к соответствующим лингвистическим фактам. Так, например, сигналом наличия "имманентной" национальной специфики может быть мнение о неуместности данного высказывания в устах иностранца. Показательны также наблюдения над речью носителей языка, в частности употребление ими метакоммуникативных "ограничителей" типа *как говорят в народе*, что может свидетельствовать о национальной маркированности предваряемой таким образом языковой структуры<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> В дальнейшем во избежание громоздких формулировок мы будем говорить преимущественно о культурной специфике применительно к кругу явлений, выделяемых на основе сравнительного подхода, и о национальной специфике применительно к интроспективному подходу. При всей своей условности такое

Явления, отобранные в качестве специфических на основе сравнительного подхода, могут не только не совпадать с кругом явлений, выделенных на основе интроспективного подхода, но даже не иметь с ним точек соприкосновения. В рамках данной статьи нет возможности более или менее подробно описать оба подхода, поэтому мы остановимся лишь на проблемах, связанных со сравнительным подходом.

### 3. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД

#### 3.1. О роли внутренней формы

При исследовании национально-культурной специфики фразеологизмов в рамках сравнительного подхода целесообразным представляется исключительно обращение к их плану содержания, так как план выражения у единиц разных языков различен по определению. В плане содержания фразеологизмов (особенно в случае их синхронно ощущаемой мотивированности) выделяются два аспекта: актуальное значение и образная составляющая. Для решения поставленных задач наиболее существенным представляется изучение образной составляющей, так как, во-первых, именно здесь могут быть обнаружены нетривиальные различия между языками (набор актуальных значений, представленных во фразеологии, как известно, в достаточной степени универсален [Райхштейн 1980]) и, во-вторых, различия такого рода скорее могут оказаться культурно мотивированными.

Поясним сказанное на примере. Актуальное значение идиом типа *матросская тишина* является не только нагруженным культурно-историческими ассоциациями, но и уникальным относительно других языков. Для объяснения этой уникальности нет, однако, необходимости обращаться к категории национально-культурной специфики. Поскольку идиомы данного типа являются с функционально-семантической точки зрения именами собственными, они уникальны по определению. Этот пример показывает также, что культурно-исторические ассоциации и национально-культурная специфика (в представленном здесь понимании) – не одно и то же. Ср. в связи с этим идиому *черный ворон*. Будучи идиомой с идентифицирующей семантикой, то есть идиомой, допускающей референтное употребление (к проблеме соответствующей типологии идиом см. [Добровольский 1990]), она обозначает денотат, с которым связан целый комплекс культурно-исторических ассоциаций. В этом смысле сам денотат оказывается уникальным и культурно маркированным. С другой стороны, во внутренней форме этой идиомы содержится отсылка к концепту, играющему важную роль в русском фольклоре, что позволяет говорить и о культурной специфике выражения *черный ворон* как факта русского языка в сравнении с другими языками; ср. эквивалентную немецкую идиому *die grüne Minna* (букв. "зеленая Минна").

В этой работе нас интересует исключительно второе из названных явлений. Изучение денотативно ориентированных ассоциаций, вызываемых определенными идиомами, – это часть проблемы отражения в языке особенностей конкретных исторических эпох, которая может стать темой самостоятельного исследования, не обязательно привязанного к фразеологизмам или метафорам. Подобные ассоциации могут иметь нетривиальные лингвистические следствия. Так, именно культурно-исторические ассоциации, сопряженные с соответствующим денотатом, делают крайне труднодоступным для адекватной интерпретации представителями других культур контекст (2), дополнительно осложненный языковой игрой, для понимания которой также необходимо привлечение культурно-исторической информации, в данном случае знаний о роли слова *красный* в названиях советских газет, журналов, заводов, фабрик и т.п.

---

терминологическое разграничение оправдано тем, что при сравнительном анализе одним из важнейших критериев оказывается возводимость установленных межязыковых различий к специфике соответствующих культур, в то время как интроспективный подход предполагает обращение к интуиции носителей языка, характеризующих некоторые явления как "свои и только свои", то есть сугубо национальные.

(2) «Персиков ухватился одной рукой за карточку, чуть не перервал ее пополам, а другой швырнул пинцет на стол. На карточке было приписано кудрявым почерком: "Очень прошу и извинюсь, принять меня, многоуважаемый профессор, на три минуты по общественному делу печати и сотрудник сатирического журнала "Красный ворон", издания ГПУ"» (М. Будгаков. Роковые яйца).

Итак, следует различать случаи, когда "фразеологизмы сами обретают роль культурных стереотипов" [Телия 1996: 232], и случаи, когда в их плане содержания присутствует компонент, отсылающий к категориям культуры. Смещение исторических ассоциаций, сопряженных с денотатом, (знаний о мире) и возводимости к традиционной культуре (знаний о других знаковых кодах), как и объединение этих феноменов под расплывчатым понятием "культуры в языке" представляется недопустимым, так как приводит к парадоксам неразличения столь разных по функциональным характеристикам единиц языка как, например, *Тушинский вор*, с одной стороны, и *седьмая вода на киселе* – с другой.

Обращение к внутренней форме идиом (образно-метафорической или символической в своей основе) позволит, как представляется, выявить существенные межъязыковые различия, фиксирующие несовпадения в интерпретации определенных фрагментов действительности разными языковыми сообществами, причем, по-видимому, лишь некоторые из этих концептуальных различий окажутся культурно значимыми.

### 3.2. Когнитивные основания межъязыковых различий

Прежде чем обратиться к вопросу, каким образом может быть определена культурная значимость концептуальных различий между языками, отметим, что отнюдь не любые различия во внутренней форме отдельных единиц лексикона должны интерпретироваться как концептуальные, то есть как различия в способах осмысления действительности (ср. [Апресян В.Ю., Апресян Ю.Д. 1993: 33]). Это имеет место лишь в том случае, если конкретные несовпадения в выборе языковых средств возводимы к различиям между инвариантными когнитивными структурами, стоящими за этими языковыми выражениями. Для идиом, в основе которых лежит метафора, такими инвариантными когнитивными структурами оказываются "концептуальные метафоры" или "метафорические модели" (в терминологии Дж. Лакоффа [Lakoff 1987]). Наличие межъязыковых различий в конкретных языковых метафорах, представленных отдельными идиомами, еще ни о чем не говорит. Поясним это на примере.

В английском языке существует идиома *to put all one's eggs into one basket* (букв. "класть все яйца в одну корзину"), сопоставимая по значению с русской идиомой *ставить все на одну карту* (ср. [АРФС]). Несмотря на специфику образной составляющей этой английской идиомы относительно русского языка, было бы странно интерпретировать этот факт в терминах картины мира и тем более усматривать здесь некие национально-культурные различия. Так, было бы достаточно абсурдно утверждать, что 'яйца' и 'корзины' играют в английской культуре большую роль, чем в русской. В подобных случаях речь идет не о значимых различиях, а о языковых случайностях. Это, в частности, доказывается тем фактом, что в последние годы эта идиома (вернее, ее буквальный перевод) все чаще употребляется в русском языке, в особенности в публицистических текстах. В базе данных по русской идиоматике в газетных текстах, подготовленной К. Венцль [Wenzl 1996], представлены три контекста с этой идиомой [(3)–(5)], написанные разными авторами для столь различных по политическому направлению газет, как "Московские новости" и "Завтра". Характерно, что ни в одном из этих контекстов не содержится никаких "специфически английских" коннотаций, то есть идиома употребляется как стандартная единица русского языка<sup>3</sup>.

<sup>3</sup> Более того, корреспондент журнала "Spiegel" Й.П. Меттке квалифицирует эту идиому как "русскую языковую мудрость" (russische Sprachweisheit): "(...) es [heißt], Sie hätten nicht nur Jelzin, sondern auch seine Konkurrenten Jawlinski und Lebed mit großen Summen unterstützt. Folgten Sie der russischen Sprachweisheit, daß es

В контексте (5) она представлена в модифицированной форме с заменой компонента *корзина* на более "народное" *лукошко*, что свидетельствует о значительной степени ее освоения русским языком. Об этом же свидетельствует употребление метакоммуникативного маркера *говоря попросту*, предваряющего данную идиому в контексте (4).

(3) «*Рассредоточить, не класть все яйца в одну корзину* – это как раз обратное тому, к чему стремится определенного типа пропаганда, у которой всякое решение судьбоносное, всякий бой последний и решительный (...). Мне кажется, имело бы смысл почаще представлять исторический процесс максимально рассредоточенным в пространстве и во времени, лишенным небольшого числа моментов "решающего выбора"» (А. Мелихов. "Московские новости").

(4) «Не случайно именно в этот период предприниматели предпочитали диверсифицировать политические вложения, а говоря попросту, не *класть все яйца в одну корзину*. Известно, что "Инкомбанк" участвовал в финансировании блока "Яблоко" и одновременно объединения ПРЕС. В то же время "МОСТ" поддерживал ПРЕС, "Выбор России", "Яблоко" и не преодолевшее пятипроцентного барьера Российское движение демократических реформ...» (Л. Телень. "Московские новости").

(5) "(...) многие патриоты и националисты видят в Жириновском персонажа тщательно распланированной трагедии России, жидо-масонскую пешку, хозяева которой никогда не *кладут все яйца в одно лукошко*". (Д. Жуков. "Завтра").

Итак, о когнитивно значимых различиях можно говорить лишь в случае несовпадения концептуальных метафор. Предложенный Дж. Лакоффом аппарат анализа метафор обладает значительной объяснительной силой и позволяет получать результаты, интересные и вне связи с проблематикой культурной специфики. В частности, когнитивная теория метафоры позволяет объяснить, почему одни иноязычные идиомы легко понимаются и могут даже заимствоваться, а другие – нет. Это зависит в первую очередь от того, известны ли в языке-реципиенте концептуальные метафоры, стоящие за соответствующими языковыми выражениями. Идиома *класть все яйца в одну корзину* так легко вошла в русский язык, по-видимому, потому, что она возводима к двум известным в русском языке концептуальным метафорам: СРЕДСТВА ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ – ЭТО ФИЗИЧЕСКИЕ СУЩНОСТИ (ср. *держат порох сухим, ломать копьё, хвататься за соломинку*) и ОБЛАСТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ СРЕДСТВ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ – ЭТО ВМЕСТИЛИЩЕ (ср. *бездонная бочка*).

Аналогичным образом могут быть объяснены различия в способах подачи фразеологизмов в переводе "Сатирикона" Петрония под редакцией Б.И. Ярхо. Поскольку при переводе ставилась задача сохранения образов и символики, представленной во фразеологии оригинала, во всех случаях, где это было возможно, фразеологизмы переводились буквально, а соответствующие русские фразеологические единицы давались в примечаниях. Иногда, однако, применялся обратный способ, то есть буквальный перевод приводился в примечаниях [Ярхо 1990: 13–14]. В последнем случае речь идет о концептуальных метафорах и/или языковых символах, не представленных в русском языке. Например, фразеологизм *per scutum per ocream* (букв. "сквозь щит, сквозь поножи") переводится как *и так и сяк, и думал и гадал*. Сходным образом "душа в нос (ушла)" переводится как *душа ушла в пятки* [Петроний Арбитр 1990: 115]. Буквальный перевод в этом случае невозможен, поскольку русская идиома *душа ушла в пятки* базируется на концептуальном противопоставлении ВЕРХ – ЭТО ХОРОШО vs. НИЗ – ЭТО ПЛОХО (по Дж. Лакоффу [Lakoff 1994]), а поскольку вместилище души мыслится как располагающееся в области груди, перемещение души в нос не может с точки зрения русского языка однозначно интерпретироваться в смысле квазисимптома отрицательных эмоций.

nicht klug ist, alle Eier in einen Korb zu packen?" (Spiegel, 1997. № 6). – "(...) то есть, вы оказывали ощутимую финансовую поддержку не только Ельцину, но и его конкурентам Явлинскому и Лебедю. Вы действовали в соответствии с русской поговоркой [букв. "с русской языковой мудростью"], советующей не класть все яйца в одну корзину?"

Напротив, фразеологизм *асс у тебя есть – асса ты стоишь* переведен буквально [Ярхо 1990: 13], так как носителям русского языка понятна подобная символическая интерпретация минимальной денежной единицы. Сущности, занимающие низшие ступени в иерархии ценностей, в русском языке также символизируются с помощью обозначений минимальных денежных единиц, ср. *гроша ломаного не стоит*.

Гипотеза о существовании зависимости между пониманием иноязычных фразеологизмов и наличием в языке–реципиенте выражений, выводимых к аналогичным когнитивным структурам, может быть проиллюстрирована с помощью примеров из книги "Фразеология Корана" [Ушаков 1996]. Идиомы типа *ṣabḥata 'aḡdāmahum* ("укреплять чьи-л. стопы") 'укреплять кого-л. духовно, в вере', *ja'ala 'alā ḥaṣarihi ḡḡāwatan* ("возложить на его взоры пелену") 'лишить возможности различать истину и ложь' вполне понятны носителю русского языка. Напротив, идиомы типа *yaqḥidūna 'aydiyahum* ("сжимают свои руки в кулаки") со значением проявления скупости, *ja'ala ṣadrahu ḡayyiqan ḥarajan* ("сделать чью-л. грудь узкой, тесной") 'поставить кого-л. в трудное положение, лишить его возможности идти верным путем' не находят в русском языке когнитивных аналогов и воспринимаются как непрозрачные. Так, например, *сжатие рук в кулаки* интерпретируется в русском языке как квазисимптом гнева, *стеснение груди* – как квазисимптом тоски, что препятствует пониманию данных арабских идиом в должном смысле.

Во всех подобных случаях можно говорить о наличии когнитивно обусловленных несоответствий между сравниваемыми языками. Такие различия носят неслучайный характер и, безусловно, свидетельствуют о специфике осмысления определенных фрагментов действительности соответствующими языковыми сообществами [Lakoff 1987: 296]. Насколько подобные когнитивно обусловленные различия являются фактами национальных культур – другой вопрос. Во всяком случае, автоматическое отождествление когнитивного и культурного неправомерно<sup>4</sup>. Так, концепт 'way' эксплуатируется английским языком существенно активнее, чем русским – концепт 'путь'; ср. *this way, please* 'сюда, пожалуйста', *the right way of doing a thing* 'правильный метод', *in one or another way* 'так или иначе', *way of thinking* 'взгляды', *in some ways* 'в некоторых отношениях', *in a way* 'в известном смысле, до некоторой степени', *the other way round* 'наоборот', *by the way* 'кстати, между прочим', *out of the way* 'необыкновенный'. Тем не менее, было бы странно сделать из этого вывод о большей значимости данного концепта в английской культуре.

### 3.3. Культурная значимость межъязыковых различий

Регулярные концептуальные различия, зафиксированные во фразеологии сравниваемых языков (если таковые будут найдены – что само по себе нетривиальная задача, за решение которой никто пока еще серьезно не брался) могут рассматриваться лишь как кандидаты в культурно маркированные сущности. Чтобы быть признанными таковыми, соответствующие языковые факты должны (как уже было сказано выше) обнаруживать культурно значимые следствия или восприниматься как обусловленные культурно значимыми причинами. Это положение может быть проиллюстрировано с помощью примера из одного из нижненемецких диалектов<sup>5</sup>, так называемого вестмюнстерландского.

В ситуации, когда разбивается фарфоровая чашка, носители этого диалекта обычно употребляют фразеологизм *de Seele geht nao de Fabrick hen* (букв. "душа возвращается

<sup>4</sup> Соотношение культурного и когнитивного в процессе осмысления действительности довольно активно исследуется в последнее время и из перспективы культурной антропологии: см., в частности, работы Н. Куинн и Д. Холлэнд, например, [Quinn, Holland 1987].

<sup>5</sup> Следует отметить, что в аспекте культурно значимых противопоставлений диалекты часто отличаются от литературных языков – своих ближайших родственников, по нашим наблюдениям, сильнее, чем неродственные литературные языки друг от друга (ср., например, [Dobrovolskij, Piirainen 1997]).

на фабрику")<sup>6</sup>. С когнитивной точки зрения данный фразеологизм базируется на концептуальной метафоре ЧАШКА – ЭТО ЧЕЛОВЕК. Эта метафорическая модель включает, в частности, следующие соответствия (correspondances в терминологии Дж. Лакоффа):

- (а) у человека есть душа → у чашки есть душа;
- (б) человек умирает → чашка разбивается;
- (в) душа умершего человека покидает его тело → душа разбившейся чашки покидает свою бrenную оболочку;
- (г) душа человека возвращается к творцу → душа чашки возвращается на фабрику, где она была сделана.

Помимо того, что метафора персонификация фарфоровой посуды не закреплена в узусе ни литературного русского, ни литературных германских языков<sup>7</sup>, предпосылки возникновения такого фразеологизма требуют культурной интерпретации. Эксплицированное в его компонентном составе соответствие (г), как и имплицитно представленные в виде пресуппозиций соответствия (а–в) должны, по-видимому, интерпретироваться в духе "народной мифологии", согласно которой акт изготовления чашек метафорически уподобляется акту творения. Уникальным по сравнению с известными нам языками и культурно значимым является здесь не столько обращение к метафоре персонификации (ср. сноску 7), сколько наведение фокуса на ее "загробные" следствия.

В пользу отнесения когнитивных оснований появления фразеологизма *de Seele geht nao de Fabrick hen* к фактам традиционной культуры носителей вестмюнстерландского диалекта говорит наличие характерных для этой местности народных обычаев, фиксирующих представления о физическом перемещении душ после смерти. Согласно обычаю, умершего в открытом гробу на три дня кладут непосредственно под чердачным окошком, чтобы душе было легче найти выход. Характерно, что одно из диалектных наименований чердачного окошка – *Liekspier* (от *Liek* 'труп'). Значимость и устойчивость этого обычая подкрепляется и другими языковыми свидетельствами, ср. идиомы *he kick et leste Maol döör't Balkenschlopp* (букв. "он в последний раз смотрит в чердачное окошко") и *he steck de Nösse nao't Balkenschlopp* (букв. "он высунул нос в чердачное окошко") со значением 'он умер'.

Важно подчеркнуть, что культурная специфика обсуждаемой концептуальной метафоры проявляет себя относительно литературных языков (ср. наиболее близкие немецкий и нидерландский, в которых данная метафорическая модель отсутствует), а не по отношению к другим диалектам. По-видимому, диалекты в большей степени, чем литературные языки, отражают остатки мифологического мышления.

Итак, есть основания считать предпосылки возникновения фразеологизма *de Seele geht nao de Fabrick hen* культурно значимыми. Обладает ли он (и лежащая в его основе концептуальная метафора) также и культурно значимыми следствиями – отдельный вопрос. Чтобы ответить на него положительно, нужно доказать, что быт носителей вестмюнстерландского диалекта обнаруживает соответствующие особенности – в частности, некое особое отношение к фарфоровым вещам (что представляется маловероятным, в особенности учитывая шуточный характер обсуждаемого фразеологизма).

#### 3.4. Символьная составляющая и культурная значимость

В целом создается впечатление, что культурная значимость фразеологизма повышается в тех случаях, когда в его структуре присутствует символьная составляющая (типа *крест* в идиоме *нести свой крест*). В работе [Арутюнова 1988: 157–158] указывается на более высокий семиотический статус символа по сравнению с образом.

<sup>6</sup> Этот и другие примеры вестмюнстерландских фразеологизмов были любезно предоставлены нам Э. Пирайнен, которой автор приносит искреннюю благодарность.

<sup>7</sup> Возможно, однако, персонификация артефактов других типов: ср. нем. *das Kleid gibt seinen Geist auf* ("платье испускает дух"), *das Auto haucht seinen Geist aus* ("машина испускает дух"); русск. *телевизор дышит на ладан*.

Это отчасти связано с тем, что символ чаще интерпретируется в терминах культуры. Значимость символов, зафиксированных в составе фразеологизмов, может быть ограничена сферой языка (ср. *рука* как символ помощи в группе идиом *иметь свою руку где-л.*, *быть чьей-л. правой рукой*, *протянуть руку помощи кому-л.*) или же распространяться и на другие семиотические системы (ср. *крест на тебе нет*, где *крест* – символ христианства, обладающий этой функцией и за пределами языка) [Баранов, Добровольский 1995: 86].

Естественно, символы последней группы – символы в строгом смысле – могут с большим основанием интерпретироваться в терминах культуры (ср., например, [Никитина 1993: 66–68]). Так, в ряде арабских идиом слово *naqlān* ‘бороздка на финиковой косточке’ символизирует ничтожно малое количество (например, *lā yuḡlamūna naqlān* “не будут они обижены и на бороздку финиковой косточки”, *lā yuḡīna naqlān* “не дадут и бороздки на финиковой косточке” ‘не дадут ничего’). С точки зрения русского языка – это весьма экзотический способ указания на ‘ничтожно малое количество’ (в русском языке в этой функции используется, например, *грош*, ср. *не дать ни гроша, ни на грош*). Можно ли, однако, считать, что это различие обладает национально-культурным статусом? Ответ на этот вопрос не вполне ясен. С одной стороны, приведенные выше идиомы зафиксированы в Коране [Ушаков 1996] и тем самым нагружены дополнительными культурными ассоциациями, с другой – финиковые косточки вряд ли обладают символическими функциями за пределами соответствующих языковых выражений и потому не могут рассматриваться как ‘культурные символы’.

В качестве примера культурно значимого символического противопоставления можно привести идиомы некоторых европейских языков с символической составляющей ‘семь’ [(6)–(9)] и сопоставимые с ними по значению японские идиомы, в которых в аналогичной функции выступает понятие ‘восемь’ (10).

(6) русск. *семи пядей во лбу; за семь верст киселя хлебать; семь верст до небес (и все лесом); семь потов сошло;*

(7) нем. *in sieben Sprachen schweigen* (“молчать на семи языках”) ‘настойчиво отказываться высказаться по какому-л. поводу’; *eine böse Sieben* (“злая семерка”) ‘сварливая женщина’; *mit jmdm. umlüber sieben Ecken verwandt sein* (“быть кому-л. родственником через семь углов/за семью углами”) – ср. русск. *седьмая вода на киселе;*

(8) нидерл. *niet in zeven sloten/geen zeven sloten tegelijk lopen* (“не бежать одновременно по семи каналам”) ‘быть в состоянии самому позаботиться о себе’; *een boek met zeven zegels zijn* (“быть книгой за семью печатями”) – ср. русск. *книга за семью печатями*<sup>8</sup>; *iem. is uit de zevende hemel gevallen* (“кто-л. свалился с седьмого неба”) ‘кто-л. неожиданно испытал сильное разочарование’;

(9) фин. *jtk on seitsemän lukon/sinetin takana* (“что-л. находится за семью замками/печатями”) – ср. русск. *за семью замками; hänellä on suu (iso) kuin seitsemän leivän uuni* (“у него рот (большой) как печь для семи хлебов”) ‘у него очень большой рот’; *seitsemän on valehtelijan määrä* (“семь – количество лгуна”) ‘сентенция, указывающая на то, что говорящий понимает, что партнер по коммуникации говорит неправду’;

(10) япон. *hitai ni hachi no ji wo yoseru* (“сложить лоб в восемь морщин”) ‘напряженно думать о чем-л.’; *happo hijin* (“на восемь частей света (говорящая) красивая женщина”) ‘человек, пытающийся угодить всем’; *kuchi hatcho, te hatcho* (“восемь ртов, восемь рук”) ‘кто-л. красноречиво говорит и ловко работает’; *happo fusagari* (“закрыто на восемь сторон”) ‘положение безнадежно’.

Эти различия могут рассматриваться как культурно обусловленные, так как они объясняются ролью числа ‘восемь’ в синтоизме [Dobrovolskij, Piirainen 1997]. С другой стороны, можно утверждать, что идиомы [(6)–(10)] имеют и культурно значимые следствия, так как особые функции чисел ‘семь’ и ‘восемь’ в соответствующих культурах

<sup>8</sup> Эта идиома библейского происхождения представлена во многих языках христианского ареала.

поддерживаются наличием употребительных устойчивых выражений, осмысление которых с точки зрения мотивированности предполагает актуализацию этих функций<sup>9</sup>.

Менее однозначной интерпретации поддаются английские фразеологизмы с компонентом *nine* ("девять"): *to be on cloud nine* (букв. "быть на девятом облаке"; ср. русск. *быть на седьмом небе*); *a stitch in time saves nine* (букв. "один стежок, сделанный вовремя, стоит девяти") 'мелочь, сделанная вовремя, экономит много труда впоследствии'; *to be dressed up to the nines* (букв. "быть одетым до девяток") 'быть очень нарядно одетым'; *a nine day's wonder* (букв. "чудо девяти дней") 'нечто, воспринимаемое как весьма привлекательное в определенный период времени, но впоследствии очень быстро забытое'.

Роль концепта 'девять' в английской фразеологии объяснима значением этого понятия в древнегерманской культуре. 'Девять' играет большую роль в германской мифологии (ср. девять миров в северогерманских мифах, девять низших божеств и т.п.), в правовой системе (срок в девять дней имел особый юридический статус), неделя насчитывала девять дней, расстояние в девять шагов использовалось как мера длины. До недавнего времени в германском ареале бытовало поверье, что кошка имеет девять жизней (ср. подробнее [Weinhold 1897]). Позднее во всех германских языках, кроме английского, число 'девять' в своих особых знаковых функциях было вытеснено числом 'семь'. Таким образом, с позиций межъязыковых контрастов можно говорить о специфичности перечисленных выше английских фразеологизмов с компонентом *nine*. Однако тот факт, что в английской и американской культуре не 'девять', а 'семь' выполняет функции "особого", "протогипического" числа, а также наличие в английском языке идиом с компонентом *seven* (ср. *to be in the seventh heaven*<sup>10</sup>), конкурирующим в своем символическом прочтении с *nine*, заставляет подходить к вопросу о национально-культурной специфичности числа *nine* с известной осторожностью. По-видимому, причины существования английских фразеологизмов с этим числительным в символическом прочтении должны квалифицироваться как культурно значимые. Говорить же о культурно значимых следствиях не представляется возможным<sup>11</sup>.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенный анализ позволяет сделать некоторые выводы. Национально-культурный компонент плана содержания фразеологизмов, выделяемый при сравнительном подходе, базируется, как правило, на образной составляющей и увязывается с когнитивно значимыми различиями между языками. Связь между языковым выражением, концептуальной структурой и национальной культурой неоднократно постулировалась в лингвистических исследованиях, прежде всего (в различных теоретических контекстах) в работах Дж. Лакоффа и А. Вежбицкой. Ср. характерное высказывание из [Лакофф, Джонсон 1987: 143]: "Новые метафоры обладают способностью творить новую реальность. (...) Если новая метафора становится частью понятийной системы, служащей основанием нашей деятельности, она изменит эту систему, а также порождает ее представления и действия. Многие изменения в культуре возникают как следствие усвоения новых метафорических понятий и утраты старых".

<sup>9</sup> В японском языке представлены и фразеологизмы с числом 'семь' в сходной функции, что объясняется влиянием пришедшего из Индии буддизма, ср., например, *nanatsu dogu* (букв. "семь принадлежностей") 'все вещи, пожитки, собранные вместе'. Таким образом, даже в таких, казалось бы, бесспорных случаях подобные межъязыковые и межкультурные различия оказываются относительными и их роль не следует преувеличивать.

<sup>10</sup> Ср. следующий пример, в котором эта идиома употребляется в контексте языковой игры, что, однако, не препятствует практически дословному переводу этого контекста на русский язык: "If marriages are made in the heavens, then ours was made in the seventh" (S. Rushdie. *Grimus*) – "Если браки заключаются на небесах, то наш был заключен на седьмом".

<sup>11</sup> Еще одним примером из области числовой символики может служить имеющее культурно-исторические корни использование понятия 'сорок' в русской фразеологии (например, *сорок сороков*). Поскольку 'сорок' в значении 'много' не встречается, к примеру, в германских языках, идиома *сорок сороков* является культурно специфической.

В связи с этим важно еще раз подчеркнуть три момента: 1) не всякое различие в способах языкового означивания действительности является когнитивно релевантным; 2) не всякое когнитивно релевантное различие значимо в аспекте национальной культуры; 3) культурная релевантность единиц языка может быть обусловлена как их возводимостью к другим семиотическим кодам (в первую очередь, фольклору, мифам, верованиям), так и наличием у этих единиц культурно значимых следствий<sup>12</sup>.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Апресян В.Ю., Апресян Ю.Д. 1993 – Метафора в семантическом представлении эмоций // ВЯ. 1993. № 3.  
Арутюнова Н.Д. 1988 – От образа к знаку // Мышление. Когнитивные науки. Искусственный интеллект. М., 1988.  
АРФС – Кунин А.В. Англо-русский фразеологический словарь. Изд. 4-е, перераб. и доп. М., 1984.  
Бабкин А.М. 1979 – Идиоматика (фразеология) в языке и словаре // Современная русская лексикография 1977. Л., 1979.  
Баранов А.Н., Добровольский Д.О. 1995 – Знаковые функции вещных сущностей // Язык – система. Язык – текст. Язык – способность. М., 1995.  
Бердяев Н.А. 1990 – Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990.  
Добровольский Д.О. 1990 – Типология идиом // Фразеология в Машинном фонде русского языка. М., 1990.  
Добровольский Д.О. 1996 – Образная составляющая в семантике идиом // ВЯ. 1996. № 1.  
Костева В.М. 1996 – Способы представления фразеологизмов в двуязычном словаре (на материале немецкого языка): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1996.  
КРАФС – Гуревич В.В., Дозорец Ж.А. Краткий русско-английский фразеологический словарь. М., 1995.  
Лакофф Дж., Джонсон М. 1987 – Метафоры, которыми мы живем // Язык и моделирование социального взаимодействия. М., 1987.  
Никитина С.Е. 1993 – Устная народная культура и языковое сознание. М., 1993.  
НРФС – Бинович Л.Э., Гришин П.Н. Немецко-русский фразеологический словарь. М., 1975.  
Петроний Арбитр 1990 – Сатирикон / Пер. под ред. Б.И. Ярхо (Репринтное воспроизведение издания 1924 г.). М., 1990.  
Райхштейн А.Д. 1980 – Сопоставительный анализ немецкой и русской фразеологии. М., 1980.  
Телия В.Н. 1996 – Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. М., 1996.  
Ушаков В.Д. 1996 – Фразеология Корана. М., 1996.  
Ярхо Б.И. 1990 – Предисловие // Петроний Арбитр. Сатирикон / Пер. под ред. Б.И. Ярхо (Репринтное воспроизведение издания 1924 г.). М., 1990.  
Dobrovolskij D., Piirainen E. 1997 – Symbole in Sprache und Kultur. Studien zur Phraseologie aus kultursemiotischer Perspektive. Bochum, 1997.  
Lakoff G. 1987 – Women, fire, and dangerous things. What categories reveal about the mind. Chicago; London, 1987.  
Lakoff G. 1994 – Master metaphor list. Internet document. Internet address: <http://cogsci.berkeley.edu>. 1994.  
Longman DEI – Longman dictionary of English idioms. Harlow; London, 1979.  
Quinn N., Holland D. 1987 – Culture and cognition // Cultural models in language and thought. Cambridge etc, 1987.  
Weinhold K. 1897 – Die mystische Neunzahl bei den Deutschen. Berlin, 1897.  
Weisgerber L. 1962 – Die sprachliche Gestaltung der Welt. Düsseldorf, 1962.  
Wenzl K. 1996 – Idiome im russischen politischen Diskurs // Lexicology. 1996. № 2.  
Wierzbicka A. 1992 – Semantics, culture, and cognition. Universal human concepts in culture-specific configurations. New York; Oxford, 1992.

<sup>12</sup> В основу статьи положен доклад, сделанный на Виноградовских чтениях в Институте русского языка РАН 16 января 1997 года. Автор выражает глубокую признательность Ю.Д. Апресяну, В.П. Григорьеву, С.Е. Никитиной и А.Я. Шайкевичу, которые прочитали статью и сделали ряд конструктивных замечаний.

© 1997 г. Е.А. ЛЮТИКОВА

РЕФЛЕКСИВЫ И ЭМФАЗА\*

0. ВВЕДЕНИЕ

Цель настоящей статьи – в какой-то мере способствовать поиску путей решения одной проблемы, поставленной впервые, насколько нам известно, уже лет двадцать назад. Речь идет о наблюдаемой во многих языках тесной связи между рефлексивными местоимениями (то есть местоимениями, используемыми для маркирования кореферентности в пределах одной пропозиции), с одной стороны, и так называемыми эмфатическими местоимениями<sup>1</sup> с другой стороны. Так, в английском языке одно и то же местоимение употребляется и как эмфатическое, и как рефлексив:

- (1a.) *I don't like him myself.*  
Мне самому он не нравится.
- (b.) *I saw myself in the mirror.*  
Я увидел себя в зеркале.

Эдмондсон и Планк [Edmondson, Plank 1978: 374], анализируя английский материал, замечают: "Судя по словоизменительной парадигме, английские интенсификаторы... совпадают с рефлексивными местоимениями. Это совпадение вызывает несколько вопросов. Является ли эта связь между рефлексивизацией и интенсификацией лишь случайной омонимией? И, если нет, в чем состоит инвариант?"

Для объяснения продемонстрированной связи между "рефлексивизацией и интенсификацией" исследователи обычно шли по следующему пути. Беря за основу употребление местоимения (обычно английского местоимения на *-self*) в контексте рефлексивизации, они пытались выводить из известных нам синтаксических правил построения рефлексивных конструкций (в основном это подлежащий контроль) некие "семантические характеристики" местоимений, встречающихся в контексте рефлексивизации. Затем полученная таким образом "семантика" приписывалась соответствующему местоимению, употребленному эмфатически, или, по крайней мере, неким образом коррелировала с его функцией интенсификатора. К примеру, Эдмондсон и Планк замечают, что для возвратного местоимения важным оказывается такое синтаксическое свойство, как контроль со стороны подлежащего. Понятие универсального подлежащего (со ссылкой на Кинэна) используется для извлечения семантических характеристик "наиболее агентивной ИГ" – например, способности контролировать действие. После этого оказывается, что данные семантические характеристики коррелируют с выявленными реальными языковыми значениями интенсификаторов<sup>2</sup> [Edmondson, Plank 1978: 410–411]: "В ходе нашего анализа постоянно возникало одно понятие – понятие подлежащего. Как известно, подлежащее является важнейшей категорией в процессе рефлексивизации. Антецедент возвратного местоимения обычно

\* Работа выполнена при поддержке РФНФ, номер проекта 95–06–17324.

<sup>1</sup> В соответствии с англоязычной традицией их называют также эмфатическими рефлексивами (emphatic reflexives) или интенсификаторами (intensifiers).

<sup>2</sup> Заметим, что при выявлении этих значений авторы, по-видимому, уже имели в виду теорию "связи с подлежащим", отсюда несколько спорные утверждения о том, что "...интенсификаторы употребляются скорее с подлежащими ИГ чем с ИГ с другими ролями" [Edmondson, Plank 1978: 410].

является подлежащим. С другой стороны, при описании приименных интенсификаторов мы с необходимостью используем категорию подлежащего... Поэтому на вопрос о том, почему разнообразные эмфатические конструкции имеют именно данные, а не другие свойства или комбинации свойств, ответ будет следующий: все интенсификаторы субъективно ориентированы, отсюда и совпадение свойств подлежащего и интенсификаторов".

На наш взгляд, значительным шагом в решении поставленного вопроса явилась статья С. Кеммер [Kemmer 1993]. Кеммер отказывается в своем описании от объяснения эмфатического употребления данных единиц через рефлексивное и представляет их как бы параллельно, на разных уровнях: "Рассмотрим теперь отношение между эмфатическим и рефлексивным использованием местоимений на *-self*. Важнейшая функция маркеров рефлексивной семантики – сигнализировать о (неожидаемой) кореферентности между двумя терминами одной предикации. С другой стороны, эмфатическое *-self* выполняет разнообразные функции идентификации референта, некоторым образом выделенного в дискурсе по сравнению с другими потенциальными референтами... Таким образом, эмфатическое *-self* функционирует на более высоком уровне организации дискурса, чем отдельная пропозиция, в то время как рефлексивное *-self* несет в себе информацию о референциальных отношениях между элементами пропозиции...".

Представляется возможным сделать и следующий шаг: совпадение рефлексивов и эмфатических местоимений (в тех языках, где оно засвидетельствовано) следует объяснить происхождением рефлексивов от эмфатических местоимений. Кажется немного более логичным исходить из эмфатической семантики и усматривать ее грамматикализацию в случае возвратного местоимения, чем исходить из семантики синтаксической (возвратной) конструкции и полагать, что она лексикализуется в эмфатическом местоимении.

В пользу этого решения нами выдвигаются следующие соображения. Во-первых, это анализ цахурских рефлексивов, предпринятый в разделе (1). Мы собираемся показать, что в языках без подлежащего мы имеем наиболее "чистый" случай рефлексивизации и что для определения семантики эмфатического местоимения мы не нуждаемся в понятии подлежащего.

Во-вторых, это анализ материала тех языков, в которых эмфатическая и рефлексивная семантика не объединяются в рамках одной лексемы (например, русский или немецкий). В русском языке возвратное местоимение *себя*, употребляющееся в рефлексивных контекстах, не имеет эмфатического "прочтения". Однако любопытным оказывается поведение русского слова *сам*, которое, с одной стороны, во многом соответствует эмфатическому употреблению английских рефлексивов (2а.), а с другой стороны часто встречается вместе с возвратным *себя* (2б., с.).

(2а.) *Прости, я сам теперь знаком со светом* (Лермонтов).

(б.) *Любовь слепи и, не доверяя самой себе, торопливо хватается за всякую опору* (Пушкин).

(с.) *Тут Бенгальский прервал сам себя и заговорил с другими интонациями* (Булгаков).

В разделе (2) будет показано, что русские рефлексивы в сочетании с эмфатическим местоимением могут быть объяснены сходным образом с цахурскими.

В разделе (3) будет сделан ряд типологических обобщений, касающихся рефлексивизации и ее связи с эмфатической семантикой.

## 1.1. Preliminaries. Дагестанские языки в типологическом аспекте.

Дагестанские языки (к которым относятся цахурский, багвалинский и даргинский, упоминаемые далее в статье) могут быть охарактеризованы как морфологически эргативные. Что касается синтаксиса, то засвидетельствованы как черты аккумулятивной, так и нейтральной стратегии. Важным для этих языков оказывается понятие семантической роли, которая определяет падежное оформление соответствующей ИГ.

1.2. Цахурское местоимение *wiʒ*.

Местоимение *wiʒ*<sup>4</sup>, традиционно считающееся рефлексивным местоимением, само по себе редко выступает в собственно рефлексивном контексте и по своим функциям, как замечает С.Ю. Толдова [Толдова 1997], скорее соответствует русскому местоимению *он*. Кроме того, это местоимение передает эмфатическую семантику. Представляется возможным выделить три основных класса употребления местоимения *wiʒ*.

а) Местоимение *wiʒ* может являться определением ИГ, копируя при этом ее падеж<sup>5</sup>:

(3)	<i>ʒu-ṣ-e</i>	<i>maʃtaʒallim-i-ṣ-e</i>	<i>dʒul = w = X-n</i>	<i>haʃaʔ-as</i>
	сам-AD-EL	учитель-OBL-AD-EL	NEG-3 = мочь-PF	решить-POT
пример,	<i>zi</i>	<i>haʃaʃaʔ-u-na.</i>		
пример.NOM	я.ERG	3.решить-PF-A.A		

Сам учитель не смог решить пример, а я решил.

б) Местоимение *wiʒ* может являться вершиной ИГ<sup>6</sup> и выражать кореферентность как в пределах простого (4), так и сложного предложения (5); более того, его антецедент может находиться даже в другом предложении (6):

(4)	<i>ič-e:</i>	<i>ʒe-l-e</i>	<i>aqʃana</i>	<i>haʔ-a</i>
	девочка-ERG	сам-SUP-EL	смеяться	делать-IPF

Девочка над собой смеется./ Девочка над ней (над кем-то другим) смеется.

(5)	<i>coʒ-e:</i>	<i>wiʒ</i>	<i>siʔocaʔ-as</i>	<i>bajram</i>	<i>razira-wo = r</i>
	брат-ERG	сам.1-NOM	будить-POT	Байрам.NOM	согласен-COP = 1

Байрам согласен, чтобы его (Байрама или кого-либо другого) брат разбудил.

<sup>3</sup> Данный раздел основан на материалах летних лингвистических экспедиций 1995–1996 гг. в с. Мишлеш Рутульского района Дагестана, руководимых профессором А.Е. Кибриком. Пользуюсь случаем, чтобы выразить огромную благодарность учителям мишлешской средней школы, без помощи которых языковой материал не мог бы быть собран, а также участникам экспедиций – А.Ф. Кибрику, С.В. Кодзасову, Я.Г. Тестельцу, С.Ю. Толдовой, С.Г. Татевосову и Е.Ю. Калининной, чье участие в обсуждении данной проблематики было весьма плодотворным.

<sup>4</sup> Парадигма местоимения *wiʒ* приводится в [ЭЦЯ 1997]. Укажем только некоторые формы, необходимые для последующего изложения: местоимение 1 класса *wiʒ*, косвенная основа *ʒu-*, местоимение 2 класса *jiʒ*, косвенная основа *ʒe-*, местоимение 3 класса *wiʒ*, косвенная основа *ci-*, местоимение 4 класса *jiʒ*, косвенная основа *ci-*.

<sup>5</sup> В роли модификатора ИГ может выступать и анафорическое *wiʒ* в атрибутивной форме (аналог possessивного местоимения), однако в этом случае копирование падежа не имеет места.

<sup>6</sup> При анализе местоимения *wiʒ* в его немфатической функции мы во многом опираемся на материал, собранный С.Ю. Толдовой [Толдова 1997].

(6) *daɣpeduniwersitet-e:*      *c'aX/-ni*      *miz-e-n*      *sofɔʔa*  
 Дагпедуниверситет-IN.ESS      цахурский-A.OBL      язык-OBL-A      отделение  
*aʃmiʔaʔ-u.*  
 открыть-PF

В Дагпедуниверситете открыли отделение цахурского языка.

*ʃi-nʃe*      *c'aX-ni*      *miz-e-n*      *maʃʔallim-u:-r*  
 сам.OBL.4.IN-EL      цахурский-A.OBL      язык-OBL-A.PL      учитель-PL-NOM.PL  
*qo:k-a.*  
 НPL.выпускать-IPF

Из него выпускают учителей цахурского языка.

в) местоимение *wiʒ* может входить в состав так называемого сложного (составного, сильного) рефлексива, использующегося только для маркирования кореферентности в пределах одной пропозиции. Сложный рефлексив состоит из двух местоимений *wiʒ*, одному из которых приписан падеж контролера, а другому – мишени рефлексивизации:

(7) *rasul-e:*      *wiʒ-e:*      *wiʒ*      *getu.*  
 Расул-ERG      сам-ERG      сам.NOM      бить.PF

Расул сам себя побил.

Остановимся сперва на случае б). Как нам кажется, примеры свидетельствуют о том, что местоимение *wiʒ* не укладывается в традиционную схему классификации средств повторной номинации на связанные в своей локальной области анафоры, свободные в своей локальной области прономиналы и референциально полные именные группы. Для цахурского языка в качестве основания классификации подобных единиц скорее подошел бы признак "обязательности связанности в локальной области": так, для местоимения *wiʒ* этот признак имеет значение "-". Антецедент данного местоимения в зависимости от различных прагматических факторов может быть найден как в той же простой предикации, так и в главной либо зависимой предикации в случае сложного предложения, а также и вне пределов данного предложения.

Напротив, сильный рефлексив (пункт в)) обязательно связан в своей локальной области<sup>7</sup>. Его антецедентом может быть только ИГ в той же предикации.

Возникает вопрос, каким образом связаны употребление простого местоимения *wiʒ* в роли маркера кореферентности, его употребление в составе сильного рефлексива и его употребление в качестве модификатора ИГ. Нам представляется возможным описать сильный рефлексив, опираясь на значение местоимения *wiʒ* в применном употреблении, выделяемос в разделе 1.2.1, и на сведения о его функционировании как средства повторной номинации.

#### 1.2.1. Местоимение *wiʒ* в применном употреблении.

Как уже отмечалось, местоимение *wiʒ* может являться модификатором ИГ, копируя при этом ее падеж. В такого рода употреблениях местоимение *wiʒ* привносит эмфатическую семантику, аналогичную семантике русского *сам* из (2а.) или английского *myself* из (1а.). В таких случаях будем называть местоимение *wiʒ* эмфатическим. Эмфатическое местоимение *wiʒ* принадлежит к так называемым дискурсивным лексическим элементам. Специфика этих элементов состоит в их семантике, не поддающейся эксплицитному толкованию обычными средствами. Причина 'неуловимости' их значений кроется в их функциональной природе. Эти элементы участвуют не столько в построении денотативного слоя смысла высказывания, сколько в 'привязывании'

<sup>7</sup> Под локальной областью мы здесь понимаем пределы простой предикации.

этого смысла к ситуации акта речи. Многие из этих элементов являются сигналами, облегчающими адресату речи правильное согласование смысла текущего высказывания с имеющимися у него знаниями или перестройку активированных знаний, в соответствии с информацией, содержащейся в текущем высказывании (см. [Джонсон-Лэрд 1988]).

Эмфатическую семантику, передаваемую местоимением *wuʒ*, можно описать при помощи предложенных в [Кибрик, Богданова 1995] толкований. Заметим, что эти толкования, предложенные для русского слова *сам*, не используют такого синтаксического понятия, как подлежащее, и даже не указывают на семантические свойства, присущие обычно подлежащим ИГ в языках, к которым это синтаксическое понятие применимо (например, свойство "наибольшей агентивности"). Поэтому они могут быть применены и для описания местоимения *wuʒ* в цахурском – бесподлежащем – языке. Тем самым, по-видимому, ставится под сомнение цитирувавшееся выше утверждение, что "...все интенсификаторы субъектно ориентированы".

Итак, выделяется пять значений эмфатического *wuʒ* – добавляющее, контрастивное, самостоятельное, неожиданное и дискурсивное. Коротко остановимся на них.

#### 1.2.1.1. Добавляющее *wuʒ*

(8) *-i sanixa maktab-e:-a = r j = ixa deʃ.*  
 я вчера школа-IN-ASS = 2 2 = быть NEG  
*hiʒo Xaqa hiwo-j = d ac'a-n deʃ.*  
 что домой дать.PF-MASD = 4 знать.IPF-A NEG  
*ac'al-es wo = d-un iʃan, jiv-ni*  
 знать-POT COP = 4-A хотеть.IPF твой-A.OBL  
*ʃoʒ-u-k-e: idRin haʔ-u.*  
 брат-OBL-CONT-EL вопрос делать-PF  
*-ju-da ʃoʒ wuʒ sanixa hiwaq -a-ni.*  
 мой-A.A брат сам.1 вчера прогулять-IPF-NI  
*qidRin heʔ-e jug = da ixes*  
 вопрос делать.-IMP хорошо = 4 быть.POT  
*ʃat'imat-i-k-e:.*  
 Патимат-OBL-CONT-EL

– Я вчера не была в школе, не знаю, что задали на дом. Хочу узнать, спросить у твоего брата.

– Мой брат сам вчера прогулял, спроси лучше у Патимат.

Рассмотрим пример (8). Одна из собеседниц заявляет, что явилась участником ситуации Р "отсутствовать в школе накануне разговора". Задавая вопрос о домашнем задании, она опирается на предположение о том, что брат собеседницы (Х) не является участником ситуации Р, то есть был накануне в школе. Собеседница сообщает прогульщице, что ее брат (Х) также входит в число участников ситуации Р, потому последней следует произвести коррекцию своих ожиданий относительно пребывания Х-а в школе, и, как следствие, относительно возможности выяснять у него домашнее задание.

Дадим теперь формальное толкование добавляющего *wuʒ*. Оно состоит из двух частей. В первой части формулируются условия уместности добавляющего *wuʒ* (предположения говорящего о некоторых ожиданиях адресата в данной точке дискурса), во второй – инструкция по коррекции этих ожиданий.

⟨Состояние ожиданий адресата: 'Имеется несколько потенциальных участников (с ролью i) ситуации Р; из знаний адресата о свойствах Х-а следует, что Х не является участником (с ролью i) ситуации Р'⟩

⟨Инструкция адресату о коррекции ожиданий: 'Х входит в множество участников Р'⟩

В примере (9) ситуацией Р является умение вкусно готовить хинкал, Х-ом – сестра Патимат:

(9) *zu-s ik:an-ni jiz-di jič'o-j-s*  
 я.OBL-DAT хотеть.IPF-NI мой-A сестра-OBL-DAT  
*fat'imat-i-s Xarqaʔ-as nʃaxode*  
 Патимат-OBL-DAT научить-POT как  
*t'ele-bi jug-um-mi haʔ-as.*  
 хинкал-PL хороший-A-PL делать-POT  
*jed-i-k-e qidRin haʔ-u, o = d = k'un-na.*  
 мать-OBL-CONT-EL вопрос делать-PF 4 = писать-A.A  
*ac'axa-jm-mi fat'imat-e: jiz-e: hʃamaX/d-um-mi-ʒa = d*  
 знать.PF-A-PL Патимат-ERG сам.2-ERG такой-A-PL-EMPH  
*t'ele-bi haʔ-as ixa-j.*  
 хинкал-PL делать-POT быть-MASD

Я хотела рассказать своей сестре Патимат, как вкусно готовить хинкал. Спросила у матери, записала. А оказалось, что Патимат сама так же хинкал готовит.

### 1.2.1.2. Контрастивное *wiʒ*

Контрастивное *wiʒ* обычно сопровождается другой эмфатической частицей *-ʒa = d<sup>6</sup>*. С ним мы встречаемся, например, в (10).

(10) *jiz-da čoʒ dfajqlan-ni zi dak-i-s*  
 мой-A.A брат бояться.IPF-NI я отец-OBL-DAT  
*diwa-ni halk'e eʃxe-wi. za-k'le*  
 двойка-A.OBL о сказать.IPF-WY я.OBL-AFF  
*hiqa-ʒa = d iwho-jn, zi idjoh-i-nima*  
 перед-EMPH = 4 сказать.PF-A я NEG.сказать-MASD-чтобы  
*denewnek-i = b dʒugulj ha = w = ʔ-u.*  
 дневник-ASS = 3 3 = прятать-PF  
*gojne = r jiz-da čoʒ k'elerXin*  
 потом = 1 мой-A.A брат 1.забыл.PF  
*wiʒ-ʒa = r jiʃonxa-na.*  
 сам.1-EMPH = 1 рассказать.PF-A.A

Мой брат боялся, что я расскажу отцу про двойку. Предупреждал меня, чтобы я не говорила, спрятал дневник. А потом мой брат сам проболтался.

В (10) в качестве ситуации Р мы имеем неприятный для брата "рассказ отцу о двойке". Потенциальными участниками этой ситуации, вообще говоря, могут быть все лица, которым про двойку известно: сестра, другие соученики, учитель, а также сам двоечник (X). Представляется, однако, что двоечник, опасаясь наказания, наименее правдоподобен в качестве рассказчика. В (10) утверждается, что слушающим необходимо скорректировать свои предположения и добавить к своему фонду знаний следующее: именно X является участником ситуации Р.

⟨Состояние ожиданий адресата: 'X входит в число потенциальных кандидатов на роль участника ситуации Р, но является среди них наименее правдоподобным'⟩

⟨Инструкция адресату о коррекции ожиданий: 'Именно X и только он является участником события Р'⟩

В примере (11) потенциальными участниками ситуации Р "встретить гостя, проводить в дом и т.д." являются все обитатели дома, и ожидания слушающего состоят в том, что эти действия будет производить менее значимая фигура, чем хозяин (X) – возможно, его жена или кто-то из детей. Утверждается, однако, что именно X и только он является участником данной ситуации.

<sup>6</sup> Любопытно, что эмфатические местоимения в контрастивном и самостоятельном значении близки в разных языках. Так, в русском языке контрастивное и самостоятельное *сам* отличаются от других позиций и контрастивным акцентом. В цахурском же языке контрастивное и самостоятельное *wiʒ* обычно встречаются в сопровождении усилительной частицы *ʒa = d*.

(11) *ejs-e:* *Xaw-ni* *wuʒ-e:-ʒa = r*  
 хозяин-ERG дом-А.ОБЛ сам.1-ERG-EMPH = 1  
*aķena* *miʒman* *qizaX-i,* *Xa-qa*  
 в.дверях гость встретить-PF дом-ALL  
*aiʒ-u,* *istol-u-t-qa* *gjaʔ-u,*  
 провести-PF стол-ОБЛ-SUPER-LAT сажать PF  
*kar* *gix-i*  
 вещь ставить-PF

Хозяин дома сам в дверях гостя встретил, провел в дом, усадил к столу, предложил еду.

### 1.2.1.3. Самостоятельное *wuʒ*

Самостоятельное *wuʒ*, как уже было отмечено, близко к контрастивному и сопровождается частицей *ʒa = d*. Говоря неформально, 'самостоятельное' совершение X-ом какого-либо действия обычно предполагает намерение (willing) X-а и его способность совершить это действие без посторонней помощи. Рассмотрим пример (13):

(13) *fatimat-e:* *Gijnja* *jiʒ-e:ʒa = d* *kar* *ha = w = ʔ-u*  
 Патимат-ERG сегодня сам.2-ERG-EMPH-4 вещь 3 = делать-PF  
*t'ele-bi* *haʔ-u,* *ginej* *qeʒ-u,*  
 хинкал-PL делать-PF хлеб печь -PF  
*je* *zi* *je* *jed-e:* *ʒe-s* *kumag*  
 ли я.ERG ли мать-ERG сам.2.ОБЛ-DAT помощь  
*haʔ-u* ERG *deʒ.*  
 делать-PF NEG

Патимат сегодня сама приготовила еду: сварила хинкал, испекла хлеб, ни я, ни мать ей не помогали.

Ожидания слушающего здесь, по всей видимости, состояли в том, что без посторонней помощи Патимат (X) неспособна осуществить такой объем работ (P). Утверждение состоит в том, что Патимат – единственный участник события P, то есть что такая помощь отсутствует.

В (14) мы встречаемся с другим типом "самостоятельности" – отсутствием внешней каузации. Предположения слушающего состоят в том, что для того, чтобы ситуация P "уход Байрама" имела место, необходимо ее каузировать, а проще говоря – прогнать Байрама. Утверждается, что Байрам (X) станет участником ситуации P и без внешней каузации.

(14) *ʔazim = ra* *deʒ-da* *bajram* *qiRahi.*  
 нужно = 1 NEG-A.A. Байрам прогнать.PF  
*hajram* *wuʒ-ʒa = r* *al,ħaʒas-da.*  
 Байрам сам.1-EMPH = 1 уйти-POT-A.A

Не надо Байрама прогонять, Байрам сам уйдет.

Толкование, таким образом, имеет следующий вид:

(Состояние ожиданий адресата: 'Без внешней каузации или помощи X скорее всего не станет участником события P')

(Инструкция адресату о коррекции ожиданий: 'X и только X является контролером и участником события P')

### 1.2.1.4. Неожидаемое *wuʒ*

Пример употребления неожиданного *wuʒ* мы находим в предложении (15). Знания говорящего и слушающего о Патимат (плохо учится) имплицитно предполагают ожидание, что Патимат (X) не станет участником ситуации P "решить пример".

Неожидаемое *wuʒ* сигнализирует о необходимости скорректировать это ожидание:

(15) *fat'imat-e: pis = da q/adq/an,*  
 Патимат-ERG плохой = 4 4.учиться.IPF  
*amma hama-na pirter hamaX/u = b*  
 но этот-А.А пример такой = 3  
*rahjat-na w = uxa, že-še = b fat'imat-i-še = b*  
 легкий-А.А 3 = быть.PF сам.2.OBL-ADEL=3 Патимат-OBL-ADEL = 3  
*hama-na h/alja?-as w = aX/a-na.*  
 этот-А.А решить-POT 3 = мочь-IPF-А.А

Патимат плохо учится, но этот пример был такой легкий, что даже Патимат смогла его решить.

(Состояние ожиданий адресата: 'X имеет такую оценочную характеристику МАКС, что его участие в событии Р не ожидается')

(Инструкция адресату о коррекции ожиданий: 'Событие Р имеет место при участии X-а')

Заметим, что оценочная характеристика МАКС может вычисляться коммуникантами в каждом случае по разным качествам. В (15) этим качеством были и умственные способности Патимат, знание о которых слушающий только что получил. В примере (16) оценочная характеристика МАКС вычисляется на основании знаний коммуникантов о мире, в частности, знаний о социальной стратификации жителей деревни, где директор школы – одно из самых уважаемых лиц:

(16) *ši qopt'ul-im-mi dawat-bi-še-qa*  
 мы пригласить-А-PL свадьба-PL-OBL.PL.-ALL  
*maktab-ni direktur-ni žu-ni Xa-qa,*  
 школа-А.OBL директор-А.OBL сам.1.OBL-А.OBL дом-ALL  
*hama-na ša-s lap Xe = b-na*  
 этот-А.А мы.OBL-DAT очень большой = 3-А.А  
*iš w = uxa.*  
 дело 3 = быть.PF

Нас пригласили на свадьбу в дом к самому директору школы, это для нас большая честь.

#### 1.2.1.5. Дискурсивное *wuž*

Дискурсивное *wuž*, как следует из названия, стоит несколько особняком: оно не всегда может быть реализовано в пределах одного предложения и действует скорее на уровне текста.

(17) *haj-na rasul, jiz-da Ganši wo = r-na*  
 вот-А.А Расул мой-А.А сосед COP-1.А.А  
*haj-na žu-na hunāše, ark'ina-nu maktab-e:-qa.*  
 вот-А.А. сам.1.OBL-А.А жена идти.PF-А.А. школа-IN-LAT  
*hama-na haša išlemišex-e wo = r-na*  
 этот-А.А там работать-IPF COP = 2-А.А.  
*mař'allim-ni walli. wuž rasul čoban,*  
 учитель-А.OBL как сам.1 Расул чабан  
*hama-či-lj alla žu-ni Xa?a*  
 этот-А-OBL.4-SUP из-за сам.1.OBL-А.OBL дома  
*sik'ina d-exe-na, ammu ušaR-a-ši-k a*  
 часто NEG-быть-IPF-А.А но ребенок-PL-OBL.PL-COMIT  
*e:χ /-a-na-Xe jičo žu-ni hunāše-na.*  
 2.оставаться-IPF-А-НАВИТ сестра сам.1.OBL-А.OBL жена-А.А

Вот Расул, мой сосед. Вот его жена пошла в школу, она там работает учительницей. Сам Расул – чабан, поэтому его часто не бывает дома, а детьми остается сестра его жены.

В примере (17) речь идет о семье Расула (X), который является своего рода гипертемой данного отрывка – знакомство с его семьей начинается с демонстрации Расула, а члены семьи описываются с его "точки зрения" – жена Расула, дети Расула<sup>9</sup>. В некоторый момент роль текущего топика играет жена Расула, а затем местоимение *wuʒ* маркирует возвращение на роль текущего топика гипертермы Расул.

Для дискурсивного *wuʒ* знаниями адресата являются, таким образом, дискурсивные ожидания:

(Состояние дискурсивных ожиданий адресата: 'Текущим топиком дискурса скорее всего является Y')

(Инструкция адресату о коррекции дискурсивных ожиданий: 'Верни на роль топика гипертему – X')

(18) *fat'imat jetiR = ra uftan-na iči*  
 Патимат довольно = 2 красивый-А.А. девушка  
*wo=r-na. ʒe-qa = d č'ek'-in ulap-bi*  
 COP=2-A.A сам.2.OBL-POSS-NPL большой-А глаз-PL  
*wo = d, k'in-na qow wo = b,*  
 COP = NPL маленький-А.А нос COP = 3  
*siX-in k'ak'-bi, lap ʒag ara-n sili-bi.*  
 густой-А ресница-PL очень белый-А зуб-PL  
*jiʒ aḳa dʒuzju-nʒa haʔ-as*  
 сам лицо точно-А.А делать-POT  
*lap-ʒa = d giʒgiʒje = da wo = d.*  
 очень-EMPH = 4 круглый = 4 COP = 4

Патимат – довольно красивая девушка. У нее большие глаза, маленький нос, густые ресницы и очень белые зубы. Само лицо у нее, правда, слишком круглое.

В примере (18) в качестве гипертемы (X) выступает лицо Патимат, поскольку представления о красоте ассоциируются в основном с лицом человека. Текущими топиками (Y) являются глаза, нос, ресницы, зубы. В последнем предложении происходит возврат к гипертеме "лицо", что и маркируется местоимением *wuʒ*.

Еще один пример. В (19) гипертемой является Магомед, текущим топиком – предки рода Кади:

(19) *ʒe-m-mi, ma-m-m-iši-n at'ababa-bi*  
 тот-А-PL этот-А-PL-OBL.PL-A.NOM.PL предок-PL  
*wo-b-im-mi Gojinč-e:-r, ma-na*  
 COP = NPL-A-PL животновод-PL-NOM.PL этот-А.А  
*ma/hammad kiši wuʒ direktor ix-e:-r.*  
 Магомед мужчина.1 сам.1 директор.1 1.статья-COND = ASS.1  
*ma-m-m-iši-n babas-e:-r*  
 этот-А-PL-OBL.PL-A дед-PL-NOM.PL  
*giʒ-na-n Gojinč-e:-r w = ixa.*  
 сильный-ADJ-A животновод-PL-NOM.PL HPL = статья.PF

Те (предки Кади), ихние (рода Кади) предки были животноводы, он, мужик Магомед, (хотя и) сам директор был, ихние (рода Кади) деды сильные животноводы были.

Представляется перспективным использование для описания дискурсивного *wuʒ* термина *reference point*, предложенного Р. Лангакером [Langacker 1991], о чем замечает в своей работе и С. Кеммер [Kemmer 1993]. *Reference point* – это концептуализация, используемая для доступа к другим концептуализациям. Р. Лангакер отмечает, что топи-

<sup>9</sup> Иначе говоря, ИГ Расул на протяжении данного повествования находится в фокусе эмпатии (см. об этом [Чейф 1982]). Вообще говоря, попадание в фокус эмпатии типично для ИГ, являющихся темой высказывания.

ки могут быть охарактеризованы как 'точки референции', вокруг которых структурируется дискурс. Топик – это выделенная концептуализация, которая действует как своего рода 'когнитивный якорь'; другие, подчиненные концептуализации вводятся в дискурс благодаря своим связям с 'точками референции'. В случае ситуационных топиков более уместно говорить о 'фреймах/сценариях референции', слотами которых могут являться подчиненные концептуализации.

Проанализируем в этих терминах примеры (20) и (21). В (20) такой точкой референции является Расул, по всей видимости, известный коммуникантам. Брат Расула вводится в дискурс посредством указания на его связь с этим "когнитивным якорем" (Расул ← его брат). Местоимение *wiž* сигнализирует о возвращении к исходной точке референции.

(20) *mja saži čož wo = r-na rasul-na,*  
 здесь только брат COP = 1-A.A Расул-A.A  
*wiž rasul wo = r-na Xiw-e:*  
 сам.1 Расул COP = 1-A.A деревня-IN

Здесь только брат Расула, а сам Расул – в деревне.

В предложении (21) в качестве точки референции выступает фрейм дома, посредством активизации которого мы получаем когнитивный доступ к одному из его слотов – участку земли возле дома. Возвращение к дому маркируется с помощью дискурсивного *wiž*.

(21) *jiše-n žiga Xe = d-in wo = d-un,*  
 наш-A место большой = 4A COP = 4-A  
*amta jž Haw wo = d-un k'in-in.*  
 но сам.4 дом COP-4-A маленький-A

Участок у нас большой, а дом – маленький.

Как видим, анализ в терминах 'точка референции/топик' весьма сходен с принятым в данной работе анализом в рамках 'гипертемы/топика'. Возможно, первый из них более 'когнитивен' и глубже, чем второй, однако представляется, что 'гипертемовый' анализ всегда можно развернуть и получить искомый 'глубокий'.

#### 1.2.1.6. Инвариант.

Таким образом, мы рассмотрели базовые значения лексемы *wiž*. Эти значения имеют много общего. Все они относятся к одной и той же дискурсивной задаче говорящего:

Сфокусировать внимание адресата на том, что говорящий знает, что информация об X-е в текущем сообщении противоречит ожиданиям (знаниям) адресата и что в знания об X-е необходимо внести соответствующее исправление.

Более того, эмфатическое местоимение *wiž* ориентировано на весьма конкретный вид знаний адресата об X-е и основанных на них ожиданиях, а именно, оно появляется в ситуации, когда участие X-а в ситуации P имеет низкую/нулевую вероятностную оценку, которая основана на том, что на шкале значений некоторой качественной характеристики (q) X имеет предельное (максимальное/минимальное) значение. При этом коррекции подлежит не позиция X-а на шкале качества, а вероятностная импликация о неучастии X-а в ситуации P.

Более формальная запись инварианта толкований эмфатического *wiž* может быть представлена следующим образом:

(Состояние знаний адресата:

'X имеет невысокую/нулевую вероятностную оценку его вхождения в потенциальное множество Q участников события P, т.к. среди потенциальных членов множества Q он имеет предельный максимальный/минимальный ранг (МАКС) по некоторому качеству q')

(Инструкция адресату о коррекции знаний:

'Измени имплицативное знание об X-е относительно его участия в событии P: X участвует в событии P').

### 1.2.2. Примененное *wiž* в контексте рефлексивизации.

От сильного рефлексива следует отличать конструкции со слабым рефлексивом, в которых эмфатическое местоимение *wiž* определяет одну из наличествующих полных ИГ. Сравним (22) и (23):

(22) *rasul-e: žu-s alš<sub>qin</sub> Xaw*  
Расул-ERG сам.OBL-ERG купить.PF дом

Расул купил себе дом

(23) [*rasul-e: wiž-e: žu-s alš<sub>qin</sub> Xaw*]  
Расул-ERG сам-ERG сам.OBL-DAT купить. PF дом

Расул сам купил себе дом.

В (23) самостоятельное *wiž* служит аппозитивным определением ИГ *rasule:* и не входит в составной рефлексив. Доказательством этого утверждения служит тот факт, что между частями сложного рефлексива не может быть вставлен никакой лексически самостоятельный материал<sup>10</sup>, в то время как (23) допускает следующий перифраз:

(23а.) [*rasul-e: wiž-e: Xaw žu-s alš<sub>qin</sub>*]  
Расул-ERG сам-ERG дом сам-OBL-DAT купить.PF

Расул сам купил себе дом.

### 1.2.3. Сильный рефлексив.

В этом разделе предполагается объяснить строение и употребление цахурских составных рефлексивов исходя из двух функций местоимения *wiž* – функции эмфатического местоимения и функции средства повторной номинации в тексте.

#### 1.2.3.1. Строние составных рефлексивов.

Как уже было показано, цахурский сильный рефлексив состоит из двух местоимений *wiž* в падежах контролера и мишени рефлексивизации. С фонетической точки зрения это сочетание представляет из себя неделимую форму с одним общим ударением. Между частями сложного рефлексива не может быть вставлено никаких самостоятельных слов. Типологически цахурский сильный рефлексив следует, по всей вероятности, отнести к классу композитов. Сравним, например, цахурский материал с ирландским:

(24) *ghortaigh Seán é féin*  
поранил Шон его самого

Шон поранил себя.

Английские местоимения на *-self* исторически также являются композитами. По этому поводу С. Кеммер пишет: "Исторически, местоименный компонент форм на *-self* служил вершиной ИГ, а элемент *-self* был (лексически независимым) адьюнктом при этой вершине, выражая эмфатическую семантику. Со временем элемент *-self* слился с местоимением и стал с необходимостью появляться в случае кореферентности..." [Kemmer 1993]. Однако, на наш взгляд, связь между частями цахурского сложного рефлексива не достигла такой степени, чтобы можно было говорить о конструкции *wiže: wiž* как о единой ИГ. Доказательством этому служит следующий факт, наблюдаемый в цахурском синтаксисе.

В цахурском языке в том случае, когда зависимая предикация выражена масдаром, возможен перевод одной и только одной из зависящих от масдара ИГ в атрибутив (подробнее об этом см. [ЭЦЯ 1997]). Попробуем "подвесить" клаузу, содержащую сильный рефлексив, к главному глаголу, требующему масдара, и попытаемся провести все возможные атрибутивизации.

<sup>10</sup> Возможно вставление усилительной частицы *ža = r(wiže. žar wiž)*.

(25) *baɣram* *inɟamiʃex-e-wo=r* *fat'imat-e:* *jiʒ-e:* *jiʒ*  
 Байрам.NOM верить-IPF-COP = 1 Патимат-ERG сам-ERG сам.NOM  
*geɫ -i-l-qa*  
 бить-MASD-SUP-ALL

Байрам верит, что Патимат себя побила (самое себя)<sup>11</sup>.

(26) *baɣram* *inɟamiʃex-e-wo=r* *fat'imat-e:* *ʒe-ni* *jiʒ*  
 Байрам.NOM верить-IPF-COP = 1 Патимат-ERG сам-А.OBL сам.NOM  
*geɫ -i-l-qa*  
 бить-MASD-SUP-ALL

Байрам верит, что Патимат себя побила (самое себя).

(27) *baɣram* *inɟamiʃex-e-wo=r* *fat'imat-e:* *jiʒ-e:* *ʒe-ni*  
 Байрам.NOM верить-IPF-COP = 1 Патимат-ERG сам-ERG сам-А.OBL  
*geɫ -i-l-qa*  
 бить-MASD-SUP-ALL

Байрам верит, что Патимат себя побила (самое себя).

(28)\* *baɣram* *inɟamiʃex-e-wo=r* *fat'imat-e:* *ʒe-ni* *ʒe-ni*  
 Байрам.NOM верить-IPF-COP = 1 Патимат-ERG сам-А.OBL сам-А.OBL  
*geɫ -i-l-qa*  
 бить-MASD-SUP-ALL

Байрам верит, что Патимат себя побила (самое себя).

(29) *baɣram* *inɟamiʃex-e-wo=r* *fat'imat-ni* *jiʒ-e:* *jiʒ*  
 Байрам.NOM верить-IPF-COP = 1 Патимат-А.OBL сам-ERG сам.NOM  
*geɫ -i-l-qa*  
 бить-MASD-SUP-ALL

Байрам верит, что Патимат себя побила (сама себя/самое себя).

(30) *baɣram* *inɟamiʃex-e-wo=r* *fat'imat-ni* *ʒe-ni* *jiʒ*  
 Байрам.NOM верить-IPF-COP = 1 Патимат-А.OBL сам-А.OBL сам. NOM  
*geɫ -i-l-qa*  
 бить-MASD-SUP-ALL

Байрам верит, что Патимат себя побила (\*сама себя/самое себя).

(31) *baɣram* *inɟamiʃex-e-wo=r* *fat'imat-ni* *jiʒ-e:* *ʒe-ni*  
 Байрам.NOM верить-IPF-COP = 1 Патимат-А.OBL сам-ERG сам-А.OBL  
*geɫ -i-l-qa*  
 бить-MASD-SUP-ALL

Байрам верит, что Патимат себя побила (сама себя/\*самое себя).

(32) \**baɣram* *inɟamiʃex-e-wo=r* *fat'imat-ni:* *ʒe-ni* *ʒe-ni*  
 Байрам.NOM верить-IPF-COP = 1 Патимат-А.OBL сам-А.OBL сам-А.OBL  
*geɫ -i-l-qa*  
 бить-MASD-SUP-ALL

Байрам верит, что Патимат себя побила (сама себя).

(33) *baɣram* *inɟamiʃex-e-wo=r* *fat'imat* *jiʒ-e:* *jiʒ*  
 Байрам.NOM верить-IPF-COP = 1 Патимат-NOM сам-ERG сам.NOM  
*geɫ -i-l-qa*  
 бить-MASD-SUP-ALL

Байрам верит, что Патимат себя побила (сама себя).

(34) *baɣram* *inɟamiʃex-e-wo=r* *fat'imat* *ʒe-ni* *jiʒ*  
 Байрам.NOM верить-IPF-COP = 1 Патимат-NOM сам-А.OBL сам.NOM  
*geɫ -i-l-qa*  
 бить-MASD-SUP-ALL

Байрам верит, что Патимат себя побила (сама себя).

<sup>11</sup> О русском переводе *сама себя/самое себя* и о выборе падежа (эргатив или номинатив) сохраненной ИГ 'Патимат' см. 2.3.1.

(35) *bajram injamišex-e-wo=r fat'imat již-e: že-ni*  
 Байрам.NOM верить-IPF-COP = 1 Патимат-NOM сам-ERG сам-A.OBL

*get, i-l-qa*  
 бить-MASD-SUP-ALL

Байрам верит, что Патимат себя побила (сама себя).

(36)\* *bajram injamišex-e-wo=r fat'imat že-ni že-ni*  
 Байрам.NOM верить-IPF-COP = 1 Патимат-NOM сам-A.OBL сам-A.OBL

*get, i-l-qa*  
 бить-MASD-SUP-ALL

Байрам верит, что Патимат себя побила (сама себя).

Сведем полученные результаты в таблицу (П обозначает падеж, А – атрибутив; таким образом, сочетание ПАП значит, что первое и третье имя сохраняют падеж, а второе переводится в атрибутив).

Из таблицы видно, что сложный рефлексив не составляет единой ИГ (иначе была бы возможной конструкция ПАА). Строки таблицы, соответствующие конструкциям ААП и АПА свидетельствуют, что имя Патимат входит в одну ИГ с рефлексивом, стоящим в том же падеже; вторую же ИГ составляет оставшееся местоимение.

Таким образом, с точки зрения своего строения сильный рефлексив распадается на два компонента. Можно предположить, что исторически один из этих компонентов мог играть роль средства повторной номинации, а другой – эмфатического элемента. В следующем разделе будут высказаны предположения о том, почему эмфатический элемент стал с необходимостью появляться в ситуациях, соответствующих употреблению цахурского сильного рефлексива.

1.2.3.2. Как мы уже видели в п. 1.2, в простом предложении цахурского языка возможен как сильный, так и слабый рефлексив. Мы полагаем, что распределение сильного и слабого рефлексивов в простом предложении может быть функционально обосновано при опоре на основные значения эмфатического *wiž*. Представляется необходимым рассмотреть здесь два вопроса, связанные с функционированием сильного рефлексива. Это вопрос об актантной vs. сирконстантной роли мишени рефлексивизации и о внутренне vs. внешне ориентированных действиях в предикации с кореферентностью двух актантов.

1.2.3.2.1. Центральный или периферийный актанта.

С.Ю. Толдова [Толдова 1997] отмечает, что сильный рефлексив характерен для маркирования кореферентности актантов в случае прототипически переходных глаголов (например, с рамкой [ERG, NOM]). С другой стороны, если мишенью рефлексивизации является сирконстант или послеложно-падежная группа, то сильный рефлексив малодопустим:

(37) *rasul-e: wiž-e: wiž jaralamiša?-u-na*  
 Расул-ERG сам-ERG сам-NOM ранить-PF-A.A

Расул ранил самого себя.

(38) *rasul iljaq-i-na (wiž) žu-qa naž ar-e-nče*  
 Расул.NOM смотреть-PF.A.A сам.NOM сам.OBL-AL зеркало-IN-EL

Расул посмотрел на себя в зеркало.

(39) *gade-j-k'le Gaže-jn dal žu-ni k'ane*  
 мальчик-OBL-AFF видеть-PF-A палка.NOM сам.OBL-A.OBL возле

Мальчик увидел палку возле себя.

Как можно объяснить различное поведение актантов и сирконстантов в качестве мишени рефлексивизации? В качестве грамматического (синтаксического) объяснения может быть предложен принцип со-argument disjoint reference (CDR) [Farmer, Harnish 1987]. Он гласит, что прономинальные аргументы одного предиката с необходимостью некорреферентны. Поскольку цахурское местоимение *wiž* может в ряде случаев вести

	fat'imate:jiže:již (самое себя)	fat'imat jiže:již (сама себя)
ППП	+(25)	+(33)
ПАП	+(26)	+(34)
ППА	+(27)	+(35)
ПАА	-(28)	-(36)
АПП	+(29)	+(29)
ААП	+(30)	-(30)
АПА	-(31)	+(31)
ААА	-(32)	-(32)

себя как прономинал (см. 1.2), то оно не должно употребляться при кореферентности актантов одного предиката (37). Можно предположить, что в непрототипически переходной ситуации (38) ИГ в локативе может трактоваться как переходный случай между актантом и сирконстантом, что приводит к допустимости маркирования кореферентности местоимением *wiž*. Любопытно, что допустимость *wiž* возрастает при отсутствии контролируемости действия (что уменьшает транзитивность ситуации и приводит к тому, что высказывание воспринимается как информация о первом актанте, а второй актант низводится до роли сирконстанта). С.Ю. Толдова объясняет допустимость *wiž* в (40) и (41) тем, что в данных примерах описываются "неконтролируемые" в разных смыслах ситуации: в (40) контролером местоимения является не лицо, в (41) явным образом указывается, что действие произошло случайно.

(40) *almalle gol-e:qa či-qa-(žu = b) iljaq-i*  
оссл.NOM лужа-IN-ALL сам-ALL-(EMPH = 3) смотреть-PF

Осел посмотрел на себя в луже.

(41) *ajsat-i-k le již birdan naqar-e:-nče Ga = j-že:.*  
Айшат-OBL-AFF сам. 2. NOM случайно зеркало-IN-EL 2=видеть. PF  
*pažmanixa-na*  
огорчиться. PF-A.A

Айшат увидела случайно себя в зеркало и расстроилась.

Итак, местоимение *wiž* в позиции актанта в соответствии с принципом CDR не может трактоваться как кореферентное другой актантной ИГ в данной предикации. Синтаксически роль "второго" *wiž*, таким образом, состоит в том, чтобы "подавить" принцип CDR и сделать кореферентность возможной.

При таком "синтаксическом" объяснении возникает два вопроса. Во-первых, в чем состоит функциональная природа принципа CDR? И, во-вторых, почему именно второе *wiž* используется для его подавления?

Очевидно, в большинстве случаев (см. 1.2.3.2.2) прототипической является ситуация, когда основные участники сцены, описываемой неким предикатом, различны<sup>12</sup>. Случай, когда один участник играет одновременно две разные роли, прагматически маркирован. Поэтому при анализе предложения

(42) *rasul-e: wiž get-u*  
Расул-ERG сам.NOM бить-PF

слушающий, исходя из неестественности совпадения референтов двух центральных актантов, приходит к выводу, что местоимение *wiž* здесь относится к другому референту, ранее упомянутому в дискурсе. Для того, чтобы описать прагматически маркированную ситуацию кореферентности двух актантов, необходимо употребить некоторым образом маркированную форму.

<sup>12</sup>Что касается сирконстантных ИГ, то они, на наш взгляд, нейтральны в отношении возможной кореферентности, ср. *убил его* естественнее, чем *убил себя*, но *пришел к нему домой* и *пришел к себе домой* в равной степени описывают нормальное положение дел.

Каким же образом строится эта маркированная форма? Она состоит из местоимения *wiž* в падеже мишени рефлексивизации, что соответствует прономинальной функции данного слова, и местоимения *wiž* в падеже контролера рефлексивизации, что соответствует эмфатической функции. Второе *wiž* фокусирует внимание адресата на том, что говорящий знает, что информация о референте первого *wiž* в текущем сообщении противоречит ожиданиям адресата (адресат ожидает некорреферентности) и что в предположения о референте первого *wiž* необходимо внести соответствующее исправление.

Если вернуться теперь к инварианту толкования эмфатического местоимения *wiž* (1.2.1.6), то можно заметить, что эмфатическое местоимение *wiž* появляется в ситуации, когда участие X-а в ситуации P имеет низкую/нулевую вероятностную оценку, которая основана на том, что на шкале значений некоторой качественной характеристики (q) X имеет предельное (максимальное/минимальное) значение. При этом коррекции подлежит не позиция X-а на шкале качества, а вероятностная импликация о неучастии X-а в ситуации P. В случае сильного рефлексива (пример (37)) участие Расула в роли претерпевающего имеет очень низкую вероятностную оценку, которая основывается на прагматической шкале возможности участия произвольного референта в ситуации "быть пораненным Расулом". Понятно, что на этой шкале Расул занимает позицию ниже любой другой ИГ (Расул скорее поранил кого бы то ни было, чем самого себя). Эмфатическое *wiž* не меняет позиции Расула на этой шкале, а лишь сообщает, что выведенная адресатом импликация в данном случае не соответствует действительности<sup>13</sup>.

Показательно употребление сильного рефлексива в зависимой предикации. Поиски референта слабого рефлексива происходят в другой предикации, тогда как употребление сильного рефлексива снимает возможность дистанционной анафоры:

(43) *rasul<sub>i</sub> in ɤmišex-e-wo=r bajram-e;<sub>j</sub> wuž<sub>i</sub> get<sub>0</sub>-i-l-qa*  
 Расул.NOM верить-IPF-COP=I Байрам-ERG сам.NOM бить-MASD-SUP-ALL

Расул верит, что Байрам его побил.

(44) *rasul<sub>i</sub> in ɤmišex-e-wo=r bajram-e;<sub>j</sub> wuž-e: wuž<sub>j</sub> get<sub>0</sub>-i-l-qa*  
 Расул.NOM верить-IPF-COP=I Байрам-ERG сам-ERG сам.NOM бить-MASD-SUP-ALL

Расул верит, что Байрам самого себя побил.

#### 1.2.3.2.2. Внутренне и внешне ориентированные действия.

Однако не все предикаты по своей семантике предполагают несовпадение участников описываемой ими ситуации. С этой точки зрения можно выделить внешне и внутренне ориентированные действия (*außengerichtete vs. eigenorientierte Handlungen* у Э. Кёнига). Так, глаголы типа *защищать, одевать, мыть* в отличие от, скажем, *атаковать, обвинять, ненавидеть* в значительной степени безразличны к совпадению / несовпадению референтов своих центральных актантов<sup>14</sup>. Такое "безразличие" должно приводить к тому, что на прагматической шкале возможного участия с ролью *i* в некоторой внутренне ориентированной ситуации у ИГ, уже участвующей в данной ситуации с ролью *j*, будет такой же ранг, что и у любой другой ИГ. Отсюда следует вывод, что для маркирования кореферентности в предложении с внутренне ориентированным предикатом должен употребляться слабый рефлексив, то есть одиночное местоимение *wiž*. Сравним (45), где внешне ориентированный предикат *знать* не допускает маркирование кореферентности слабым рефлексивом, и (46), где местоиме-

<sup>13</sup>Из базовых значений эмфатического *wiž* здесь, скорее всего, реализуется неожиданное (неестественность совпадения участников ситуации) значение.

<sup>14</sup>На наш взгляд, очень характерно, что при внутренне ориентированных глаголах в русском языке возможна глагольная рефлексивизация (*защищаться, одеваться, мыться*), в то время как при внешне ориентированных глаголах стратегия рефлексивизации именная (*\*обвиняться, но обвинить (самого) себя*).

ние *wiʒ* при внутренне ориентированном предикате *мыть* допускает антецедент как внутри, так и вне предикации:

(45) *rasul-u-kʔe wiʒ ac'a*  
Расул-OBL-AFF сам.NOM знать. IPF

\*Расул себя знает. / Расул его знает.

(46) *gad-e: wiʒ hojʔai*  
мальчик-ERG сам.NOM мыть. IPF

Мальчик моется. / Мальчик его моет.

1.2.4. Таким образом, была продемонстрирована связь эмфатического местоимения и местоимения, употребляющегося в контексте кореферентности в цахурском языке. Оказалось возможным описать составной рефлексив, опираясь на семантику местоимения *wiʒ* в эмфатическом употреблении и на сведения о его функционировании в роли средства повторной номинации в тексте. В следующем разделе будет рассмотрен в основном русский материал и будет показано, что поведение русского эмфатического местоимения *сам* в контексте рефлексивизации во многом параллельно использованию цахурских сильных рефлексивов.

## 2. РУССКИЕ СОСТАВНЫЕ РЕФЛЕКСИВЫ

Русское возвратное местоимение *себя* может маркировать кореферентность как актантов одной предикации, так и актантов главной и зависимой предикации в некоторых полипредикативных конструкциях:

(47) *С новым временем года поздравляю себя...* (Бродский).

(48) *Царь велел себя раздеть...* (Ершов).

Как уже было отмечено, местоимение *себя* довольно часто встречается в сопровождении эмфатического местоимения *сам*. В [Кибрик, Багданова 1995] выделяется три типа подобных конструкций: тип "сам себя", тип "самого себя" и тип "себя самого".

(49) – *Какой вздор! Не обманывай-то хоть сам себя* (Булгаков).

(50) *Тогда, что же поделаешь, приходится разговаривать ему с самим собою* (Булгаков).

(51) *На фотографии он нашел мать, брата, а затем и себя самого.*

2.1. Тип "себя самого" встречается довольно редко. Он появляется только при сильной контекстуальной или констатирующей поддержке. Практически конструкция "себя самого" соответствует добавляемому или контрастивному значению эмфатического местоимения *сам*, "навешенного" на рефлексив. Соответственно контекст должен предполагать либо возможность добавления X-а к множеству подвергающихся некоторому воздействию с его же стороны (52), либо возможность исключения всех членов этого множества в пользу X (53).

(52) = (51) *На фотографии он нашел мать, брата, а затем и себя самого.*

(53) *Чем кивать на других, посмотри лучше на себя самого!*

2.2. Типы "самого себя" и "сам себя", на наш взгляд, являются функциональными аналогами цахурского сильного рефлексива<sup>15</sup>. Они употребляются только в пределах одной предикации в случае актантной роли мишени рефлексивизации, а также при предикатах, выражающих внешне ориентированные действия.

(54) *Он увидел рядом с собою дуло пистолета.*

(55) *?Он увидел рядом с самим собой / сам рядом с собою дуло пистолета.*

(56) *Он критиковал сам себя / самого себя.*

(57) *Он критиковал себя.*

<sup>15</sup>Будем называть эти два типа русскими сильными рефлексивами.

Примеры (54) и (55) демонстрируют предпочтительность простого *себя* в случае сирконстантной роли мишени, а примеры (56) и (57) – предпочтительность сильного рефлексива в случае актантной роли мишени.

Русские внутренне ориентированные предикаты обычно используют глагольную стратегию рефлексивизации (морфема *-ся*). Заметим, что эта морфема восходит к местоимению *себя* (ср. обычные "школьные" перифразы типа *защищается = защищает себя*). Внешне ориентированные предикаты используют сильный рефлексив<sup>16</sup>:

(58) ? *В гибели своего друга он обвиняет себя.*

(59) *Он обвиняет сам себя / самого себя.*

Таким образом, можно провести функциональные параллели между цахурским сильным рефлексивом (*миџе: миџ*) и русским "сильным рефлексивом" (конструкция "самого себя" и "сам себя") с одной стороны и цахурским слабым рефлексивом (*миџ*) и простым русским *себя* с другой стороны. И русские, и цахурские "сильные рефлексивы" являются сигналами о том, что вопреки ожиданиям слушающего один участник играет в ситуацию две разные центральные роли. Вследствие этого русский сильный рефлексив, как и цахурский, в зависимости предикации снимает возможность дистанционной анафоры.

(60) *Иван, велел Петру, [0, приготовить себе,<sub>1</sub> ужин].*

(61) *Иван, велел Петру, [0, приготовить ужин самому себе].<sup>17</sup>*

В (60) простой рефлексив может контролироваться как из главной предикации (этот вариант предпочтительнее), так и из зависимой предикации. Любопытно, что контроль из зависимой предикации (контролером является 0) для слабого рефлексива возможен только в случае неактантной роли мишени<sup>18</sup>. В (61) сильный рефлексив полностью исключает возможность поиска антецедента в главной предикации.

Анализ референции рефлексива в юссивных компонентах позволяет высказать дополнительные соображения о конструкции "себя самого". Рассмотрим (62).

(62) *После того как шут, передразнивая, изобразил всех придворных, король велел ему, изобразить себя самого,<sub>1</sub>*

Составной рефлексив *себя самого* по "требованиям", накладываемым на антецедент, совпадает с простым рефлексивом *себя*. Сравним (60) и (62): в обоих предложениях при возможности контроля со стороны 0 внутри зависимой предикации дистанционная анафора оказывается предпочтительнее. Мы делаем вывод, что из трех конструкций: "сам себя", "самого себя" и "себя самого" только первые две соотносятся с цахурским сильным рефлексивом. Их употребление определяется определенными синтаксическими условиями, и эмфатическая семантика местоимения *сам* предстает здесь в наиболее общем, "инвариантном" виде. Применительно к ним можно говорить о происходящем процессе грамматикализации (в цахурском языке употребление сильных рефлексивов уже является частью грамматики).

Что же касается конструкции "себя самого", то в ней предлагается усматривать простой рефлексив, на который "навешена" семантика, привносимая добавляющим (и, возможно, контрастивным) *сам*. Теперь становится понятной удивительная нераспространенность этой конструкции. Во-первых, для нее необходима контекстуальная или

<sup>16</sup>Форма на *-ся* от внешне ориентированного предиката обычно маркирует пассивизацию (*Раскольников обвиняется в убийстве*). Любопытно, что если частица *-ся* при внешне ориентированном предикате не является маркером пассивизации, то она может трактоваться как реципрокальная (ср. *биться, целоваться, обниматься*).

<sup>17</sup>В данном предложении конструкция "самого себя", а не "сам себя". О причинах невозможности "сам себя" при юссивных глаголах (*велеть, приказать* и т.д.) см. ниже.

<sup>18</sup>Так, например, невозможно следующее расставление индексов кореферентности, если мишень – центральный актанта:

(i) *Иван, велел Петру, 0, аплодировать себе,*

Это объясняется неестественностью простого рефлексива на месте центрального актанта в (i) *Петр аплодировал себе* при нормальном (ii) *Петр приготовил себе ужин*, где рефлексив находится в позиции факультативного актанта.

конситуационная поддержка. Во-вторых, в пределах простого предложения простой рефлексив употребляется довольно редко: внутренне ориентированные глаголы тяготеют к глагольной стратегии рефлексивизации, и употребление простых рефлексивов ограничивается факультативными и сирконстантными ролями, как например, в (63).

(63) *Иван приготовил себе ужин.*

Однако таким ролям несвойственно попадать в фокус контраста, в то время как добавляющая и контрастивная семантика имплицитует его в большой степени. Более того, как только периферийная роль благодаря контекстуальной поддержке попадает в этот фокус, она выдвигается "на первый план" и в коммуникативном смысле становится одной из главных ролей, что влечет за собой возможность появления сильного рефлексива:

(64) *Сначала Иван приготовил ужин родителям, а затем себе самому / самому себе.*

Очевидно, конструкция "себя самого" наиболее употребительна во вставленных предикациях, где рефлексив *себя* контролируется из главного предложения (например, (62)). В этом случае он может играть одну из центральных ролей в зависимой предикации, а попадание в фокус контраста не приводит к конкуренции с сильными рефлексивами, так как сильные рефлексивы не допускают дистанционной анафоры.

2.3. "Сам себя" или "самого себя".

Итак, русские конструкции "сам себя" и "самого себя" употребляются в контекстах, аналогичных контекстам, в которых появляются цахурские сильные рефлексивы. Поэтому мы определили эти две конструкции как русские сильные рефлексивы. Возникает вопрос, чем отличаются эти две конструкции. Предлагается следующее решение этого вопроса: конструкции "сам себя" и "самого себя" употребляются в зависимости от того, с какой из ролей – ролью контролера или ролью мишени – совпадает фокус эмпатии говорящего. Для того, чтобы показать это, представляется необходимым сделать два экскурса. В первом экскурсе мы вернемся к цахурскому материалу и покажем, что в принципе в фокусе эмпатии могут находиться как одна, так и другая роль. Во втором экскурсе мы вслед за А.Е. Кибриком [Кибрик 1995] обратимся к даргинской рефлексивизации. Сравнение материалов этих языков с русским поможет объяснить употребление русских сильных рефлексивов.

2.3.1. Экскурс 1. Нейтральная стратегия в цахурском языке.

Напомним, что для выражения кореферентности внутри одной клаузы во многих дагестанских языках, в том числе и в цахурском, может употребляться сильный рефлексив. Одна из кореферентных ИГ (какая – будет обсуждаться ниже) остается без изменений, другая опускается, а в клаузу вводится еще два слова: это местоимение *wuž* в падеже сохраненной и опущенной ИГ, например:

(65) *jed-i-š-e                      že-š-e                      již                      k'elerxɪn*  
 мать-OBL-AD-EL    сам-OBL-AD-EL    сам. NOM            забыть.2.PF

Мать забыла про самое себя.

В связи со сформулированным правилом возникает вопрос о стратегии кореферентного опущения. С.Ю. Толдова [Толдова 1997], исследуя цахурскую рефлексивизацию, показала, что обычно сохраняется наиболее агентивная ИГ, т.е. стратегия акторная. Тем не менее засвидетельствованы случаи, когда эта стратегия нарушается. Дело в том, что в цахурском языке большую роль играет коммуникативное выделение, и в частности, такая деталь "упаковочного компонента", как точка зрения (фокус эмпатии). Оказывается, что сохраняется та ИГ, которая соответствует находящейся в фокусе эмпатии роли. Рассмотрим, например, (66) и (67) (эти примеры сочинены информантом специально, чтобы продемонстрировать различаемый им нюанс):

(66) *xorbi                      himaʎa,                      bajram                      wuž-e                      wuž                      get-u*  
 обман. NOM            делать.PRH            Байрам-NOM    сам-ERG            сам.NOM            бить.1-PF  
*menni                      šawa-ža=r                      deš*  
 больше                    кто.ERG-EMPH=1    нет

Не обманывай, Байрам сам себя побил, а больше никто (никто другой его не побил).

(67)	<i>xorbi</i>	<i>himaʔa,</i>	<i>bajram-e:</i>	<i>wuʒ-e:</i>	<i>wuʒ</i>	<i>get-u</i>
	обман. NOM	делать-PRH	Байрам-ERG	сам-ERG	сам-NOM	бить.1-PF
	ʒe-na	deʒ				
	другой.NOM-A.A	нет				

Не обманывай, Байрам самого себя побил, а не другого (никого другого он не побил).

В (66) исходной точкой сообщения является представление о Байраме в роли избытого: сообщается о тождестве бьющего побитому. В (67) же, наоборот, в фокусе эмпатии находится роль Байрама как бьющего; утверждается, что на роль избытого другой кандидатуры не имеется.

Таким образом, мы приходим к следующему выводу: немаркированной является такая ситуация, когда в фокусе эмпатии находится наиболее агентивная в данной клаузе роль, что соответствует акторной стратегии кореферентного опущения. С другой стороны, в определенных коммуникативных условиях оказывается необходимым подчеркнуть, что в фокусе эмпатии находится другая роль; тогда мы получаем пример типа (66).

Отметим особо, что возможность рефлексивизации "и в ту и в другую сторону" происходит из того, что в цахурском языке стратегия рефлексивизации выбирается в соответствии не с синтаксическими позициями кореферентных ИГ, а в соответствии с их семантическими ролями. Поэтому в отличие от рефлексивизации "по синтаксическим правилам" (как, например, в русском или в других языках с подлежащим), где контролер определяется исключительно положением кореферентных ИГ в синтаксической структуре, цахурская рефлексивизация "не замутнена" синтаксическими ограничениями.

### 2.3.2. Экскурс 2. Нейтральная стратегия в даргинском языке.

Как и в цахурском языке, в ицаринском диалекте даргинского языка рефлексивизация выражается составным рефлексивом, состоящим из двух местоимений *ca = w*, одно из которых стоит в фиксированном падеже (генитиве), а падеж другого местоимения зависит от падежа мишени рефлексивизации. При этом ИГ-контролер рефлексивизации сохраняется, а ИГ-мишень заменяется на указанный составной рефлексив.

А.Е. Кибрик отмечает, что сохраняется та ИГ, которая соответствует находящейся в фокусе эмпатии роли. Он предлагает рассмотреть следующие примеры:

(68)	а.	<i>musa-l</i>	<i>caratajir</i>	<i>cin-na</i>	<i>ca=w</i>	<i>c'aq'il</i>	<i>gap'irq'aca=w</i>
		Муса-ERG	чем.другие	сам-GEN	сам.NOM=1	больше	хвалить=1

Муса хвалит больше самого себя, чем других.

б.	<i>musa</i>	<i>caratajir</i>	<i>cin-na</i>	<i>cin-ni</i>	<i>c'aq'il</i>	<i>gap'irq'aca=w</i>
	Муса-NOM	чем другие	сам-GEN	сам-ERG	больше	хвалить=1

Муса больше сам, чем другие, хвалит себя.

(69)	а.	<i>musa-j</i>	<i>caratajir</i>	<i>cin-na</i>	<i>ca=w</i>	<i>c'aq'il</i>	<i>w=ivaqu</i>
		Муса-DAT	чем другие	сам-GEN	сам.NOM=1	больше	1=любить

Муса любит больше самого себя, чем других.

б.	<i>musa</i>	<i>caratajir</i>	<i>cin-na</i>	<i>cin-ij</i>	<i>c'aq'il</i>	<i>w=ivaqu</i>
	Муса-NOM	чем другие	сам-GEN	сам-DAT	больше	1=любить

Муса больше сам, чем другие, любит себя.

Различия между а. и б. автор объясняет в терминах смены фокуса эмпатии. В вариантах (а) примеров (68–69) ситуация "хвалить"/"любить" описывается с точки зрения того, кто хвалит/любит, т.е. в фокусе эмпатии находится участник с ролью анегса/

	фокус эмпатии на акторе	фокус эмпатии на претерпевающем
даргинский	musal <sub>Erg</sub> cinna <sub>Gen</sub> saw <sub>Nom</sub> gar'irq'acaw	mu <sub>Nom</sub> cinna <sub>Gen</sub> cinni <sub>Erg</sub> gar'irq'acaw
цахурский	gasule <sub>Erg</sub> wuʒe <sub>Erg</sub> wuʒ <sub>Nom</sub> getu	gasul <sub>Nom</sub> wuʒe <sub>Erg</sub> wuʒ <sub>Nom</sub> getu
русский	Иван <sub>Nom</sub> самого <sub>Acc</sub> себя <sub>Acc</sub> любит	Иван <sub>Nom</sub> сам <sub>Nom</sub> себя <sub>Acc</sub> любит

/экспериментера. Имя участника в этой роли стоит в соответствующем падеже (эргативе/дательном) в начале предложения. Коррелятивный актанта с другой ролью рефлексивизируется с сохранением его падежа.

Если в фокусе эмпатии находится роль пациенса/стимула, то соответствующее полное имя в нужном падеже (номинативе) выносится в начальную позицию, а рефлексивизируется позиция актанта с другой ролью.

Таким образом, даргинский материал во многом параллелен цахурскому. Несмотря на непонятное оформление "второго рефлексива" в даргинском генетиве: он не копирует морфологическую форму ни одной из коррелятивных именных групп. На наш взгляд, этот факт может служить косвенным указанием на то, что, говоря о сильном рефлексиве как о результате процесса усиления некоторого средства повторной номинации эмфатическим местоимением, не следует тем не менее воспринимать этот эмфатический элемент как "определяющий" анафорическое местоимение и вследствие этого обязательно копирующий его падежные характеристики, как это происходит, когда эмфатическое местоимение относится к ИГ. В случае сильных рефлексивов эмфатический элемент модифицирует скорее всю конструкцию в целом, поэтому его морфологические характеристики во многом произвольны.

### 2.3.3. Фокус эмпатии и русский сильный рефлексив.

Итак, мы показали, что в случае коррелятивности актанта одного предиката ситуация, описываемая данным предикатом, может рассматриваться с точки зрения любой из двух ролей. В цахурском и даргинском языках проявлением различных точек зрения (точки зрения актанта и точки зрения претерпевающего) являются разные контролеры рефлексивизации. Та ИГ, которая соответствует находящейся в фокусе эмпатии семантической роли, сохраняется и контролирует сильный рефлексив.

Русские конструкции "самого себя" и "сам себя", на наш взгляд, также различаются в соответствии с фокусом эмпатии: конструкция "самого себя" соответствует представлению ситуации с точки зрения актанта, а конструкция "сам себя" – с точки зрения претерпевающего.

В таблице 2 представлены даргинские, цахурские и русские предложения с сильными рефлексивами. Как нам представляется, во всех трех языках выделяются следующие оппозиции:

- 1) сильный vs. слабый рефлексив;
- 2) фокус эмпатии на акторе vs. на претерпевающем.

Сильный рефлексив, как было показано раньше, призван маркировать прагматически неестественную ситуацию коррелятивности "там, где ее не должно быть", там, где слушающий ее не ожидает. Во всех трех языках оппозиция сильный vs. слабый рефлексив маркируется сходным образом. Сильный рефлексив состоит из двух слов. Одно из этих слов в одиночном употреблении маркирует прагматически нейтральный случай коррелятивности (когда у слушающего нет "отрицательных ожиданий"). Второе слово, являясь определением полной ИГ, передает описанную выше эмфатическую семантику. Можно предположить, что в случае сильных рефлексивов оно определяет конструкцию в целом, поэтому конкретно-языковые реализации его морфологического оформления могут быть различными: в цахурском языке это повтор падежа контролера, в даргинском – генетив, а в русском – согласование с мишенью либо контролером.

	Эмфатическое местоимение	Контекст сильного рефлексива	Контекст слабого рефлексива	Зависимая предикация	Другое предложение
цахурский	<i>ниџ</i>	<i>ниџе·ниџ</i>	<i>ниџ</i>	<i>ниџ</i>	<i>ниџ, тана</i>
багвалинский	<i>ewda</i>	<i>ewda</i>	<i>ewiewda</i>	<i>ew</i>	<i>ow</i>
русский	<i>сам</i>	<i>сам себя, са-мого себя</i>	<i>себя, -ся</i>	<i>себя, он</i>	<i>он</i>
немецкий	<i>selbst</i>	<i>sich selbst</i>	<i>sich</i>	<i>er</i>	<i>er</i>
английский	<i>himself</i>	<i>himself</i>	<i>himself</i>	<i>he/himself</i>	<i>he</i>
французский	<i>même</i>	<i>lui-même, soi-même, se</i>	<i>se, lui, soi</i>	<i>lui (il)</i>	<i>lui (il)</i>

Вторая оппозиция, последовательно проводимая представленными языками, касается вопроса о том, какая роль находится в фокусе эмпатии. В цахурском и даргинском языках информация об этом заключена в падеже сохраненной ИГ – этот падеж соответствует той семантической роли, с точки зрения которой описывается ситуация. В русском языке контролером рефлексивизации принудительно является подлежащее, поэтому цахурско-даргинская стратегия маркирования фокуса эмпатии путем сохранения соответствующей ИГ здесь невозможна. Поскольку полная ИГ неизбежно остается в именительном падеже, оппозиция "по точке зрения" должна маркироваться в сильном рефлексиве, в результате чего получается две конструкции – "самого себя" и "сам себя" в качестве аналогов к цахурскому *ниџе·ниџ*.

Следует отметить, что оппозиция "по точке зрения" не является эквиополентной. Представляется, что рассмотрение события с точки зрения его наиболее активного участника является предпочтительным, "дефолтным". В этом смысле немаркированной оказывается русская конструкция "самого себя". Она может встречаться в большем числе синтаксических контекстов, чем конструкция "сам себя". Рассмотрим лишь пару примеров.

Во-вторых, некоторые роли настолько "слабы" по сравнению с ролью актора, что невозможно представить себе ситуацию "с их точки зрения". Этим объясняется невозможность (70). В (71) же ситуация представляется с "дефолтной" точки зрения: в фокусе эмпатии наиболее агентивная ИГ – подлежащее.

(70)\* *Он положил пистолет рядом сам с собой.*

(71) *Он положил пистолет рядом с самим собой.*

Во-вторых, тип "самого себя" предпочтителен в императивах, а также в юссивных компонентах – "косвенных императивах" по выражению Диксона [Dixon 1979]: в этих конструкциях в фокусе эмпатии находится контролер действия<sup>19</sup>. Имеем поэтому:

(72) *Познай самого себя / ?сам себя!*

(73) *Король велел художнику нарисовать самого себя / \*самому себя.*

Напоследок хотелось бы сделать еще одно замечание, касающееся русских сильных рефлексивов. Речь идет о связанном употреблении компонента *сам-* в русских сложных словах. В [Кибрик 1995] показано, что сложные слова с инкорпорированным *сам-* могут быть образованы как от возвратных конструкций (РЕФЛ-деривация), так и от конструкций с независимым *сам* (САМ-деривация). Остановимся на РЕФЛ-деривации.

<sup>19</sup>Так же устроены конструкции с двухместными фазисными и модальными глаголами.

РЕФЛ-деривация призвана образовывать существительные, описывающие некоторую ситуацию (*nomina actionis*), которая соответствует предикату с кореферентностью двух актантов. Оказывается, что материалом для РЕФЛ-деривации могут служить только конструкции с сильным рефлексивом. Действительно, в случае слабого рефлексива деривация оказывается невозможной: \**самопокупка* ← *он покупает себе дом* (сирконстантная роль мишени), \**самоодевание* ← *он одевается* (внутренне ориентированное действие). Теперь становится понятным наличие в продуктах РЕФЛ-деривации компонента *сам-*, а не компонента *себя-*: любое сложное слово с инкорпорированным *сам* может быть перефразировано выражением, содержащим слово *сам*, но не любая конструкция, содержащая *себя*, а лишь конструкция, содержащая сильный рефлексив (*сам себя* либо *самого себя*) может быть "свернута" в сложное слово.

А.Е. Кибрик различает сложные слова – результаты РЕФЛ-деривации, восходящие к разным типам сильных рефлексивов. Например, *самозащита* наиболее нейтрально перефразируется выражением *защищает сам себя*. В фокусе эмпатии описываемой этим словом ситуации находится роль объекта (того, кого защищают), и неожиданным является то, что защищаемый и защищающий – одно и то же лицо. Однако имеются сложные слова с другой возвратной деривацией, а именно восходящие к конструкции *самого себя*. Так, фокусом эмпатии в слове *самоуважение* является субъектная роль участника, что подтверждается нейтральным перифразом *Х уважает самого себя*.

### 3. ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОБОБЩЕНИЯ

В предыдущих разделах были проведены типологические параллели между цахурским и русским материалом. Проведенный анализ показал, что в этих типологически разнотипных языках много общего. Во-первых, в обоих языках существует лексема, передающая эмфатическую семантику, инвариант которой предложен в 1.2.1.6. Примечательно, что во многом совпадают и частные значения этого инварианта. Во-вторых, в обоих языках в определенных контекстах употребляются так называемые сильные рефлексивы, которые структурно и функционально удается сопоставить с сочетанием некоторого средства повторной номинации, используемого также и в других контекстах, и эмфатического элемента. В-третьих, сильные рефлексивы в обоих языках оказываются чувствительны к фокусу эмпатии. Заметим, что точка зрения – это частный случай точки референции, использующейся при описании одного из эмфатических значений (1.2.1.5).

Полученные выводы вызывают несколько вопросов, связанных с типологией рефлексивизации вообще. Один из этих вопросов – какие аналоги рассмотренных конструкций представлены в других языках. В таблице 3 приведены материалы языков, известных автору. В первой графе представлено местоимение, передающее рассмотренную эмфатическую семантику в примененном употреблении. Во второй и третьей графах представлены единицы, встречающиеся в пределах одной предикации в контекстах, соответствующих цахурско-русским сильным (актант, внешне ориентированный глагол) и слабым (сирконстант, внутренне ориентированный глагол) рефлексивам. В четвертой графе указано средство повторной номинации в зависимой предикации, имеющее antecedent в главной<sup>20</sup>. Наконец, в пятой графе указаны средства повторной номинации, встречающиеся в независимом предложении.

Из таблицы видно, что во всех рассматриваемых языках присутствуют два ортогональных средства – повторной номинации и эмфатическое. Средства повторной номинации некоторым (различным по языкам) образом делят шкалу, которую можно назвать шкалой расстояния до antecedenta: так, в цахурском языке граница между

<sup>20</sup>Возможно, в рамках этой графы следует различать каузативы, собственно сентенциальные актанты, глаголы говорения, сентенциальные сирконстанты.

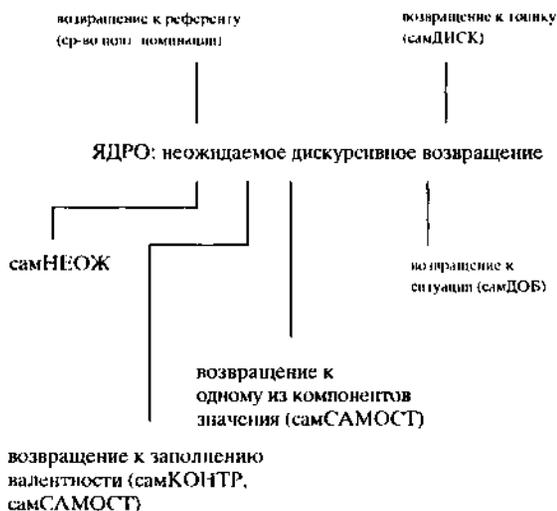
местоимениями *wiż* и *tana* проходит на уровне независимого предложения, в русском и английском – на уровне зависимой предикации, в немецком местоимении *sich* употребляется только в пределах одной предикации, а начиная с зависимой предикации функционирует местоимение *er*. В русском и французском языках на некотором участке шкалы оказывается параллельно возможной глагольная стратегия рефлексивизации. В контексте сильного рефлексива происходит пересечение эмфатической единицы и средства повторной номинации: образующееся выражение либо состоит из этих двух средств (цахурский, русский, немецкий, французский), либо совпадает с эмфатической единицей (багвалинский, английский). Обслуживающее левую границу шкалы расстояний до antecedента местоимение может как совпадать с эмфатическим (цахурский, английский, багвалинский), так и не совпадать (русский, немецкий, французский).

Отсюда следует другой вопрос – как связаны эмфатическая функция и функция повторной номинации в тех языках, где для этих функций используется одно слово? Представляется, что можно указать как минимум два параметра, объединяющие две данные функции. В качестве одного из этих параметров можно назвать дискурсивные ожидания слушающего. Представляется, что у коммуникантов имеется некоторое общее конвенционализованное знание о том, как должен развиваться дискурс. Можно предположить, что в общем случае развитие дискурса может быть графически сопоставлено скорее с вектором, исходящим из точки общих сведений говорящего и слушающего и направленным в некоторую точку, соответствующую знаниям коммуникантов после процесса коммуникации, чем с "беспорядочным блужданием" в этом пространстве, возвращением в точку, где коммуниканты уже находились какое-то время назад и т.д. Дискурсивные ожидания слушающего, таким образом, состоят, в частности, в том, что каждый новый квант дискурса продвигает его вперед по этому вектору. Общим же в функции эмфатических элементов и средств повторной номинации является указание на некоторый неожиданный<sup>21</sup> "откат" в процессе дискурса, возвращение к тем референтам, тем точкам, через которые коммуниканты уже "проходили".

Другой когнитивный параметр, объединяющий эмфатические элементы и средства повторной номинации – это близость доступа. Вот что С. Кеммер пишет об английском *himself* как средстве повторной номинации и эмфатическом элементе: "... тот референт дискурса, с которым связано местоимение на *-self*, наиболее близок в том смысле, что он легко доступен (т.е. легко идентифицируется как искомый референт) благодаря концептуальной выделенности его antecedента" [Kemmer 1993]. Antecedent средства повторной номинации, обслуживающего левый конец шкалы, легко доступен, так как был активирован практически только что. Также легко доступна и ИГ, маркированная эмфатическим местоимением: вспомним, например, что в случае дискурсивного эмфатического местоимения эта ИГ является точкой референции, благодаря которой коммуниканты получают доступ к другим активированным в процессе дискурса референтам.

Тот факт, что в ряде языков эмфатическая функция и функция повторной номинации объединены в рамках одной лексемы, помогает представить когнитивно-ориентированную модель полисемии подобных единиц. Центральной их когнитивной функцией, на наш взгляд, можно считать функцию "неожиданного коммуникантами вследствие конвенциональных сведений об устройстве дискурса возвращения к одной из предыдущих точек дискурса". Выделенные в 1.2 базовые значения эмфатического местоимения, а также средства повторной номинации расположатся в этой модели следующим образом:

<sup>21</sup> Безусловно, такой "откат" представляется неожиданным лишь в самом общем случае. Например, ряд предикатов (таких как каузативные, юссивные, предикаты типа *хотеть* или *бояться* (делать ч.-л.)), наоборот, предполагают "шаг назад" по своей семантике.



По-видимому, только с компонентом ядра "неожиданное" соотносится неожиданное значение эмфатического элемента (1.2.4). Все остальные значения так или иначе связаны с понятием "неожиданного возвращения". Понятие дискурсивного возвращения<sup>22</sup> мы трактуем очень широко. Наиболее простой случай возвращения – возвращение к некоторому уже упоминавшемуся референту. В случае средства повторной номинации это любой элемент дискурса. Если этот элемент является ключевым для данного отрезка дискурса – топиком, точкой референции – мы получаем дискурсивное значение эмфатического элемента<sup>23</sup>. Три других типа дискурсивного возвращения менее тривиальны. СамДОБ соответствует возвращению к ситуации: так, в предложении *Петров сам тогда напился* мы должны вернуться к ситуации "напиться", которая уже встречалась в некоторой точке дискурса с другими участниками, и рассмотреть ее "в новом качестве" – добавив к участникам Петрова. Возможно возвращение и к более мелким деталям информации, полученной в дискурсе. Однако прежде чем обсудить оставшиеся два элемента схемы, иллюстрирующие такое возвращение, мы предлагаем ввести понятие "аутовозвращения"<sup>24</sup>.

Под аутовозвращением предлагается понимать такой когнитивный процесс, когда при анализе линейно выстроенного высказывания мы должны проанализировать его как бы дважды, на двух разных уровнях. Высказывание, содержащее дискурсивные элементы, указывающие на аутовозвращение, в некотором смысле возвращает к самому себе. Рассмотрим, например, русское предложение с самСАМОСТ *Иван сам уйдет*. Слушающий должен как бы разложить его анализ на две когнитивные операции: проанализировать сначала пропозициональное содержание (*Иван уйдет*), а затем, с уже полученным знанием о предстоящем уходе Ивана, вернуться к одному из компонентов значения глагола – в данном случае к компоненту намерения (см. 1.2.1.3). "Когнитивным перифразом" данного высказывания могло бы послужить такое предложение: *Иван уйдет, и сделает это сам*. Эмфатическое *сам* в рассматриваемом предложении возвращает, таким образом, к одному из компонентов значения данного предложения.

<sup>22</sup> Пользуюсь случаем, чтобы выразить свою благодарность С.В. Кодзасову, обсуждавшему с автором данную проблематику в личной беседе.

<sup>23</sup> В схеме приведены значения русской эмфатической лексемы *сам*, сокращенно самДИСК(урсивное), самНЕОЖ(жданное), самСАМОСТ(ожательное), самДОБ(авляющее), самКОНТР(астивное).

<sup>24</sup> В значении "возвращение к самому себе". Удачнее было бы "рефлексивное возвращение", связанное с функционированием термина рефлексивный как направленный на самого себя, но не хотелось бы придавать этому лингвистически нагруженному слову еще один контекст употребления.

Представляется, что самКОНТР, а также самСАМОСТ в значении "без посторонней помощи" отсылают к компоненту "X заполняет данную валентность". Так, предложение *Но Марья Гавриловна сама в беспрестанном бреду высказывала свою тайну* с самКОНТР перефразируется как *Марья Гавриловна ... высказывала свою тайну; именно Марья Гавриловна делала это*. В предложении *Иван сам починил машину* (самСАМОСТ) также происходит аутовозвращение к компоненту значения данного предложения – связи между починкой и Иваном.

Последний вопрос, на котором предполагается остановиться, – это случаи совпадения сильного рефлексива и эмфатического элемента (английский, багвалинский). Кажется, что эти случаи могут трактоваться как контрпримеры нашему утверждению, что в контексте сильного рефлексива происходит пересечение эмфатической единицы и средства повторной номинации: образующееся выражение должно по идее состоять из этих двух средств, чего в данных языках на первый взгляд не происходит.

Это несоответствие может быть объяснено в результате диахронического анализа. Дело в том, что и английское *himself*, и багвалинское *ew-da* могут быть расчленены на две составные части – некоторое местоимение, использующееся в других контекстах как средство повторной номинации (англ. *him*, багв. *ew*'), и эмфатическую частицу (багв. *-da*, англ. *-self*). В ходе исторического развития частицы слились с местоимениями и в таком виде стали употребляться не только в позиции сильного рефлексива, но и в эмфатической функции. Показательна в этом отношении история английского местоимения *himself*<sup>25</sup>. Прагерманское средство выражения кореферентности *\*silk*, соответствующее русскому *себя* и немецкому *sich*, в английском было утрачено. Кореферентность выражалась личным местоимением с возможным добавлением элемента *sylf* (*self*). С другой стороны, и элемент *sylf* существовал отдельно от местоименной части и мог выражать эмфатическую семантику, относясь к полной ИГ. В результате фузии личного местоимения и эмфатического элемента образовались *-self*-местоимения в их современном виде.

Остается добавить, что такая нетрадиционная судьба английского рефлексива создала для исследователей множество проблем. К сожалению, исследование средств повторной номинации в рамках GB было англоцентричным, что привело к ряду недоразумений. В качестве одного из таких недоразумений рассмотрим проблему логофорического употребления английских *-self*-местоимений. Для описания предложений типа (74) в классификацию средств повторного наименования пришлось, наряду с анафорами и проминалами, добавлять особый тип местоимений – логофоры.

(74) *John knew that there was a picture of himself in the post-office.*

Проблема решается намного проще, если рассматривать в этом предложении местоимение *himself* как проминал в сочетании с дискурсивным (возврат к топику) значением эмфатического элемента.

#### 4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, мы подробно рассмотрели данные цахурского и русского языков на предмет связи эмфатического и анафорического функционирования соответствующих цахурской (*wiʒ*) и русских (*сам* и *себя*) лексем. На наш взгляд, результаты предпринятого контрастивного анализа можно назвать многообещающими. Представляется неслучайным, что в этих двух языках, а также в языках, представленных в таблице 3, эмфатическая и рефлексивная семантика образуют некий кластер. В разделе 3 был предложен вариант когнитивного базиса для объединения указанных функций в данный кластер.

Типологическое исследование этой проблематики, однако, может пойти еще дальше. Известно, что в языках мира представлены как именная, так и глагольная

<sup>25</sup>Здесь автор пользуется материалами доклада Э. Кёнига (Берлин) *Distribution und Bedeutung von Reflexivpronomina im Englischen: Versuch einer historischen Erklärung* (1993).

**Условные обозначения**

1-4	1-4 классы существительного атрибутив	CONT COP DAT	локализация «Cont» связка датель
A	атрибутив	EL	эллипсис
A.A	атрибутив 1-3 класса единственного числа	EMPH	эмфатическая частица
A.OBL	косвенный атрибутив	ERG	эргатив
AD	локализация «Ad»	HPL	множественное число
ADJ	адъективизатор		1-2 классов
AFF	аффектив	HABIT	хабитуалис
ALL	аллатив	IMP	императив
ASS	ассоциативный классно-числовой показатель	IN	локализация «In»
		IPF	имперфектив
		Л	эпистемический маркер
COMIT	комитатив		
COND	кондиционалис	MASD	масдар
NEG	отрицание	POSS	поссесив
NI	эпистемический маркер	POT	потенциалис
PF	перфектив	SUP	локализация «Super»
PL	множественное число	WY	комплементаризер

стратегии рефлексивизации. Нам представляется, что рефлексивизация как средство, призванное маркировать кореферентность в пределах одной предикации, сама по себе не существует в том смысле, что для маркирования совпадения центральных участников ситуации языки не располагают каким-то особым, специально для этих целей "зарезервированным" средством. Напротив, язык кодирует эту экстраординарную ситуацию при помощи средств (или комбинации средств), использующихся прототипически в других функциях. В случае глагольной стратегии рефлексивизации таким средством можно считать залоговые трансформации; в случае именной стратегии, как было показано в статье, это некоторое средство повторной номинации в сочетании с эмфатической единицей.

**СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ**

- Джонсон-Лард Ф.* 1988 – Процедура семантика и психология значения. // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 23. М., 1988.
- Кибрик А.Е.* 1995 – Связанные употребления лексемы *сам*: системно-когнитивный анализ. 1995 (рукопись).
- Кибрик А.Е., Богданова Е.А.* 1995 – Сам как оператор коррекции ожиданий адресата // ВЯ. 1995. № 3.
- Кинэн Э.* 1982 – К проблеме универсального определения подлежащего // Новое в лингвистике. Вып. 11. М., 1982.
- Толдова С.Ю.* 1997 – Анафорическое местоимение *киш* (в печати).
- Чейф У.* 1982 – Данное, новое, контрастивность, определенность, топики и точка зрения // Новое в лингвистике. Вып. 11. М., 1982.
- ЭЦЯ 1997 – Элементы цахурского языка / Под ред. А.Е. Кибрика (в печати).
- Dixon R.M.W.* 1979 – Ergativity // *Language*. V. 55. 1979. № 1.
- Edmondson J., Plank F.* 1978 – Great expectations: an intensive SELF-analysis // *Linguistics and philosophy*. V. II. 1978.
- Farmer A., Harnish M.* 1987 – Communicative reference with pronouns // *The pragmatic perspective* / Ed. by M. Papi, J. Verschueren. Amsterdam, 1987.
- Kenner S.* 1993 – Emphatic and reflexive-self: Expectations, viewpoint and subjectivity // *Subjectivity and subjectivization in language* / Ed. by D. Stein and S. Wright. New York, 1993.
- Langacker R.* 1985 – Observations and speculations on subjectivity // *Iconicity in syntax* / Ed. by J. Haiman. Amsterdam, 1985.
- Langacker R.* 1987 – Foundations of cognitive grammar. V. 1: Theoretical prerequisites. Stanford. 1987.
- Langacker R.* 1991 – Concept, image and symbol: the cognitive basis of grammar. Berlin: New York. 1991.
- Plank F.* 1979a – Exklusivierung, Reflexivierung, Identifizierung, relationale Auszeichnung. Sprache und Pragmatik // Lunder Symposium, 1979.
- Plank F.* 1979b – Zur Affinität von *Selbst* und *Auch* // *Die Partikeln der deutschen Sprache*. Berlin; New York. 1979.
- Zribi-Hertz A.* 1989 – Anaphor binding and narrative point of view: English reflexive pronouns in sentence and discourse // *Language*. 1989. V. 65.

© 1997 г.

Б.Я. ОСТРОВСКИЙ

## ЭВИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ПЕРФЕКТНЫЕ ФОРМЫ

(на материале языка дари)

## 1. ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Под эвиденциальностью (или засвидетельствованностью) понимается такая ситуация, когда, по словам Р.О. Якобсона, "говорящий сообщает о событии, основываясь на сообщении какого-либо другого лица (цитативные, т.е. от кого-то полученные сведения), на снах (сведения, полученные путем откровения), на догадках (предположительные сведения) или на собственном прошлом опыте (сведения, извлекаемые из памяти)" [Якобсон 1972: 101].

Как отмечалось в лингвистической литературе, одним из наиболее типичных способов выражения эвиденциальности является использование так называемых перфектных форм, т.е. финитных форм, тем или иным образом связанных с формой перфекта. Именно так обстоит дело, в частности, в некоторых балкано-славянских, тюркских, финно-угорских и других языках (см., например, [Козинцева 1994: 101]). Та же тенденция прослеживается и в некоторых иранских языках. В частности, в иранистических работах указывалось, что в таджикском языке на базе перфектных форм формируется так называемое аудитивное (неочевидное, заглазное) наклонение (см., например, [Ефимов, Расторгуева, Шарова 1982: 179]).

Можно со всей определенностью утверждать, что выбор перфектных форм для выражения эвиденциальности в разных языках не является случайным совпадением. В то же время, очевидно, что значения перфектности и эвиденциальности лежат в довольно далеких друг от друга семантических плоскостях. Поэтому возникает естественный вопрос: каковы точки соприкосновения между этими значениями?

У значения перфектности принято различать две стороны. По словам Ю.С. Маслова, «в фокусе внимания говорящего находится какой-то один из двух взаимосвязанных в "перфектном единстве" временных планов: либо 1) состояние, рассматриваемое на фоне вызвавшего его действия, либо 2) само это действие..., относящееся к какому-то более раннему моменту в течении событий, но рассматриваемое в аспекте своих прямых или косвенных... последствий, актуальных для дальнейшего. В первом случае мы имеем дело со статальной перфектностью, во втором – с перфектностью акциональной» [Маслов 1987: 196].

Как указывает Н.А. Козинцева, многие исследователи связывают значение эвиденциальности с первой из указанных сторон значения перфектности, т.е. со статальной перфектностью. Эта связь видится им в том, что оба значения имплицитно действуют в прошлом, не данное в непосредственном восприятии. Другие же исследователи находят, что значение эвиденциальности, наоборот, связано со второй из вышеупомянутых сторон значения перфектности, т.е. с акциональной перфектностью (см. [Козинцева 1994: 101]). Что касается иранистов, то большинство их, насколько можно судить по имеющимся описаниям, придерживается первой точки зрения. В частности, как пишут В.А. Ефимов, В.С. Расторгуева и Е.Н. Шарова, "основное значение перфек-

та – результативность – способствует его использованию при указании на действие неочевидное, заглазное, известное с чужих слов или на основе логического вывода (по его следствию, результатам)” [Ефимов, Расторгуева, Шарова 1982: 178].

В данной статье на материале современного языка дари (Афганистан) предлагается более сложное, но зато, как нам представляется, более естественное и убедительное объяснение того, почему для выражения эвиденциальности так часто выбираются именно совершенные формы.

В дальнейшем изложении для обозначения модально-видо-временных форм глаголов дари используются не их традиционные наименования, а специальные символы, состоящие, в свою очередь, из символов маркеров, т.е. дифференциальных признаков глагольных форм<sup>1</sup>. Эти формы перечисляются в Табл. 1 в сопровождении примеров. В таблице приведены не все модально-видо-временные формы, имеющиеся в языке дари, а лишь те, которые упоминаются в данной статье (восемь форм из двадцати). Все глаголы дари подразделены здесь на глаголы сильные (*budan* “быть” и *daštan* “иметь”) и слабые (все прочие; в таблице они представлены глаголом *zadan* “бить”). В качестве примеров приводятся положительные (утвердительные) формы действительного залога 3-го лица единственного числа в литературном (а не разговорном) их варианте. Если данная форма от данного глагола или от глаголов данной группы образована быть не может, в соответствующем месте ставится прочерк. Те модально-видо-временные формы, которые принято именовать совершенными, выделены полужирным шрифтом.

Таблица 1

Некоторые модально-видо-временные формы глагола дари

Модально-видо-временные формы		Примеры модально-видо-временных форм		
символы форм	наименования форм	у слабых глаголов	у сильных глаголов	
		<i>zadan</i>	<i>budan</i>	<i>daštan</i>
/m/	настояще-будущее время	<i>mēzanad</i>	<i>mēbašad</i>	<i>mēdašta bašad</i>
/a/	презент, настоящее время	–	<i>(h)ast</i>	<i>darad</i>
/d/	preterit, простое прошедшее время	<i>zad</i>	<i>bud</i>	<i>dašt</i>
/md/	имперфект, длительное прош. время	<i>mēzad</i>	<i>mēbud</i>	<i>mēdašt</i>
/ba/	перфект, основная форма перфекта	<i>zada (ast)</i>	<i>buda (ast)</i>	<i>dašta (ast)</i>
/bd/	плюсquamперфект, преждепрош. время	<i>zada bud</i>	–	–
/mba/	длительная форма перфекта	<i>mēzada (ast)</i>	–	–
/bba/	преждепрошедший перфект	<i>zada buda (ast)</i>	–	–

## 2. ВЫРАЖЕНИЕ НЕЭВИДЕНЦИАЛЬНЫХ ВИДО-ВРЕМЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ

Прежде чем непосредственно приступить к рассмотрению способов выражения значения эвиденциальности, необходимо вкратце остановиться на способах выражения неэвиденциальных видо-временных значений в финитных формах изъявительного наклонения.

При исчислении значений финитных форм здесь выделяется четыре исходные семантические сущности: излагаемое событие ( $E^a$ , от англ. narrated event), ре-

<sup>1</sup> Принципы условного обозначения модально-видо-временных форм глаголов дари рассмотрены в работе [Островский 1995].

чевой акт ( $E^s$ , от speech event “событие речи”), действие ( $E^a$ , от action event “событие действия”), т.е. либо собственно действие, либо состояние, передаваемое глагольной лексемой, и событие-ориентир ( $E^r$ , от reference event), т.е. некая ситуация (возможно, неконкретная), с ориентацией на которую излагается событие  $E^a$  <sup>2</sup>.

Видо-временные значения финитных форм распадаются на значения временные и видовые.

Временное значение финитной формы сводится к темпоральным соотношениям между событиями, т.е. к взаимному их расположению на оси времени. События выстраиваются здесь в такую цепочку:  $E^a - E^a - E^r - E^s$ . Каждое из этих событий, кроме  $E^s$ , либо одновременно событию, расположенному в цепочке справа от него, либо предшествует этому событию, либо следует за ним. Для предпринимаемого здесь исследования достаточно ограничиться лишь первыми двумя значениями: 1) левое событие одновременно правому (символически –  $E_1 \parallel E_2$ ) и 2) левое событие предшествует правому ( $E_1 > E_2$ ). Разные комбинации одновременности и предшествования в трех парах соседствующих событий дает в общей сложности 8 ( $2^3$ ) рассматриваемых здесь временных значений финитных форм.

Видовое значение финитной формы сводится к характеристике способа развертывания событий во времени. Здесь достаточно ограничиться характеристикой развертывания только одного из выделенных выше четырех событий, а именно – излагаемого события ( $E^a$ ). Всякое такое событие может быть, во-первых, либо единичным, либо повторяющимся, а во-вторых, либо событием-фактом, либо событием-процессом, либо событием-атрибутом. Однако мы ограничиваемся здесь лишь двумя из вышеперечисленных значений: 1) единичное излагаемое событие-факт ( $-E^a$ ) и 2) единичное излагаемое событие-процесс ( $-E^a$ ).

Таким образом, в данной статье рассматривается 16 ( $8 \times 2$ ) видо-временных значений. В дальнейшем изложении при обозначении видо-временного значения финитной формы используется заключенная в фигурные скобки формула временного ее значения, а перед символом излагаемого события помещается значок, указывающий на его видовое значение (- или -); например:  $\{E^a > -E^a \parallel E^r > E^s\}$  (т.е. сочетание временного значения  $E^a > E^a \parallel E^r > E^s$  с видовым значениям  $-E^a$ ). Способы выражения этих значений в финитных формах показаны в Табл. 2 <sup>3</sup>.

Как видно из приведенного материала, основная форма перфекта (т.е. форма *lba*), которая в Табл. 2 выделена полужирным шрифтом) передает три незвиденциальных видо-временных значения: во-первых,  $\{E^a \parallel -E^a > E^r \parallel E^s\}$  (так называемая акциональная перфектность) (ср. (1)), во-вторых,  $\{E^a > -E^a \parallel E^r \parallel E^s\}$  (статальная перфектность) (ср. (2)), и в-третьих,  $\{E^a > -E^a > E^r \parallel E^s\}$  (комбинация акциональной и статальной перфектности) (ср. (3)).

(1) *Tā ba hāl čand nafar-e dar dokān nazd-e man morāje'a namuda-and lba/ wa ō ra ba hays-e yak zan-e bewa xāstgār šoda-and lba/* (TQ)<sup>4</sup> “Уже (букв.: до сих пор) ко мне в лавку обратились несколько человек и повсватались к ней как к вдове”;

(2) *Sag-e man oknun pir šoda-wo lba/ digar ān qowwat-o taqat-e jawāni dar way namānda ast lba/* (AB) “Моя собака теперь состарилась, и в ней больше не осталось свойственной молодости силы и выносливости”;

(3) *Tā konun se sa'at dar nawbat istada-am lba/* “Я уже три часа простоял (т.е. пробыл оставшим) в очереди”.

<sup>2</sup> Более подробно эти сущности рассмотрены в работе [Островский 1996б].

<sup>3</sup> Подробное описание выражения этих значений содержится в работе [Островский 1995].

<sup>4</sup> Здесь и далее приводимые нами примеры из литературных и научных текстов сопровождаются помещенными в круглые скобки пометами, указывающими на их авторов: 'AB – 'Abdolqāfūr Berešnā, AH – Asadollah Habib, 'AH – 'Abdolhāyū Habibī, A'O – Akram 'Osmān (Kōzagar), BA – Babrak Argand, JN – Jalāl Nurāni, KM – Karīm Misāq, MF – Mir Mohammadseddīq Farhang, MW – Mohammadšāfiq Wejdān, RE – Rahīm Elhām, RZ – Rahnaward Zaryāb, ŠJ – Šar'i Jawzjāni, TQ – Törpekey Qayum, XX – Xalīlollah Xalīlī.

**Выражение некоторых неэвиденциальных видо-временных значений  
в финитных формах глаголов дари**

Видо-временные значения	Модально-видо-временные формы		Видо-временные значения	Модально-видо-временные формы	
	у слабых глаголов	у сильных глаголов		у слабых глаголов	у сильных глаголов
{E <sup>a</sup>    -E <sup>n</sup>    E <sup>r</sup>    E <sup>s</sup> }	/m/	/a/ *	{E <sup>a</sup> > -E <sup>n</sup>    E <sup>r</sup>    E <sup>s</sup> }	/m/	-
{E <sup>a</sup>    -E <sup>n</sup>    E <sup>r</sup> > E <sup>s</sup> }	/m/	/a/ *	{E <sup>a</sup> > -E <sup>n</sup>    E <sup>r</sup>    E <sup>s</sup> }	/ba/	-
{E <sup>a</sup>    -E <sup>n</sup>    E <sup>r</sup> > E <sup>s</sup> }	/d/	/d/	{E <sup>a</sup> > -E <sup>n</sup>    E <sup>r</sup> > E <sup>s</sup> }	/d/	-
{E <sup>a</sup>    -E <sup>n</sup>    E <sup>r</sup> > E <sup>s</sup> }	/md/	/d/	{E <sup>a</sup> > -E <sup>n</sup>    E <sup>r</sup> > E <sup>s</sup> }	/bd/	-
{E <sup>a</sup>    -E <sup>n</sup> > E <sup>r</sup>    E <sup>s</sup> }	/ba/	/ba/	{E <sup>a</sup> > -E <sup>n</sup> > E <sup>r</sup>    E <sup>s</sup> }	/ba/	-
{E <sup>a</sup>    -E <sup>n</sup> > E <sup>r</sup>    E <sup>s</sup> }	/md/	/d/	{E <sup>a</sup> > -E <sup>n</sup> > E <sup>r</sup>    E <sup>s</sup> }	/bd/	-
{E <sup>a</sup>    -E <sup>n</sup> > E <sup>r</sup> > E <sup>s</sup> }	/bd/	/d/	{E <sup>a</sup> > -E <sup>n</sup> > E <sup>r</sup> > E <sup>s</sup> }	/bd/	-
{E <sup>a</sup>    -E <sup>n</sup> > E <sup>r</sup> > E <sup>s</sup> }	/md/	/d/	{E <sup>a</sup> > -E <sup>n</sup> > E <sup>r</sup> > E <sup>s</sup> }	/bd/	-

\* У глагола *budam* "быть" данное значение может также передаваться формой /m/.

Для дальнейшего изложения особый интерес представляет событие-ориентир (E<sup>r</sup>). Существенно, что оно жестко не определяется содержанием излагаемого события (E<sup>n</sup>), и говорящий (пишущий), излагая некое событие, волен выбирать ориентир для него по собственному усмотрению. Так, в примерах (4a–c) излагается одно и то же прошлое событие, но с разной ориентацией: в (4a) оно ориентировано на событие, одновременное излагаемому ({E<sup>a</sup> || -E<sup>n</sup> || E<sup>r</sup> > E<sup>s</sup>}), в (4b) – на событие, одновременное моменту передачи излагаемого события ({E<sup>a</sup> || -E<sup>n</sup> > E<sup>r</sup> || E<sup>s</sup>}), а в (4c) – на событие, следующее за излагаемым, но предшествующее моменту изложения ({E<sup>a</sup> || -E<sup>n</sup> > E<sup>r</sup> > E<sup>s</sup>}).

(4a) *Man (an rōz) do xait naweštam /d/* "Я (в тот день) написал два письма";

(4b) *Man (ta konun) do xait nawešta-am /ba/* "Я (уже; букв.: до настоящего момента) написал два письма";

(4c) *Man (ta an zaman) do xait nawešta budam /bd/* "Я (к тому времени) написал два письма".

### 3. ОПИСАНИЕ ЭВИДЕНЦИАЛЬНОСТИ В РАБОТАХ ПО ЯЗЫКУ ДАРИ

Предлагая общую формулу эвиденциальности, Н.А. Козинцева пишет: «Семантика высказываний, передающих указание на источник информации говорящего, может быть представлена как содержащая рамочную (EV) и пропозитивную части (P):

Г сообщает, что [X видел/полагает/узнал, что] P,

где Г – говорящий, X – субъект модуса EV ("хозяин" информации). Информация может быть получена посредством: 1) чувственного восприятия, 2) логического умозаключения, 3) сообщения» [Козинцева 1994: 93].

Эта ситуация на материале языка дари частично описана в работе [Миколайчик 1975]. Правда, сам В.И. Миколайчик в своем описании не пользуется такими терминами, как "эвиденциальность" или "засвидетельствованность", а говорит об употреблении финитных форм "в придаточных предложениях дополнительных и определительных к дополнению при глаголе-сказуемом главного предложения, которое выражено глаголом идеальной деятельности в одной из форм прошедшего времени" [Там же: 177]. Под глаголами идеальной деятельности В.И. Миколайчик, вслед за Ю.С. Масло-

вым (см. [Маслов 1956: 245–246]), понимает: 1) глаголы речи типа *goftan* “сказать”, 2) глаголы мысли типа *dānestan* “знать”, *daryāftan* “понять” и 3) глаголы восприятия типа *didan* “видеть”, *sonidan* “слышать” (см. [Миколайчик 1975: 177]). В дальнейшем изложении мы именуем эти глаголы также модусными (см., например, [Козинцева 1994]).

По данным В.И. Миколайчика, в придаточных предложениях дари при глаголах идеальной деятельности наблюдается явление, которое принято называть относительным употреблением временных форм (В.И. Миколайчик этим термином также не пользуется). Указанное явление сводится к тому, что “событие ориентировано по отношению ко времени действия главного предложения” [Маслов 1990: 89]. В частности, как указывает В.И. Миколайчик, при глаголе идеальной деятельности, употребленном в форме претерита или имперфекта (т.е. /d/ или /md/, одновременное ему событие придаточного предложения передается формой презенса (т.е. /m/ или /a/ вместо ожидаемых /d/ и /md/, а предшествующее ему событие – формой перфекта (т.е. /ba/ вместо ожидаемой /bd/) (ср.<sup>5</sup> (5), (6)). Кроме того, при глаголах речи часто употребляется прямая речь, т.е. цитирование чужой (или своей) речи вместо ее пересказа (ср. (7)). Далее, при глаголах восприятия и, реже, при глаголах мысли наряду с относительным встречается и абсолютное употребление временных форм (ср. (8)).

(5) *Mēdiđ ke gāwħa-yaš goresna and /a/* “Он видел, что его коровы (суть) голодны”;

(6) *Šerali sawgand mēxōrd ke heč kār-e bad-e nakarda ast /ba/* “Шерали клялся, что не сделал (до настоящего времени) ничего плохого”;

(7) *Bārħā mēgoft ke man ham yak-ē az jomla-ye ešān mēbašam /m/* «Он часто говорит: “Я тоже (есмь) один из них”»;

(8) *Ba in afkār bala-ye bestar-e ō rasidam, didam āram xofta bud /bd/* “С этими мыслями я подошел к его постели и увидел, что он безмятежно спит (букв.: был уснувшим)”.

Описание В.И. Миколайчика весьма достоверно и надежно, однако оно нуждается, на наш взгляд, в одном уточнении: это уточнение касается квалификации придаточных предложений, в составе которых наблюдаются рассматриваемые явления.

Тот факт, что относительное употребление временных форм (в некоторых случаях – наряду с абсолютным) наблюдается в придаточных дополнительных предложениях, разумеется, не подлежит сомнению (ср. (5), (6), (8)). Однако в отдельных случаях В.И. Миколайчик за придаточное дополнительное принимает придаточное подлежащее (ср. (9) и (10) – соответственно, с относительным и абсолютным употреблением временных форм).

(9) *Intawr ba nazar-am mēamad ke mexahad /m/ do'a-ye beħanad* “Мне казалось, что он хочет прочесть молитву”;

(10) *Ma'lum nabud ke nur az kojā mēamad /md/* “Было непонятно, откуда проникал этот свет”.

Что же касается “придаточных определительных к дополнению”, то здесь ситуация не столь очевидна, как кажется на первый взгляд. Например, в (11) и (12) (соответственно, с относительным и абсолютным употреблением временных форм) В.И. Миколайчик, по-видимому, усматривает наличие придаточного определительного. Однако можно предположить, что в приведенных примерах налицо не придаточные определительные, а трансформированные (как бы “замаскированные” под определительные) придаточное подлежащее (в (11)) и придаточное дополнительное (в (12)). Иными словами, (11) допустимо считать восходящим к (11а), а (12) – к (12а). К такому выводу побуждает обилие в языке дари случаев, где наличие подобных же трансформаций не вызывает сомнений (ср. (13) и (14), восходящие, соответственно, к (13а) и (14а)).

(11) *Padar-aš ba yād-aš āmad ke bēnār dar xāna xābida ast /ba/ wa pul-e dawā-ye ō wojud nadārad /a/* “Он вспомнил своего отца, который лежал (букв.: лежит) дома больной и на лекарство которому не было денег (букв.: деньги не существуют)”;

<sup>5</sup> Примеры (5)–(12) воспроизводятся по работе [Миколайчик 1975].

(11a) *Ba yad-aš amad ke padar-aš bēmar dar xāna xabida ast wa pul-e dāwa-ye o wojud nadārad* “Он вспомнил, что его отец лежит дома больной и на лекарство для него нет денег”;

(12) *Ba'd gawhā-yaš rā did ke az rōdbār-e kočak gozašta budand /bd/ wa rō-ye čaman mečaridand /md/* “Затем он увидел своих коров, которые перешли (букв.: были перешедшими) речку и паслись на лугу”;

(12a) *Ba'd did ke gawhā-yaš az rōdbār-e kočak gozašta budand wa rō-ye čaman mečaridand* “Затем он увидел, что его коровы перешли речку и паслись на лугу”;

(13) *Rādyo rā našonidam ke čī goft* “Я не слышал, что сказали по радио” (букв.: “Я не слышал радио, что (оно) сказало”);

(13a) *Našonidam ke rādyo čī goft* “Я не слышал, что сказали по радио (букв.: что сказало радио)”;

(14) разг. *Az teflak-e xod me'tarsom ke zada naša (BA)* “Боюсь, как бы мой ребенок не был побит” (букв.: “Я боюсь своего ребенка, чтобы он не был побит”);

(14a) разг. *Me'tarsom ke teflak-em zada naša* “Боюсь, как бы мой ребенок не был побит”.

Если это наше рассуждение верно, то для собственно определительных придаточных предложений к дополнению (равно как и к подлежащему), даже если эти придаточные вводятся глаголами идеальной деятельности, относительное употребление временных форм, по-видимому, не характерно. Например, в (15) замена формы /bd/ на /ba/ невозможна; подобным же образом, в (16) невозможна и замена форм /md/ и /d/ на какие-либо другие формы.

(15) *Zanha... xabha-ye rā ke čand rōz peš dida budand /bd/ yak-e ba digar qessa mekarand (AH)* “Женщины... рассказывали друг другу сны, которые видели несколько дней назад”;

(16) *Padar-o pesar dānestand ānce rā namefahmidand /md/, didand-ānce dar warā-ye par-da-ye pendār-ešān mastur bud /d/ (XX)* “Отец и сын узнали то, чего не понимали, и увидели то, что было скрыто пеленой от их сознания”.

Таким образом, относительное употребление временных форм (иногда – наряду с абсолютным) наблюдается в придаточных дополнительных и подлежащих, вводимых глаголами идеальной деятельности.

При этом обращает на себя внимание тот факт, что описанные В.И. Миколайчиком замены видо-временных форм (/d/ или /md/ – на /m/ или /a/, а /bd/ – на /ba/) обнаруживаются не только в составе придаточных предложений. В одних случаях формально независимое предложение с “заменёнными” формами следует за придаточным, вводимым глаголом идеальной деятельности (причем в придаточном аналогичные замены также налицо) (ср. (17), (18)); в других же случаях модусный глагол (со своими аргументами) отсутствует даже в предшествующем контексте (ср. (19), (20)).

(17) *Ro'yahā ba sorāg-aš meāmadand, xod-aš rā šer-e me'yāft tanumand-o yaldār ke rešta-ye dar gardan dārad wa sar-e rešta dar dast-e bibi ast. Ō mast-o haybatnak meğorrad-o /m/ mekošad /m/ tā rešta rā para konad-o azād sawad... (A'O)* “Его посещали сновидения, он видел себя в облике могучего гривастого льва с поводком (букв.: который имеет поводок) на шее, а конец поводка (есть) в руке хозяйки. Он возбужденно и устрашающе рычит и пытается разорвать поводок и освободиться...”;

(18) *Dar šafaxāna fahmidam ke rafiq Sarwar tā markaz-e welāyat zenda narasida ast. Dar rah jan dada-wo /ba/ dar āxerin nafasha āxerin arzu-yaš rā ba-saxti bar zabān āwarda /ba/. Ō xahēš karda /ba/ ke jasad-aš rā dar kenar-e hamin maktab ba xāk besparand (AH)* “В госпитале я узнал, что товарищ Сарвар не добрался живым до провинциального центра. По дороге он умер и, будучи при последнем издыхании, с трудом произнес свое последнее желание. Он попросил, чтобы его похоронили возле той самой школы”;

(19) *Asadxān-e koči dar ān rōz ba'd az adā-ye namāz-o nošidan-e čāy bā do xarita panēr ba taraf-e šahr rawāna šod. Dokāndāran čun o rā az dur mebinand /m/ awwal tajāhol mekonand /m/ wa aslan ba taraf-e o-wo xaritaha-ye panēr-aš namebinand /m/ wa xod rā ba ežhā-ye digar*

*mašgūl mēšāzand /m/* (‘AB) “Кочевник Асад-хан в тот день, совершив намаз и попив чаю, с двумя мешочками творога отправился в город. Когда лавочники его увидели (букв.: *видят*), сначала сделали вид, что ничего не заметили (букв.: *притворяются* неведущими), и даже не взглянули (букв.: *не смотрят*) на него и его мешочки с творогом, а занялись (букв.: *занимаются*) другими делами”;

(20) *Dar ān rōzgār dar Jorjān... solāla-ye Zeyārihā... hokmrāwayi dāštand. Šamsolma‘āli-ye Qābus... yak-e az nomāyendagān-e in solāla dānešmand-e jawān rā dar sāya-ye hemāyat-e xēš qarār mēdehad /m/* (ŠJ) “В те времена в Гургане... правила династия Зиаридов... Шамс-уль-Маали Кабус..., один из представителей этой династии, взял (букв.: *помещает*) молодого ученого под свое покровительство”.

В случаях подобного рода (особенно – иллюстрируемых примерами (17), (19), (20)) принято говорить о переносном употреблении временных форм: оно имеет место в таких ситуациях, когда, по словам Ю.С. Маслова, «говорящий мысленно переносится в другой временной план, как бы заново “проигрывая” прошлые события...» [Маслов 1990: 89]. Как считают, в частности, В.С. Расторгуева и А.А. Керимова, это явление наблюдается “в образном, описательном повествовании, когда событие, совершавшееся в прошлом, для выразительности, красочности переносится в аспект настоящего времени” [Расторгуева, Керимова 1964: 68].

Есть, однако, обстоятельство, которое ставит под сомнение трактовку рассматриваемых случаев в качестве простого результата стремления говорящего (пишущего) к оживлению повествования. Дело в том, что переносное употребление временных форм может ограничиваться главной частью предложения и не охватывать зависимой его части (например, придаточного определительного), где формы /d/, /md/ и /bd/ сохраняются (ср. (21)–(23)). Это явление с позиций теории “оживления повествования” едва ли объяснимо. Следует, впрочем, оговориться, что не менее часто рассматриваемые замены временных форм наблюдаются в аналогичной ситуации даже в зависимых частях предложений (ср. (24), (25)).

(21) *Jamāli... ba čādar-e seyāh-e ke dāst /d/ xod rā pečānida wa ba nazdik-e atāš mēxāhad* (‘AB) “Джамали... закутывается в свой черный платок (букв.: в черный платок, который *имела*) и ложится поближе к костру”;

(22) *Benā bar ān zabān-aš rā ke čun parra-ye āsyāb mēčarxid /md/ ba kār mēandāzad* (A’O) “Поэтому он пускает в ход свой язык, который *вращается* (букв.: *вращался*), как лопасти мельницы”;

(23) *Dānešmand-e jawān ke hanōz az bistodosalagi pa farātār nagozāšta bud /bd/... zād-gah-e xēš rā tark megojad* (ŠJ) “Молодой 22-летний ученый (букв.: который *не поставил* (к тому времени) ногу за пределы 22-летия)... покидает свою родину”;

(24) *Pešin-e rōz sa‘at-e do-wo nim... karāčikašha ke postinhā-ye Lālā rā bār karda-and /ba/ ‘aragrezān pešāpēš ba sō-ye gomrok rāh mēofstand* (A’O) “Днем, в половине третьего... носильщики, которые (к настоящему моменту) *погрузили* (на свои тележки) дубленки Дядюшки, обливаясь потом, пускаются в путь по направлению к таможене”;

(25) *Beruni... az nazar-e jahānbini bar asāsāt-e ke dar hamān ‘asr tasallot dārad /a/ motta-ki-si* (ŠJ) “Бируни... в своем мировоззрении опирается на те взгляды, которые *господствуют* в тот период”.

Относительное и переносное употребление временных форм (в тех ситуациях, которые рассмотрены выше) обычно не принято связывать со способами выражения эвиденциальности. Однако, как нам представляется, семантическая связь между этими явлениями – самая непосредственная: во всех этих случаях налицо факт засвидетельствованности излагаемого события, т.е. либо сообщение об этом событии, либо его постижение, либо его восприятие. Факт засвидетельствованности чаще всего передается модусным глаголом (ср. (5), (6), (8)–(12)), а если таковой отсутствует, то либо восстанавливается из предыдущего контекста (ср. (17), (18)), либо просто подразумевается; в этом последнем случае говорящий (пишущий), не указывая на это прямо, ставит или самого себя, или слушающего (читающего), или одного из героев своего повествова-

ния в позицию наблюдателя излагаемых событий, либо получателя информации об этих событиях, либо “осмыслителя” полученной информации (ср. (19)–(25)).

Что касается употребления перфектных форм для выражения эвиденциальности, то здесь мнения расходятся.

В частности, Л.Н. Дорощева утверждает, что “так называемое прошедше-настоящее (перфект) – *zada-am* и его длительная форма *mézada-am* (т.е. формы /ba/ и /mba/. – Б.О.) ... не встречаются в том особом применении, которое характерно для них в таджикском языке (неочевидные формы)” [Дорощева 1960: 50].

С другой стороны, В.А. Ефимов, В.С. Расторгуева и Е.Н. Шарова полагают, что в современном дари видны “зачатки” значения неочевидности (см. [Ефимов, Расторгуева, Шарова 1982: 179]). Они пишут, что форма перфекта (т.е. форма /ba/) в этой функции “иногда встречается в разговорной речи” (ср. приводимый ими пример (26)) [Там же: 178]. И далее: “Значение неочевидности, заглазости (прошедшего действия) несколько сильнее проявляется в совр. ... дари у длительной формы перфекта (т.е. у формы /mba/. – Б.О.). Она используется, в частности, когда речь идет о событиях очень давних, свидетелем которых говорящий просто не мог быть” (ср. приводимый ими пример (27)) [Там же].

(26) разг. *Xabar šodom asp-e xod-a ba kas baxšida /ba/* “Я слышал, что он подарил кому-то свою лошадь”;

(27) *Arastu... dar hodud-e šesad-o haštad-o šahār – šesad-o bist-o šahār-e qabl az milad mezista ast /mba/* “Аристотель... жил с 384 по 324 год до нашей эры”.

Вышеприведенное утверждение Л.Н. Дорощевой опровергается в работе [Островский 1996а], где на обширном языковом материале показано употребление форм /ba/ и /mba/ в эвиденциальном значении (ср. (18), (28), (29)). Там же внесен ряд уточнений и в утверждения В.А. Ефимова, В.С. Расторгуевой и Е.Н. Шаровой: во-первых, форма /ba/ используется в эвиденциальном значении не только в разговорном, но и в литературном стиле (ср. (18), (28), (30)); во-вторых, в эвиденциальном значении как в разговорном, так и в литературном стиле используется форма /mba/ (ср. (28), (29), (31)); в-третьих, при повествовании о давних событиях используется не только форма /mba/, но и /ba/ (ср. (29), (32)); в-четвертых, форма /mba/ способна употребляться для описания событий, пусть давних, но происходивших на глазах говорящего (пишущего) (ср. (33)). В этой же работе отмечается, что значение эвиденциальности в языке дари может выражаться, наряду с формами /ba/ и /mba/, также редкой формой /bba/ (ср. (34), (35)).

(28) *Šawhar-e Parigol jeryān ra ba man qessa kard. Mawzō' az in qarār bud ke farda-ye ān šab Parigol ba taqlid-e man rafta-wo /ba/ ba dokāndār-e koča-ye xod gofta ast /ba/*: “разг. *Byādarjān, do pāw naxōt betē amā čonān naxōt-e saxt ke az xōrdan nabaša*”. *Wa ba'd ke naxōd rā baraye šam mēxāsta /mba/ bepazad qat'an narm našoda /ba/*. *Šawhar-aš waqi-e ke gofta /ba/ ā ba dokāndār jang konad way dar jawāb-aš gofta ast /ba/*: “разг. *Kakajān, ma či gonā darom?*” (JN) «Муж Париголь рассказал мне, что случилось. Дело было в том, что (по его словам) на завтра после того вечера Париголь по моему примеру пошла и сказала местному лавочнику: “Братец, дай мне два фунта гороха, но такого твердого, чтобы он был несъедобен”. А затем, когда она хотела сварить этот горох на ужин, горох совсем не разварился. Когда ее муж пошел ругаться с лавочником, тот в ответ сказал: “Дяденька, чем я виноват?”»;

(29) разг. *Darwāzē Lawri koja-ra megofian?... – Uja-ra. Qadim darwāzē buda /ba/*, *yak-e az darwāzā-ye bozorg-e šār ke az uja mōīarā taraf-e Endustān, Lawor mērafta /mba/* (АН) “Какое место называли Лахорскими воротами?... – Вон то. Это были (как я слышал) древние ворота, одни из самых больших городских ворот, и машины ездили через них в Индию, в Лахор”.

(30) *Nabi az qawl-e māmā-yaš qessa kard ke mādar-aš sar-e zā morda ast /ba/ wa padar-aš ke 'ašeq-e mādar-aš buda /ba/ pas az māh-e deqqmarg šoda ast /ba/* (A'O) “Наби рассказал со слов своего дяди, что его мать умерла от родов, а его отец, который был влюблен в его мать, через месяц умер от тоски”;

(31) *Besyāri-ye mardom edde'a dārand ke basa šabha an mār-e seyah rā dida-and ke čašman-e ō čun laki dar tiragi-ye šab mēdaraxšida ast /mba/ (MW)* “Многие утверждают, что ночами часто видели эту черную змею, глаза которой в ночной темноте испускали темно-красное сияние (букв.: светились, как темно-красные)”;

(32) *Āncē az mağz-e bozorg-o motafakker-e ō tarāwida /ba/ gāleban pasoxgo-ye neyāz-mandiha-ye buda ast /ba/ ke dānešmandān-e 'asr ba raf'-e an saxt zarurat dāšta-and /ba/ (ŠJ)* “Плоды его размышлений (букв.: то, что просочилось из его великого вдумчивого мозга) зачастую отвечали тем потребностям, в удовлетворении которых остро нуждались ученые того времени”;

(33) *Nawisenda-ye in sotur xub ba yād dāram hangām-ē ke hamin šomāra-ye Serāj-ol-Axbar ba Qandahār rasid an rā... bā marāq-o delčaspi-ye farāwān mēxānda-and /mba/ wa gah-e bā xānda-e an ašk ham mērexta-and /mba/ (‘AH)* “Автор этих строк хорошо помнит, что, когда этот номер (газеты) ‘Сирадж-уль-Ахбар’ попал в Кандагар, его... читали с огромным интересом, а иногда во время чтения проливали слезы”;

(34) *Az goftaha-yaš haminqadr fahmida mēšod ke dirōz mo'allem barāye sabaq dadan-e pesar-e xān narāfta buda ast /bba/ (AH)* “Из его слов можно было лишь понять, что вчера учитель (якобы) не пришел заниматься с сыном хана”;

(35) *Qarn-e čahārom, hazār sal pēš... Dar an zamān ensān-ē nešasta buda /bba/ wa in ketāb rā nawēšta /ba/... Mā'lum nēst āyā mēdānesta /mba/ ke hazār sal ba'd kas-ē digar-ē bēdār-xabi mēkašād-o rō-ye in ketāb kār mēkonad (RZ)* “Четвертый век (по мусульманскому солнечному календарю. – Б.О.), тысячу лет назад... В то время сидел какой-то человек и (на)писал эту книгу... Неизвестно, знал ли он, что через тысячу лет другой человек будет не спать ночами и изучать эту книгу”.

#### 4. СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ ЭВИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Весьма часто при наличии ситуации эвиденциальности в идентичных, казалось бы, случаях могут употребляться разные модально-видо-временные формы глаголов (ср. (36)–(38)).

(36) *Mā motawajjeh šodem ke ō andak-e perayšan ast /a/ (или bud /d/)* “Мы заметили, что она (есть или была) немного взволнована”;

(37) разг. *Mālum mēša ke u dorōg gofta /ba/ (или goft /d/)* Оказывается, он солгал”;

(38) *Mottaham edde'a dārad ke dar an māwqe' dar otaq-e xod nešasta bud /bd/ (или nešasta buda ast /bba/) wa talwizyun tamaša mēkard /md/ (или mekarda ast /mba/)* “Обвиняемый утверждает, что в тот момент он (якобы) сидел в своей комнате и смотрел телевизор”.

В дальнейшем при обозначении эвиденциальных видо-временных значений (в отличие от неэвиденциальных) перед фигурными скобками помещается графема «е» (от англ. evidential). Так, в (36) видо-временное значение выделенных форм получает такое символическое обозначение:  $e\{E^a \parallel -E^n \parallel E^r > E^s\}$ , в (37) –  $e\{E^a \parallel -E^n > E^r \parallel E^s\}$ , а в (38) – соответственно,  $e\{E^a > -E^n > E^r \parallel E^s\}$  и  $e\{E^a \parallel -E^n > E^r \parallel E^s\}$ .

Как нам представляется, в языке дари следует различать три способа выражения эвиденциальности: нулевой, темпоральный и модальный.

Нулевой способ выражения эвиденциальности, т.е. фактически невыраженность эвиденциальности, сводится к тому, что факт засвидетельствованности как событие при выборе финитной формы игнорируется, а излагаемое событие во временном отношении может быть ориентировано на какое-нибудь другое событие (ср. (39), где выражено значение  $e\{E^a \parallel -E^n > E^r > E^s\}$ ). При нулевом способе эвиденциальное видо-временное значение получает точно такое же внешнее выражение, что и соответствующее неэвиденциальное значение (см. Табл. 2).

(39) *Man xabar dāram ke way qablan zamīna ra mosā'ed saxta bud /bd/* “Я знаю, что он заранее подготовил почву”.

Впрочем, во многих случаях событие-ориентир совпадает по времени с фактом засвидетельствованности или даже само представляет собой факт засвидетельствован-

ности, но даже в этих случаях оно трактуется точно так же, как событие-ориентир, не связанное с эвиденциальностью. В частности, значение  $e\{E^a \parallel -E^n > E^r > E^s\}$  передается так же, как и  $\{E^a \parallel -E^n > E^r > E^s\}$  (ср. (40), (41); ср. также (42)). В предшествующем изложении (см. п. 3) подобная ситуация именовалась абсолютным употреблением временных форм.

(40) *Ba yad-aš amad ke dar yak-e az in kotalha... do róz rá dar yak gár-e tang-o tarik ba sar borda bud /bd/* (KM) “Он вспомнил, как на одном из этих перевалов... *провел* два дня в тесной и темной пещере”;

(41) разг. *Yag róz bay xabar šod ke... Alimamad ke zan-eš mariz bud asp-e báy-a foróxta bud /bd/* (BA) “Однажды бай узнал, что... Али Мухаммад, у которого была больна жена, *продал* коня бая”;

(42) *Yahya ó rá sadd zada-wo kayfeyyat-e basia šodan-e darwáza rá az ó sawál kard. Zahrá čiz-e namedánest /md/ - e{E<sup>a</sup> || -E<sup>n</sup> || E<sup>r</sup> > E<sup>s</sup>}. Dar bágča-ye Hájí ba digar doxtarán mašgúl-e tamaša bud /d/ - e{E<sup>a</sup> || -E<sup>n</sup> > E<sup>r</sup> > E<sup>s</sup>} ke yak bár nókarhá-ye Hájí ba čób bar anha hojum áwarda hudand /bd/ - e{E<sup>a</sup> || -E<sup>n</sup> > E<sup>r</sup> > E<sup>s</sup>}... Zahrá farár namuda xod-aš rá ba injá rasánda bud /bd/ - e{E<sup>a</sup> || -E<sup>n</sup> > E<sup>r</sup> > E<sup>s</sup>} (MF) “Яхья окликнул ее и спросил, как оказалась закрыта дверь (в сад). Захра (по ее словам) ничего *не знала*. Она вместе с другими девочками в саду Хаджи *наблюдала* за происходящим, как вдруг слуги Хаджи *набросились* на них с палками... Захра, убежав (из сада), *пришла* сюда”.*

Темпоральный способ выражения эвиденциальности сводится к тому, что факт засвидетельствованности непременно является событием-ориентиром и при выборе финитной формы трактуется иначе, нежели событие-ориентир, не связанное с засвидетельствованностью. Это проявляется в том, что событие-ориентир и речевой акт, как бы они в действительности ни располагались по отношению друг к другу на оси времени, трактуются как одновременные, т.е. переосмысливается их темпоральное соотношение (отсюда и принятое здесь наименование этого способа).

При темпоральном способе предшествование факта засвидетельствованности сообщению о нем (равно как, впрочем, и следование первого за вторым) получает точно такое же внешнее выражение, как и их одновременность. В частности, значение  $e\{E^a \parallel -E^n \parallel E^r > E^s\}$  в этом случае передается так же, как  $\{E^a \parallel -E^n \parallel E^r \parallel E^s\}$  (ср. (20), (43)), а значение  $e\{E^a > -E^n \parallel E^r > E^s\}$  – как  $\{E^a > -E^n \parallel E^r \parallel E^s\}$  (ср. (11), (44)).

(43) *Digar nafahmidam ke mádár-am čí mēgoyad /m/* (TQ) “Я не понял, что еще сказала (букв.: *говорит*) моя мать”;

(44) *Róz-e pádsáh dar áyina mēnegarist, did móhá-yaš hama safed šoda ast /ba/* (MW) “Однажды король смотрелся в зеркало и увидел, что его волосы *стали* совершенно седыми”.

Приведенные примеры иллюстрируют то явление, которое ранее (см. п. 3) именовалось относительным употреблением временных форм. Что же касается переносного их употребления, то здесь налицо неконкретное событие-ориентир, одновременное излагаемому событию, но не раскрываемое по существу (ср. (45), где налицо значение  $e\{E^a \parallel -E^n \parallel E^r > E^s\}$ ; ср. также (19), (20), (24), (25)).

(45) *Hamán mēbašad /m/ ke fardá-ye án róz awwal-e waqt az xána mebarayad /m/ wa... sawár-e sarwis mešawad /m/ wa Saray-e Šahzáda merawad /m/* (A'O) “Поэтому (букв.: *ест* то, что) на следующий день рано утром он вышел (букв.: *выходит*) из дома,... сел (букв.: *садится*) в автобус и поехал (букв.: *едет*) в Сарáйе Шахзадá”.

Модальный способ выражения эвиденциальности сводится к тому, что, хотя факт засвидетельствованности (совпадающий либо не совпадающий с событием-ориентиром) при выборе финитной формы учитывается, но передается не через темпоральные соотношения событий, а при помощи специального наклонения (отсюда и принятое здесь название этого способа), которое можно назвать эвиденциальным, или аудитивным, или неочевидным, или пересказывательным, или заглазным и т.п. (см. п. 1). Наличие факта засвидетельствованности внешне проявляется в том, что форме /d/ нулевого способа при модальном способе соответствует форма /ba/ (ср. (29), (46)),

(47)), форме /md/ – /mba/ (ср. (27), (28), (29), (31), (33), (35), (46), а форме /bd/ – /bba/ (ср. (34), (35), (47))<sup>6</sup>.

(46) *"Man an röz-e ke dar maktab sabaq ra yad mekardam | Alef megoflam-o sarw-e qadd-at ra yad mekardam..." Ša'er meگویad alef ra yad mekardam. Pas ma'tum mešawad ke ša'er dar senf-e awwal buda fba/.* *Wa ba'd ezafa mekonad ke sarw-e qadd-at ra yad mekardam. Hala rawšan šod! Ša'er darsxān nabuda fba/.* *Tanha alef megofta fmba/ wa anče ra yad mekarda ast fmba/ sarw-e qadd-e yar buda fba/,* *na dars-e mo'allem... Ō ke alef megofta fmba/ wa sarw-e qadd-e yar ra yad mekarda fmba/,* *Xoda medānad az goftan-e be-wo te-wo jim-o dal ei čižha-ye ra yad mekarda ast fmba/ (JN)* «В тот день, когда я учился в школе, | Я произносил 'алеф', а запоминал твой стройный стан (букв.: кипарис твоего стана)»... Поэт говорит: «Я изучал 'алеф'». Из этого следует, что поэт был первоклассником. Потом он добавляет: «Я запоминал твой стройный стан». Теперь все ясно! Поэт не был прилежным учеником. Он лишь произносил 'алеф', а то, что при этом запоминал, был стройный стан возлюбленной, а не уроки учителя... Если он произносил 'алеф', а запоминал стройный стан возлюбленной, то одному лишь Богу ведомо, что он запоминал, произносил 'бэ', 'тэ', 'джим' и 'даль'»<sup>7</sup>;

(47) *Az anče goftem sābet mešawad ke zabanšenāsi dar Āryānā sābeqa-ye tulāni dašta fba/ wa dar 'asr-e Pānini ba marhala-ye takamol rasida buda ast fbbā/ (RE)* «Из сказанного нами следует, что языкознание в Ариане имело долгую историю и во времена Панини достигло совершенства».

Все три способа выражения эвиденциальности представлены в Табл. 3.

В некоторых случаях невозможно определить, каким именно способом выражена эвиденциальность. Например, с равным успехом допустимо считать, что в (48) эвиденциальность выражена нулевым или темпоральным способом, в (6), (18), (26), (49) – темпоральным или модальным, а в (50) – любым из трех способов.

(48) *Xabar daštam ke an mard qablan dagarwal bud fdl/* «Я знал, что тот человек раньше был полковником»;

(49) *Čand mah ba'd xabar amad ke Mohsenxān doxtar-aš rā ba-zōr nāmzād karda-wo fba/ Tahera zahr xōrda fba/ amma namōrda ast fba/ (AH)* «Через несколько месяцев пришло известие, что Мохсен-хан насильно просватал свою дочь, и Тахира приняла яд, но не умерла»;

(50) *Az deh kas-e āmada, meگویad ke madar-am bēmār ast fā/ (RZ)* «Из деревни приехал один человек, он говорит, что моя мать (есть) больна».

Чаще всего при последовательном повествовании засвидетельствованность событий, стоящих как бы в одном ряду, выражается одним и тем же способом; например, в (42) – нулевым способом, в (19) – темпоральным, а в (35) – модальным. Однако так бывает не всегда: иногда в подобных случаях эвиденциальность может выражаться разными способами. Например, в (51) в первых трех случаях эвиденциальность выражена модальным способом, а в четвертом случае – темпоральным.

(51) *Padar-aš... ba mardom-e deh ba ġorur-e xāss-e az xāterāt-e xod-aš dar Kābol qessa mekard. Qessa mekard ke mardom rā dida buda fbbā/ ke ba Xwājasafā mēla-ye argawān mērafta-and fmba/.* *Ya yak šab-e jašn rā dar Čaman-e hozuri xābida buda ast fbbā/.* *Ya čand šab ra dar pol-e Mahmudxān dar yak saray separi karda ast fba/ (AH)* «Его отец..., напустив на себя важный вид, делился с односельчанами своими впечатлениями от Кабула. Он рассказывал, что видел, как люди ехали в Ходжа-сафа на пикник (по случаю цветения) багряника. Или как он однажды во время праздника ночевал (букв.: якобы) *лобыл уснувшим* на Чаманэ хозури. Или как несколько ночей *провел* в караван-сараях возле моста Махмуд-хана».

<sup>6</sup> Весьма похожие соотношения между формами изъявительного и аудитивного наклонений выявлены в таджикском языке; см. [Расторгуева, Керимова 1964: 96; Эдельман 1975: 440–441].

<sup>7</sup> Речь идет о буквах арабского алфавита. Приведенный пример представляет собой отрывок из юмористического рассказа, где пародируется статья литературного критика.

Выражение некоторых эвиденциальных видо-временных значений  
в финитных формах глаголов дари

Видо-временные значения	Модально-видо-временные формы					
	нулевой способ		темпоральный способ		модальный способ	
	у слабых глаголов	у сильных глаголов	у слабых глаголов	у сильных глаголов	у слабых глаголов	у сильных глаголов
e{E <sup>a</sup>    -E <sup>n</sup>    E <sup>r</sup>    E <sup>s</sup> }	/m/	/a/ *	/m/	/a/ *	/m/	/a/ *
e{E <sup>a</sup>    -E <sup>n</sup>    E <sup>r</sup>    E <sup>s</sup> }	/m/	/a/ *	/m/	/a/ *	/m/	/a/ *
e{E <sup>a</sup>    -E <sup>n</sup>    E <sup>r</sup> > E <sup>s</sup> }	/d/	/d/	/m/	/a/ *	/ba/	/ba/
e{E <sup>a</sup>    -E <sup>n</sup>    E <sup>r</sup> > E <sup>s</sup> }	/md/	/d/	/m/	/a/ *	/mba/	/ba/
e{E <sup>a</sup>    -E <sup>n</sup> > E <sup>r</sup>    E <sup>s</sup> }	/ba/	/ba/	/ba/	/ba/	/ba/	/ba/
e{E <sup>a</sup>    -E <sup>n</sup> > E <sup>r</sup>    E <sup>s</sup> }	/md/	/d/	/md/	/d/	/mba/	/ba/
e{E <sup>a</sup>    -E <sup>n</sup> > E <sup>r</sup> > E <sup>s</sup> }	/bd/	/d/	/ba/	/ba/	/bba/	/ba/
e{E <sup>a</sup>    -E <sup>n</sup> > E <sup>r</sup> > E <sup>s</sup> }	/md/	/d/	/md/	/d/	/mba/	/ba/
e{E <sup>a</sup> > -E <sup>n</sup>    E <sup>r</sup>    E <sup>s</sup> }	/m/	-	/m/	-	/m/	-
e{E <sup>a</sup> > -E <sup>n</sup>    E <sup>r</sup>    E <sup>s</sup> }	/ba/	-	/ba/	-	/ba/	-
e{E <sup>a</sup> > -E <sup>n</sup>    E <sup>r</sup> > E <sup>s</sup> }	/d/	-	/m/	-	/ba/	-
e{E <sup>a</sup> > -E <sup>n</sup>    E <sup>r</sup> > E <sup>s</sup> }	/bd/	-	/ba/	-	/bba/	-
e{E <sup>a</sup> > -E <sup>n</sup> > E <sup>r</sup>    E <sup>s</sup> }	/ba/	-	/ba/	-	/ba/	-
e{E <sup>a</sup> > -E <sup>n</sup> > E <sup>r</sup>    E <sup>s</sup> }	/bd/	-	/bd/	-	/bba/	-
e{E <sup>a</sup> > -E <sup>n</sup> > E <sup>r</sup> > E <sup>s</sup> }	/bd/	-	/ba/	-	/bba/	-
e{E <sup>a</sup> > -E <sup>n</sup> > E <sup>r</sup> > E <sup>s</sup> }	/bd/	-	/bd/	-	/bba/	-

\* У глагола *vidan* "быть" данное значение может также передаваться формой /m/.

Если засвидетельствованные события упоминаются в разных частях сложноподчиненного предложения, то в одних случаях как в главной, так и в зависимой части засвидетельствованность выражается одним и тем же способом, а в других – разными способами. Например, в (24), (25), (52) в обеих частях засвидетельствованность выражена темпоральным способом, а в (21)–(23), (53) в главной части засвидетельствованность выражена темпоральным способом, а в зависимой – нулевым.

(52) *Ō bargāšta-wo az āncē nazd-e xod ta'yin namuda ast /ba/ čand afgāni beštar mego-yad /m/* (АВ) "Вернувшись назад, он называет цену (букв.: *говорит*) на несколько афгани больше, чем про себя (до настоящего момента) *назначил*";

(53) *Har du zud ba asl-e matlab meyānd /m/ wa boland-boland harf mezanand /m/ če digar ramz-o raz-ē dar meyān nabud-o /d/ Lala čiz-ē nadašt /d/ ke ketmān konad* (А'О) "Оба быстро переходят к сути дела и разговаривают громко, так как уже нет (букв.: *не было*) никаких секретов, и Дядюшке нечего скрывать (букв.: *Дядюшка не имел чего-либо, чтобы скрывать*)".

Здесь нет возможности рассмотреть весьма важный и интересный вопрос о том, насколько произволен выбор варианта употребления финитных форм<sup>8</sup>.

<sup>8</sup> Как уже упоминалось выше (см. п. 3), этот вопрос ставился и частично был разрешен в работе [Миколайчик 1975].

## 5. ЭВИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ПЕРФЕКТНЫЕ ФОРМЫ

Теперь настало время вернуться к основному вопросу, поставленному в данной статье, — к отношению между значением эвиденциальности и перфектными формами.

Сопоставление результатов применения разных способов выражения эвиденциальности показывает, что при нулевом способе количество случаев употребления перфектных форм является минимальным, а употребление финитных форм полностью соответствует общим закономерностям выражения незвиденциальных видо-временных значений (ср. Табл. 2 и 3).

При темпоральном способе количество случаев употребления перфектных форм несколько больше, чем при нулевом, так как в некоторых случаях формам /bd/ нулевого способа в темпоральном соответствует форма /ba/. Причина этого ясна: при темпоральном способе, как уже говорилось выше (см. п. 4), факт засвидетельствованности в качестве события-ориентира ( $E^r$ ) приравнивается по времени к речевому акту ( $E^s$ ). Поэтому и при темпоральном способе в рамках рассматриваемого материала налицо употребление финитных форм соответствует общим закономерностям выражения незвиденциальных видо-временных значений, но с одной поправкой:  $E^r > E^s \Rightarrow E^r \parallel E^s$ .

Что же касается модального способа выражения эвиденциальности, то здесь количество случаев употребления перфектных форм весьма велико. Но при этом употребление финитных форм никак не соответствует общим закономерностям выражения незвиденциальных видо-временных значений (где формы /mba/ и /bba/ вообще неупотребительны) и с позиций этих закономерностей необъяснимо. Как видно из приведенного материала, для перехода от нулевого к модальному способу следует произвести следующую замену маркеров:  $d \Rightarrow ba$ ; эта операция далее именуется перфективацией финитных форм. Однако причина, обусловившая перфективацию, остается пока неочевидной, и ниже предпринимается попытка обнаружить эту причину.

На наш взгляд, дело состоит в следующем. Среди незвиденциальных событий в прошлом событие, характеризующее значением  $\{E^a \parallel -E^n \parallel E^r > E^s\}$  и передаваемое формой /d/, встречается чаще других (ср. (54)). Если в сообщении об этом событии вносится "личностный момент", т.е. факт засвидетельствованности кем-либо этого события, одновременный сообщению о нем и трактуемый как событие-ориентир, то соответствующее значение  $e\{E^a \parallel -E^n > E^r \parallel E^s\}$  даже при нулевом способе выражения эвиденциальности передается формой /ba/ (ср. (54a)). Иными словами, здесь фактически осуществлена вышеупомянутая операция перфективации ( $d \Rightarrow ba$ ). Далее, если факт засвидетельствованности следует за излагаемым событием, но предшествует сообщению о нем, то соответствующее значение  $e\{E^a \parallel -E^n > E^r > E^s\}$  при темпоральном способе выражения эвиденциальности также передается формой /ba/ (ср. (54b)). Как видим, здесь осуществлена все та же операция перфективации ( $d \Rightarrow ba$ ).

(54) *Diröz barf barid /d/* "Вчера *выпал* снег";

(54a) *Medānam ke diröz barf barida ast /ba/* "Я знаю, что вчера *выпал* снег";

(54b) *Danestam ke diröz barf barida ast /ba/* "Я понял, что вчера *выпал* снег".

В связи с вышеизложенным, операция перфективации при наличии факта засвидетельствованности, по-видимому, воспринимается носителями языка как нормальное средство внешнего выражения значения эвиденциальности и под влиянием аналогии переосмысливается ими как уже не частное, а универсальное средство для передачи факта засвидетельствованности вообще, к какому бы событию в прошлом эта засвидетельствованность ни относилась<sup>9</sup>.

Если эти наши рассуждения верны, то первопричиной операции перфективации следует считать то обстоятельство, что значение  $\{E^a \parallel -E^n > E^r \parallel E^s\}$ , по общему прави-

<sup>9</sup> Насколько можно судить по имеющимся описаниям, в таджикском языке процесс перфективации при выражении эвиденциальности зашел еще дальше, чем в дари, и в эту операцию оказалась вовлечена даже не содержащая маркера «d» форма настоящего-будущего времени (/m/), передающая событие в настоящем (т.е. /m/  $\Rightarrow$  /mba/); см., например, [Рассторгуева, Керимова 1964: 85–87, 96].

лу, передается формой перфекта (/ba/). Действительно, именно благодаря этому обстоятельству данной финитной формой передаются значения  $e\{E^a \parallel -E^a > E^r \parallel E^s\}$  (при нулевом и темпоральном способах) и  $e\{E^a \parallel -E^a > E^r > E^s\}$  (при темпоральном способе).

Но, поскольку значение  $\{E^a \parallel -E^a > E^r \parallel E^s\}$ , как было указано ранее (см. п. 2), соответствует так называемой акциональной перфектности, неизбежен вывод, что эвиденциальность с точки зрения внешнего выражения связана именно с акциональной перфектностью, а вовсе не со статальной, как считают многие лингвисты (см. п. 1). Действительно, если допустить, что эвиденциальность связана со статальной перфектностью, то операция перфективации приемлемого объяснения получить не может; в частности, остается непонятно, каким образом в эту операцию оказываются вовлечены сильные глаголы, которые ввиду своей особой лексической семантики совершенно не способны выступать в значениях, связанных со статальной перфектностью (как и вообще с результативностью).

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Дорофеева Л.Н.* 1960 – Язык фарси-хабули. М., 1960.
- Ефимов В.А., Расторгуева В.С., Шарова Е.Н.* 1982 – Персидский, таджикский, дари // Основы иранского языкознания: Новоиранские языки: Юго-западная группа, Прикаспийские языки. М., 1982.
- Козинцева Н.А.* 1994 – Категория эвиденциальности (проблемы типологического анализа) // ВЯ. 1994. № 3.
- Маслов Ю.С.* 1956 – Очерк болгарской грамматики. М., 1956.
- Маслов Ю.С.* 1987 – Перфектность // Теория функциональной грамматики: Введение. Аспектуальность. Временная локализованность. Таксис. Л., 1987.
- Маслов Ю.С.* 1990 – Время // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.
- Миколайчик В.И.* 1975 – Глагольное время и глаголы идеальной деятельности (в современном дари) // Лексикология и грамматика восточных языков. М., 1975.
- Островский Б.Я.* 1995 – Способы выражения видо-временных значений в формах изъявительного наклонения глагола дари // ВЯ. 1995. № 5.
- Островский Б.Я.* 1996а – Глагол языка дари: перфектные формы в эвиденциальном значении // Вестник МГУ. Серия 13: Востоковедение. 1996. № 1.
- Островский Б.Я.* 1996б – Опыт систематизации глагольных категорий (на материале языка дари) // ВЯ. 1996. № 5.
- Расторгуева В.С., Керимова А.А.* 1964 – Система таджикского глагола. М., 1964.
- Эдельман Д.И.* 1975 – Категория наклонения // Опыт историко-типологического исследования иранских языков: Том II. Эволюция грамматических категорий. М., 1975.
- Якобсон Р.О.* 1972 – Шифтеры, глагольные категории и русский глагол / Перев. с англ. // Принципы типологического анализа языков различного строя. М., 1972.

© 1997 г. Е.Л. РУДНИЦКАЯ

**ПРОБЛЕМА АЛТАЙСКОГО СОЧИНЕНИЯ В КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ**

**1. КОНСТРУКЦИЯ С -*ko* "И"  
КАК КОНСТРУКЦИЯ ТИПА "АЛТАЙСКОЕ СОЧИНЕНИЕ"**

Предмет исследования настоящей работы – сочинительная конструкция в корейском языке.

Сложносочиненное предложение в корейском может строиться как по "европейской" модели (когда союз соединяет два финитных предложения), так и по "алтайской" модели [когда только конечный (по терминологии А.А. Холодовича), т.е. последний, глагол предложения является финитным, а союз присоединяется как аффикс к нефинитному глаголу неоконченного предложения]. Мы рассматриваем только сложные предложения "алтайского" типа, но не структуры "европейского" типа. Проводится сравнение предложений с алтайским сочинением и сложных предложений с адвербиальными зависимыми "алтайского" типа (тоже с нефинитным неоконченным предложением). В корейском главное предложение может стоять только после придаточного. Поэтому глагол главного предложения всегда является конечным и финитным, а глагол придаточного предложения всегда неоконченный и нефинитный.

Конечный (финитный) глагол в конструкции "алтайского" типа должен иметь аффиксы времени и наклонения, например *ka-ss-ta* "идти-прош-изъяв"<sup>1</sup>. Неоконченный глагол либо не имеет ни временного аффикса, ни аффикса наклонения, либо имеет временной аффикс, но не имеет аффикса наклонения. Примеры сложных предложений с придаточным причины, глагол которого не имеет временного аффикса или имеет его – (1) и (2).

(1) *Swun Mi-ka pyengina-mulo*

Сун Ми-ном болеть-потому-что

*Hak Swu-ka achim-ul yoli ha-ss-ta*

Хак Су-ном завтрак-акк готовить делать-прош-изъяв

(2) *Swun Mi-ka pyengina-ss-umulo*

Сун Ми-ном болеть-прош-потому-что

*Hak Swu-ka achim-ul yoli ha-ss-ta*

Хак Су-ном завтрак-акк готовить делать-прош-изъяв

"Потому что Сун Ми была больна, Хак Су готовил завтрак"

В примере (1) глагол зависимого предложения представлен только основой, и зависимое предложение присоединяется к главному при помощи аффикса *-(u)mulo* "потому что"<sup>2</sup>. В примере (2) глагол зависимого предложения имеет аффикс прошедшего времени *-ss*, и к этому аффиксу присоединяется аффикс *-(u)mulo*.

<sup>1</sup> Во всех примерах глаголы даются в простом письменном стиле корейского языка. В других стилях, особенно в разговорном стиле аффикс наклонения часто синтаксически не выражен. В качестве фонетической транскрипции примеров используется йельская романизация.

<sup>2</sup> Вопрос о том, насколько рассматриваемые аффиксы зависимы от глагольной основы (как в морфологическом, так и в синтаксическом отношении) мы не рассматриваем, см. [Kendall, Yoon 1986; Yoon 1994; Yu Cho, Sells, 1995].

Сложные предложения с *-ko* "и" строятся по той же схеме, что и конструкции с каноническим адвербиальным подчиненным предложением, ср. (1) и (3), (2) и (4). Конструкция с *-ko* может быть как разносубъектной, как в (3)–(4), так и односубъектной.

(3) *Swun Mi-nun yenge-lul kaluchi-ko*

Сун Ми-топ английский-акк преподавать-и

*Hak Swu-nun samwusil-eyse il-ul hae-ss-ta*

Хак Су-топ контора-мест работа-акк делать-прош-изъяв

(4) *Swun Mi-nun yenge-lul kaluchy-ess-ko*

Сун Ми-топ английский-акк преподавать-прош-и

*Hak Swu-nun samwusil-eyse il-ul hae-ss-ta*

Хак Су-топ контора-мест работа-акк делать-прош-изъяв

"Сун Ми преподавала английский, а Хак Су работал в конторе"<sup>3</sup>

Предложения (3) и (4) – примеры сочинения алтайского типа.

Необходимо заметить, что хотя в предложениях (1) и (3) первая составляющая в сложном предложении не имеет показателя времени, но в нейтральном контексте сфера действия аффикса прошедшего времени распространяется на обе составляющие, см. [Yoon 1994].

## 2. СИНТАКСИЧЕСКИЙ СТАТУС КОНСТРУКЦИИ С *-ko*

Статус конструкции типа "алтайское сочинение" является спорным – трудно доказать и что эта конструкция сочинительная, и что она подчинительная. Мы предпринимаем попытку с помощью ряда тестов определить, можно ли утверждать, что конструкция с *-ko* сочинительная, а также установить, при каких условиях данная конструкция имеет свойства сочинительной или подчинительной. Использовались следующие тесты:

1) А. Coordinate structure constraint (Ограничение на сочинительную структуру), предложенное в работе [Ross 1986]). Данное ограничение состоит в том, что при сочинении двух составляющих трансформации некоторого типа возможны только в обеих сочиненных составляющих (т.е. если одна из составляющих подвергается данной трансформации, а другая не подвергается, то вся конструкция является грамматически неправильной). Примерами подобных трансформаций являются: А. Эмфатическое вынесение дополнения или обстоятельства из одной сочиненной составляющей в начало предложения. Мы используем вынесение дополнения из второй составляющей (тест из работ [Yi 1994; 1995], далее ОГР.А); Б. Постановка частного вопроса только к одной из сочиненных составляющих – к первой или ко второй, но не к обеим (далее ОГР.Б). В (5)–(6) эти две трансформации представлены в схематическом виде (мы приводим схемы сочинения предложений (S), схемы сочинения глагольных групп (VP) строятся аналогично):

(5) ОГР.А: [<sub>S1</sub>ПОДЛ<sub>1</sub>ДОП<sub>1</sub>СКАЗ<sub>1</sub>] -АФФИКС (-КО) [<sub>S2</sub>ПОДЛ<sub>2</sub>ДОП<sub>2</sub>СКАЗ<sub>2</sub>] → ДОП<sub>2</sub>[<sub>S1</sub>ПОДЛ<sub>1</sub>ДОП<sub>1</sub>СКАЗ<sub>1</sub>] -АФФИКС (-КО) [<sub>S2</sub>ПОДЛ<sub>2</sub>ДОП<sub>2</sub>СКАЗ<sub>2</sub>]

(6) ОГР.Б: [<sub>S1</sub>ПОДЛ<sub>1</sub>ДОП<sub>1</sub>СКАЗ<sub>1</sub>] -АФФИКС (-КО) [<sub>S2</sub>ПОДЛ<sub>2</sub>ДОП<sub>2</sub>СКАЗ<sub>2</sub>] → [<sub>S1</sub>ПОДЛ<sub>1</sub>ВОПР.К ДОП<sub>1</sub>СКАЗ<sub>1</sub>] -АФФИКС (-КО) [<sub>S2</sub>ПОДЛ<sub>2</sub>ДОП<sub>2</sub>СКАЗ<sub>2</sub>]<sup>4</sup>

2) Постановка первой составляющей внутрь второй (далее ПОСТ) – см., например, [Haspelmath 1995]. Данный тест предполагает, что в подчинительной конструкции возможна постановка придаточного предложения внутрь главного, но в сочинительной конструкции невозможна постановка одного из сочиненных членов внутрь другого. Корейское придаточное предложение всегда стоит перед главным, поэтому если

<sup>3</sup> Мы используем в переводе союз *o* в связи с особенностями значения русских союзов *и* и *и*, которые являются близкими синонимами.

<sup>4</sup> В корейском вопросительное слово в частном вопросе не выносится в начало предложения, а стоит на том же месте, что и в утвердительном предложении – *in situ*.

первое из предложений, соединенных *-ko*, можно поставить внутри второго, значит, первое является придаточным предложением, а не одним из сочиненных членов. Схематически тест ПОСТ можно представить так:

(7) ПОСТ: [<sub>S1</sub>ПОДЛ<sub>1</sub>ДОП<sub>1</sub>СКАЗ<sub>1</sub>] -АФФИКС (-КО) [<sub>S2</sub>ПОДЛ<sub>2</sub>ДОП<sub>2</sub>СКАЗ<sub>2</sub>] →  
[<sub>S1</sub>ПОДЛ<sub>2</sub>ДОП<sub>2</sub>][<sub>S2</sub>ПОДЛ<sub>1</sub>ДОП<sub>1</sub>СКАЗ<sub>1</sub>] -АФФИКС (-КО) СКАЗ<sub>2</sub>

Необходимо заметить, что все три схемы (5)–(7) иллюстрируют то, что в сочинительной конструкции невозможны преобразования, в результате которых нарушается исходная симметричность расположения сочиненных составляющих – см. [Найтап 1985].

Результаты применения тестов ОГР.А, ОГР.Б, ПОСТ к конструкции с *-ko* следующие: в зависимости от определенных грамматических и прагматических факторов эта конструкция имеет свойства то сочинительной, то подчинительной.

Данные результаты можно интерпретировать по-разному. Прежде всего, можно считать, что в корейском есть две разные конструкции с *-ko*: сочинительная и подчинительная. Однако такая трактовка заставляет признать, что *-ko* – это не один (союзный) аффикс, а два омонимичных аффикса: сочинительный *-ko<sub>1</sub>* и подчинительный *-ko<sub>2</sub>*. Подобное решение является антиинтуитивным и малообъяснительным. Например, это решение не объясняет, почему *-ko<sub>1</sub>* может употребляться как в случае наличия, так и в случае отсутствия у первой сочиненной составляющей аффикса времени, а *-ko<sub>2</sub>* возможно только при его отсутствии [в частности, см. пример (22) из п. 3.2].

В работах по синтаксису алтайского сочинения в японском и корейском языке существуют две основные точки зрения. В работах основанных на многофакторном подходе [Подлеская 1993; Алпатов, Подлеская 1995] не постулируется жесткого противопоставления "сочинительная vs. подчинительная конструкция", а постулируется шкала сочинительности-подчинительности. При этом конструкции типа алтайского сочинения (не проявляющие ни четких сочинительных, ни четких подчинительных свойств) занимают промежуточное положение на этой шкале.

В работах в рамках теории управления и связывания [Yi 1994; 1995] считается, что не существует "промежуточных" между сочинительными и подчинительными конструкций. Если некоторая конструкция хотя бы при некоторых условиях имеет свойства подчинительной, эта конструкция рассматривается как подчинительная. В частности, в работах [Yi 1994; 1995] делается вывод, что *-ko* – это не союз (союзный аффикс), а деепричастный аффикс; конструкция с *-ko* считается конструкцией типа деепричастных европейских конструкций.

Наш подход заключается в следующем. Исходя из морфологических характеристик и набора возможных интерпретаций *-ko*, данный аффикс является специализированным, а не контекстуальным конвербом<sup>5</sup> по классификации в работах [Недялков 1989; 1995]. Следовательно, *-ko* – союзный, а не деепричастный аффикс. Подробно этот тезис обосновывается в п. 3.1.

Мы отдельно рассматриваем синтаксические свойства конструкций, в которых *-ko* может выступать, и синтаксические свойства *-ko* как словарной единицы.

1) Мы считаем ту или иную конструкцию с *-ko* синтаксически сочинительной/подчинительной исходя из результатов тестов ОГР.А, ОГР.Б, ПОСТ. Эти тесты позволяют установить грамматические и контекстные (прагматические) условия, определяющие сочинительный/подчинительный статус конструкции. Так, следующее грамма-

<sup>5</sup> Контекстуальным конвербом является такой нефинитный показатель в сложном предложении, что отношение нефинитного и финитного глагола в этом предложении зависит только от контекста (прагматических факторов), но не от грамматических факторов. Пример такого конверба – русский деепричастный показатель – подробнее о русских деепричастиях см. работу [Богуславский 1977].

Специализированный конверб – нефинитный показатель, такой, что отношение между финитным и нефинитным глаголом фиксируется значением этого показателя или зависит от грамматических факторов. Пример специализированного конверба – союзный аффикс *-(u)mufo* из примеров (1)–(2) п. 1.

тическое условие существенно: наличие/отсутствие у глагола первой из сочиненных составляющих временного аффикса<sup>6</sup>. Если глаголы обеих составляющих имеют по временному аффиксу, то составляющие всегда интерпретируются как независимые, несвязанные события. В этом случае конструкция с *-ko* имеет свойства сочинительной. Грамматический фактор наличия временного аффикса у глагола первой составляющей является достаточным для наличия у конструкции сочинительного статуса.

Если только вторая составляющая имеет временной аффикс, то решающим для статуса данной конструкции фактором является контекстный (прагматический) фактор: интерпретация отношения между сочиненными событиями. Так как соединенные *-ko* составляющие имеют общий показатель прошедшего времени, эти события интерпретируются как темпорально связанные: происходящие одновременно (одно-временная интерпретация) или друг за другом (последовательная интерпретация)<sup>7</sup>. В случае последовательной интерпретации конструкция с *-ko* имеет свойства подчинительной. Грамматическое условие отсутствия временного аффикса – не обязательный, но не достаточный фактор для наличия у конструкции подчинительного статуса, необходим также прагматический фактор последовательной интерпретации.

2) Как указано выше, не существует грамматических условий, при которых конструкция с *-ko* всегда бы имела статус подчинительной. Эта конструкция может быть сочинительной как при наличии, так и при отсутствии временного аффикса у первой составляющей. Подчинительный статус, напротив, возможен только при отсутствии этого аффикса и при дополнительном контекстном условии последовательной интерпретации.

Мы считаем грамматические (а не контекстные) факторы релевантными для определения синтаксического статуса *-ko*. Так как грамматические факторы не налагают ограничений на "сочинительное" употребление *-ko*, а только на его "подчинительное" употребление, мы рассматриваем *-ko* как синтаксически сочинительный союз, который при определенных, в т.ч. контекстных, условиях может употребляться в подчинительной конструкции.

Такая трактовка подтверждает тезис работы [Тестелец 1996]. Согласно этому тезису, синтаксическая сочинительность/подчинительность сложного предложения с союзом *C* не всегда фиксирована или зависит от свойств *C*. Статус предложения с *C* может зависеть и от других факторов. В частности, важным фактором являются грамматические характеристики составляющих, соединенных *C* – в случае корейского, наличие временного показателя у первой составляющей.

Следуя определению синтаксического признака в работе [Апресян и др. 1989]<sup>8</sup>, мы считаем, что *-ko* имеет синтаксический признак "сочинит". Наличие этого признака не противоречит возможности употребления *-ko* в конструкциях, имеющих свойства подчинительных.

<sup>6</sup> См. примеры (3)–(4) из п. 1, которые отличаются наличием/отсутствием этого аффикса.

<sup>7</sup> Пример одно-временной интерпретации – взаимное расположение событий в предложении "Мария работала в библиотеке и училась в вечерней школе" (как в примерах (3)–(4) из п. 1; (12)–(13) из п. 3.2). Пример последовательной интерпретации – "Мария кончила школу и поступила в институт" (как в примерах (14), (15), (16) и далее из пункта 3.2). О последовательной интерпретации в предложениях с союзом *and* "и" в английском языке см. работы [Grice 1989; Schmerling 1975]; на материале русского языка – работу [Санников 1990].

<sup>8</sup> Синтаксический признак – это свойство слова, которое дает этому слову возможность участвовать в одних синтаксических конструкциях и запрещает его употребление в других конструкциях. Наличие у слова синтаксического признака "X" не предполагает, что это слово употребляется только в конструкциях типа "X". Например, русский глагол имеет признак "РПОДЛ", потому что его подлежащее при отрицании может стоять в родительном падеже. Глагол *поступить* имеет этот признак: *Таких сведений в институт еще не поступало* (пример из [Апресян и др. 1989: 258]). Однако подлежащее *поступить* может стоять и в именительном падеже – *Такие сведения в институт еще не поступили*.

Наш вывод противоречит точке зрения [Черемисина и др. 1986], согласно которой конструкция типа алтайское сочинение всегда подчинительная потому, что глагол первой из сочиненных составляющих в ней всегда нефинитный. Напротив, он почти полностью совпадает с тезисом работ [Yoon, Yoon 1990; Yoon 1994], согласно которому конструкция с *-ko* является сочинительной.

Результаты тестов на сочинение и условия сочинительности/подчинительности для конструкций с *-ko* приводятся в п. 3.2.

Необходимо заметить, что мы рассматриваем конструкцию с *-ko* только с синтаксически-формальной, но не с функциональной точки зрения. Наши выводы не противоречат утверждению работы [Бергельсон, Кибрик 1995], что конструкция с *-ko* (как конструкция типа алтайское сочинение) является (квази)сочинительной с точки зрения ее функции в языке.

### 3. АНАЛИЗ АФФИКСА *-ko* И ФАКТОРОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ СИНТАКСИЧЕСКИЙ СТАТУС КОНСТРУКЦИЙ С *-ko*

#### 3.1. Аффикс *-ko* как специализированный конверб

Как указано выше, в некоторых работах [Yi 1994; 1995] утверждается, что *-ko* – это деепричастный показатель. Мы не можем согласиться с подобной точкой зрения по следующим двум причинам.

1) По своим морфологическим характеристикам аффикс *-ko* не отличается от подчинительных аффиксов, например *-(l)ulita* у "когда", *-(u)mulo* "потому что" и др. (ср. примеры (1)–(2) с *-(u)mulo* и примеры (3)–(4) с *-ko*). И *-ko*, и подчинительные аффиксы присоединяются к основе неконечного глагола [как в (1), (3)] или к аффиксу времени неконечного глагола [как в (2), (4)]. Если бы можно было противопоставить (подчинительные) союзные аффиксы, с одной стороны, и деепричастный аффикс *-ko*, с другой, то морфологические характеристики *-ko* должны были бы быть отличными от характеристик союзных аффиксов. Поскольку подобного различия не существует, мы считаем, что в корейском нет противопоставления деепричастных и союзных конструкций, существующего в европейских языках (ср. вывод в работе [Бергельсон, Кибрик 1995]). Таким образом, *-ko* следует считать не деепричастным, а союзным аффиксом.

2) Согласно работам [Недялков 1990; 1995; König 1995], деепричастные показатели являются не контекстуальными, а специализированными конвербами (см. сноску 5). Исходя из возможных интерпретаций *-ko*, этот аффикс не может рассматриваться как контекстуальный конверб. Во-первых, *-ko* не допускает никакого обстоятельственного отношения между сочиненными составляющими (кроме последовательной интерпретации)<sup>9</sup>. Так, в предложении (1) с адвербиальным аффиксом *-(u)mulo* "потому что" невозможна замена *-(u)mulo* на *-ko* без изменения отношения между составляющими. Предложение (8) не может иметь ни перевода 1, идентичного переводу предложения (1), ни перевода 2, который допускает причинно-следственную интерпретацию отношения между ситуациями "Сун Ми больна" и "Хак Су готовит завтрак", а только перевод 3, при котором данные ситуации связаны отношением "и". Ср. также односубъектное предложение (9), в котором только перевод 1 возможен с *-(u)mulo*, и только перевод 3 – с *-ko*.

(1) *Swun Mi-ka pyengina-mulo*

<sup>9</sup> Конструкция с *-ko* при определенных условиях допускает интерпретацию первой составляющей как придаточного времени; тогда эта конструкция приобретает свойства подчинительной, см. пример (17) из п. 3.2. Однако причинно-следственное отношение как в (8)–(9) или какое-либо другое адвербиальное отношение невозможно.

Сун Ми-ном болеть-потому-что  
*Hak Swu-ka achim-ul yoli ha-ss-ta*  
Хак Су-ном завтрак-акк готовить делать-прош-изъяв  
"Потому что Сун Ми была больна, Хак Су готовил завтрак"

(8) *Swun Mi-ka pyengina-ko*

Сун Ми-ном болеть-и  
*Hak Swu-ka achim-ul yoli ha-ss-ta*  
Хак Су-ном завтрак-акк готовить делать-прош-изъяв

(1) Невозможно: "Потому что Сун Ми была больна, Хак Су готовил завтрак"

(2) Невозможно: "Сун Ми была больна, и (поэтому) Хак Су готовил завтрак"

(3) Возможно: "Сун Ми была больна, а Хак Су готовил завтрак"

(9) *Yeng Ca-nun sensayng i -mulol-ko maywi emkyekha-Ø-ta*

Йенг Джа-топ учитель быть -потому что/и очень быть-строгим-наст-изъяв

(1) Возм.с-т и l o; невозм.с-к o: "Потому что Йенг Джа учительница, (она) очень строгая". (2)

Невозм.с-т и l o; невозм.с-к o: "Йенг Джа учительница, и (поэтому) (она) очень строгая". (3)

Невозм.с-т и l o; возм.с-к o: "Йенг Джа учительница; (кроме того) (она) очень строгая"

Во-вторых, *-ko* не допускает интерпретации одновременного по времени продолженного действия, ср. русское предложение (10) и корейское (11).

(10) *Чхон Сук ужинала, слушая радио*

(11) *Chen Swuk-un latio-lul tul \*-kol-mye*

Чхон Сук-топ радио-акк слушать -и/-одновременно

*os-ul kkweutay-ko iss-ess-ta*

платье-акк шить-нефинит быть-прош-изъяв

"Чхон Сук слушала радио и шила платье", "Чхон Сук шила платье, слушая радио"<sup>10</sup>

Примеры (8)–(9), (11) показывают, что множество возможных интерпретаций *-ko* ограничено и часто не зависит от контекстных факторов. Поэтому мы считаем, что *-ko* – не контекстуальный, а специализированный конверб (не дееспричастный показатель, а союзный аффикс).

### 3.2. Факторы, определяющие синтаксический статус конструкции с *-ko*

В настоящем пункте мы показываем на основе тестов (5)–(7), что основным грамматическим фактором, определяющим сочинительность/подчинительность конструкции с *-ko*, является наличие/отсутствие временного аффикса у первой составляющей, и кроме того важным является контекстный фактор одновременной/последовательной интерпретации.

Сначала приведем примеры односубъектных конструкций.

Предложения (12)–(13) допускают только одновременную интерпретацию. Примеры (12а–в), (13а–в) неправильны независимо от того, присутствует ли в них временной аффикс *-ss-* при первой составляющей. Значит, (12)–(13) всегда имеют свойства сочинительных: и при наличии обоих условий "сочинительности", и при наличии только условия одновременности.

(12) *Swun Mi-nun pap-ul cohaha(-yss)-ko*

Сун Ми-топ рис-акк любить(-прош)-и

<sup>10</sup> Здесь показатель *-ko* после глагола "шить" – это омонимичный *-ko* "и" показатель нефинитности глагола, употребляемый при аналитическом способе образования продолженного времени ("глагол + *-ko iss-*" с помощью глагола *iss-ta* "быть"), а также как инфинитивный показатель при дополнениях глаголов "хотеть", "осмелиться" и нек. др. – см. [Lee 1993].

*ppang-ul silhehay-ss-ta*

хлеб-акк не-любить-прош-изъяв

"Сун Ми любила рис и не любила хлеб"

(12а) ОГР.А \**ppang-ul, Swun Mi-nun pap-ul cohaha(-yss)-ko silhehay-ss-ta*, букв. "х л е б, Сун Ми рис любила-и не любила"

(12б) ОГР.Б \**Swun Mi-nun pap-ul cohaha(-yss)-ko mwues-ul silhehay-ss-ni*, букв. "Сун Ми рис любила-и что не любила?"

(12в) ПОСТ \**Swun Mi-nun ppang-ulpap-ul cohaha(-yss)-ko silhehay-ss-ta*, букв. "Сун Ми хлеб, р и с л ю б и л а - и , не любила"

(13) *Yeng Ca-nun tokile-lo chayk-ul ponyekha(-yss)-ko*

Йенг Джа-топ немецкий-напр книга-акк переводить(-прош)-и

*ayki-eykey kulim-ul kaluchy-ess-ta*

дети-к рисование-акк преподавать-прош-изъяв

"Йенг Джа переводила книги на немецкий и преподавала детям рисование"

(13а) ОГР.А

\**kulim-ul, Yeng Ca-nun tokile-lo chayk-ul ponyekha (-yss) -ko ayki-eykey kaluchy-ess-ta*, букв.

"р и с о в а н и е, Йенг Джа на немецкий книги переводила и детям преподавала"

(13б) ОГР.Б

\**Yeng Ca-nun tokile-lo chayk-ul ponyekha (-yss) -ko ayki-eykey mwues-ul kaluchy-ess-ni*, букв.

"Йенг Джа на немецкий книги переводила-и детям ч т о - а к к преподавала?"

(13в) ПОСТ

\**Yeng Ca-nun ayki-eykey kulim-ul tokile-lo chayk-ul ponyekha (-yss) -ko kaluchy-ess-ta*, букв.

"Йенг Джа детям рисование, на немецкий книги переводила-и, преподавала"

Предложения (14), (15), (16) допускают последовательную интерпретацию. Примеры (14а–б), (15), (16а–в) правильны только при отсутствии аффикса *-al-ess-* в первой составляющей. Значит, в случае последовательной интерпретации решающим для сочинительного/подчинительного статуса конструкции является наличие/отсутствие этого аффикса.

(14) *Swun Mi-nun caki aphathu-lul phal(-ass)-ko*

Сун Ми-топ свой квартира-акк продать (-прош)-и

*cohun cip-ul sa-ss-ta*

хороший дом-акк купить-прош-изъяв

"Сун Ми продала свою квартиру и купила хороший дом"

(14а) ОГР.А *cohun cip-ul, Swun Mi-nun caki aphathu-lul phal (\*-ass)-ko sa-ss-ta*, букв.

"х о р о ш и й д о м, Сун Ми свою квартиру продала-и купила"

(14б) ПОСТ *Swun Mi-nun cohun cip-ul caki aphathu-lul phal (\*-ass)-ko sa-ss-ta*, букв. "Сун Ми

хороший дом, с в о ю к в а р т и р у п р о д а л а - и , купила"

(15) ОГР.Б *Swun Mi-nun mwusun kotonghakkyo-lul machy(\*-ess)-ko*

Сун Ми-топ как ой средняя школа-а к к закончить -прош-и

*Sewultayhak-ey tuleska-ss-ni*, букв. "Сун Ми какую среднюю школу закончила и в Сеульский университет поступила?"; "Какую это среднюю школу закончила Сун Ми, что дало ей возможность поступить в Сеульский университет?"<sup>11</sup>

<sup>11</sup> В отличие от европейских языков, в корейском (и японском) сложноподчиненном предложении с адвербиальным зависимым можно поставить частный вопрос к компоненту адвербиального зависимого предложения без нарушения грамматической правильности – см. [Lasnik, Saito 1992]. Ср. грамматически правильный пример (15) и его буквальный (грамматически неправильный) русский перевод.

- (16) *Sonnem-tul-un achim-ul mek (-ess)-ko*  
 гости-мнж-топ завтрак-акк есть (-прош)-и  
*nokcha-lul masy-ess-ta*  
 зеленый-чай-акк пить-прош-изъяв

"Гости скушали завтрак и выпили зеленый чай"

- (16a) ОГР.А *nokcha-lul, sonnem-tul-un achim-ul mek (\*-ess) -ko masy-ess-ta*, букв. "з е л е н ы й ч а й, гости завтрак скушали-и выпили"

- (16b) ОГР.Б *Sonnem-tul-un achim-ul mek (\*-ess) -ko mwusun cha-lul masy-ess-ni*, букв. "гости завтрак скушали и к а к о й ч а й выпили?"

- (16в) ПОСТ *Sonnem-tul-un nokcha-lul achim-ul mek (\*-ess) -ko masy-ess-ta*, букв. "гости зеленый чай, з а в т р а к с к у ш а л и - и, выпили"

В примерах (14)–(146) сочиненные составляющие обозначают следующие друг за другом, но отдельные события, а не этапы (части) одного события. Кроме того, последовательные события не обязательно должны следовать друг за другом; если они отделены значительным временным интервалом, как в (17)–(17в), конструкция все равно имеет свойства подчинительной. В (17)–(17в) первая из составляющих интерпретируется как обстоятельство времени. Таким образом, именно отношение последовательности (а не принадлежность к одному событию) является релевантным для подчинительного статуса односубъектной конструкции<sup>12</sup>.

- (17) *Swun Mi-nun Sewultayhak-ul colepha-ko*  
 Сун Ми-топ Сеульский-университет закончить-и  
*i-nyen-hwu Tokil-ey ka-ss-ta*

д в а-г о д-ч е р е з Германия-напр идти-прош-изъяв

"Сун Ми закончила Сеульский университет и через два года уехала в Германию";  
 "После окончания Сеульского университета, Сун Ми через два года уехала в Германию"

- (17a) ОГР.А *Tokil-ey, Swun Mi-nun Sewultayhak-ul colepha-ko i-nyen-hwu ka-ss-ta*, букв. "В Г е р м а н и ю, Сун Ми Сеульский университет кончила-и через два года уехала"

- (17b) ОГР.Б *Swun Mi-nun Sewultayhak-ul colepha-ko i-nyen-hwu et-ey ka-ss-ta*, букв. "Сун Ми Сеульский университет кончила -и через два года к у д а уехала?"

- (17в) *Swun Mi-nun Tokil-ey Sewultayhak-ul colepha-ko i-nyen-hwu ka-ss-ta*, букв. "Сун Ми в Германию, Сеульский университет кончила-и, через два года уехала"

В отличие от конструкции с *-ko*, для конструкции с адвербиальным аффиксом (например, *-(u)mulo* "потому что", *-(l)ulttay* "когда") нерелевантно, имеет ли глагол придаточного (неконечного) предложения временной аффикс. Адвербиальная конструкция всегда обладает свойствами подчинительной – ср. примеры выше и примеры (18)–(18б), (19).

- (18) *Chen Swuk-un Sewultayhak-ul colephay -ss -umulo*  
 Чхон Сук-топ Сеульский-университет кончить-прош-потому-что  
*cohun cikcang-ul et-ess-ta*

хороший работа-акк найти-прош-изъяв

"Потому что Чхон Сук кончила Сеульский университет, (она) нашла хорошую работу"

- (18a) ОГР.А *cohun cikcang-ul, Chen Swuk-un Sewultayhak-ul colephay-ss-mulo et-ess-ta*, букв. "х о р о ш у ю р а б о т у, Чхон Сук Сеульский университет кончила-потому-что нашла"

<sup>12</sup> Наши данные не подтверждают гипотезу работы [Yoon 1990], согласно которой конструкция с *-ko* подчинительная только в том случае, когда соединенные *-ko* составляющие интерпретируются как этапы или части одного более крупного события.

(186) ПОСТ *Chen Suk-un cohun cikcang-ul Sewultayhak-ul colephay-ss-umulo et-ess-ta*, букв. "Чхон Сук хорошую работу, Сеульский университет кончила-потому-что, нашла"

(19) ОГР. В *Chen Swuk-un Sewultayhak-ul colephay-ss-ulttay eti-ey ka-ss-ni* букв. "Чхон Сук Сеульский университет кончила-когда куда уехала?"; "Куда уехала Чхон Сук, когда (она) кончила Сеульский университет?"

Таким образом, сравнение конструкции с *-ko* (с последовательной интерпретацией) и подчинительной конструкции показывает, что первая может рассматриваться как подчинительная только при отсутствии самостоятельного временного аффикса у первого из сочиненных глаголов.

Теперь приведем примеры разносубъектных конструкций. Разносубъектные конструкции подчиняются тем же закономерностям, что и односубъектные. Мы приведем только примеры, допускающие последовательную интерпретацию: (20)–(20в) показывает, что конструкция может иметь свойства подчинительной только при отсутствии у первой из сочиненных составляющих временного аффикса.

(20) *Chel Swu-ka cangkaka (-ss)-ko*

Чхол Су-ном жениться -прош-и

*ku-uy emeni-ka atul-uy apha-thu-lo isahay-ss-ta*

он-прит мать-ном сын-прит квартира-напр переехать-прош-изъяв

"Чхол Су женился, и его мать переехала в квартиру сына"<sup>13</sup>

(20а) ОГР. А

*atul-uy apha-thu-lo, Chel Swu-ka cangkaka (\*-ss)-ko ku-uy emeni-ka isahay-ss-ta*, букв. "в квартире сына, Чхол Су женился-и его мать переехала"

(20б) ОГР. Б

*Chel Swu-ka cangkaka (\*-ss)-ko ku-uy emeni-nun nwukwu-uy apha-thu-lo isahay-ss-ni*, букв. "Чхол Су женился-и его мать в чью квартиру переехала?"

(20в) ПОСТ *Chel Swu-uy emeni-nun atul-uy apha-thu-lo Chel Swu-ka cangkaka (\*-ss)-ko isahay-ss-ta*, букв. "мать Чхол Су в квартиру сына, Чхол Су женился-и, переехала"

В примере (20) знания о мире неоднозначно указывают на последовательную интерпретацию и на связанность сочиненных событий. Однако в большинстве случаев разносубъектные предложения допускают последовательную интерпретацию только при эксплицитном указании на такую интерпретацию – если за аффиксом *-ko* следует союзное наречие *nantwi* "потом". При отсутствии *nantwi* события интерпретируются как несвязанные, и конструкция имеет свойства сочинительной (в примерах обязательность *nantwi* обозначается как *\*(nantwi)*).

(21) *Chel Swu-ka Sewultayhak-ul colepha-ko (nantwi)*

Чхол Су-ном Сеульский-университет-акк закончить-и (потом)

*Yeng Ca-ka cohun ital-ul nah-uss-ta*

Йенг Джа-ном хороший дочь-акк родить-прош-изъяв

"Чхол Су закончил Сеульский университет, и (потом) Йенг Джа родила хорошую дочь"<sup>14</sup>

(21а) ОГР. А

<sup>13</sup> Предложение (20) понимается носителями корейского таким образом, что мать Чхол Су переехала в квартиру сына, чтобы жить там с ним и его женой.

<sup>14</sup> При наличии *nantwi* ситуации данного примера понимаются как связанные и последовательные: например, Чхол Су и Йенг Джа женаты; после того как Чхол Су закончил университет, Йенг Джа родила дочку. При отсутствии *nantwi* более точный перевод примера (21) следующий (при ответе на вопрос "Что нового у Чхол Су и у Йенг Джа?"): "Чхол Су закончил университет, а Йенг Джа родила дочь". Эти две ситуации понимаются как несвязанные, например, Чхол Су и Йенг Джа не обязательно родственники: кроме того, оба события не обязательно происходят последовательно.

*cohun ital-ul Chel Swu-ka Sewultayhak-ul colepha-ko* \* (nantwi) *Yeng Ca-ka nah-ass-ta*,  
букв. "х о р о ш у ю д о ч ь, Чхол Су Сеульский университет закончил-и \* (потом)  
Йенг Джа родила"

(21б) ОГР.Б

*Chel Swu-ka Sewultayhak-ul colepha-ko* \* (nantwi) *Yeng Ca-nun nwukwu-lul nah-ass-ni*, букв.  
"Чхол Су Сеульский университет закончил-и \* (потом) Йенг Джа к о г о родила?"

(21в) ПОСТ

*Yeng Ca-nun cohun ital-ul Chel Swu-ka Sewultayhak-ul colepha-ko* \* (nantwi) *nah-ass-ta*,  
букв. "Йенг Джа хорошую дочь, Ч хол Су Сеульский университет  
з а к о н ч и л и \* (п о т о м), родила"

Необходимо заметить, что последовательная интерпретация в примере (21) невозможна, если у первой составляющей есть временной аффикс: он не сочетается с *nantwi*; ср. (21) и (22).

(22) *Chel Swu-nun Sewultayhak-ul colephay-ss-ko* (\* nantwi)

Чхол Су-топ Сеульский-университет-акк закончить-прош-и (\* потом)

*Yeng Ca-nun cohun ital-ul nah-ass-ta*

Йенг Джа-топ хороший дочь-акк родить-прош-изъяв

"Чхол Су закончил Сеульский университет, а Йенг Джа родила хорошую дочь" [здесь возможна только "независимая" интерпретация, ср. сноску 14]

Корейский материал (пример (21), в частности) показывает, что разносубъектная конструкция с *-ko* допускает последовательную интерпретацию без эксплицитного на нее указания гораздо с бóльшим трудом, чем односубъектная (ср. односубъектные предложения (14), (15), (16), свободно допускающие последовательную интерпретацию).

Такое различие между одно- и разносубъектными конструкциями представляет проблему для анализа, предложенного в настоящей статье. Оно предполагает, что возможность одновременной/последовательной интерпретации, и, следовательно, сочинительного/подчинительного статуса конструкции зависит от еще одного грамматического фактора: одно-/разносубъектности конструкции (ср. работу [Тестелец 1996]). Данная проблема требует дальнейшего изучения.

Таким образом, конструкция с *-ko* всегда является сочинительной при наличии у первой составляющей временного аффикса. При его отсутствии конструкция может иметь свойства подчинительной, но для этого необходимо, чтобы сочиненные события интерпретировались как последовательные. Односубъектная конструкция допускает последовательную интерпретацию гораздо легче, чем разносубъектная.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящей работе была проанализирована конструкция "алтайское сочинение" в корейском, а также аффикс *-ko* "и", который выступает в этой конструкции.

С помощью ряда тестов было показано, что синтаксически сочинительный/подчинительный статус этой конструкции определяют два основных фактора: грамматический фактор наличия/отсутствия временного показателя у первой из сочиненных составляющих и контекстный (прагматический) фактор последовательной интерпретации. При наличии временного аффикса конструкция всегда является сочинительной. При отсутствии временного аффикса статус конструкции зависит от интерпретации отношения между составляющими: в случае одновременной интерпретации конструкция является сочинительной, а в случае последовательной интерпретации – подчинительной. Так как *-ko* может выступать в синтаксически сочинительной конструкции, этот аффикс имеет синтаксический признак "сочинит".

Также было показано, что *-ko* является специализированным конвербом (а не деепричастным показателем), что подтверждает тезисы о сочинительном статусе ряда конструкций с *-ko* и о возможности считать *-ko* сочинительным союзом\*.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Апресян Ю.Д. и др. 1989 – Лингвистическое обеспечение системы ЭТАП-2. М., 1989.
- Богуславский И.М. 1977 – О семантическом описании русских деепричастий – неопределенность или многозначность? ИАН СЛЯ. 1977. № 3.
- Недъяков В.Н. 1990 – Основные типы деепричастий // Типология и грамматика / Под ред. В.С. Храковского. М., 1990.
- Подлеская В.И. 1993 – Сложное предложение в современном японском языке. Материалы к типологии теории полипредикативности. М., 1993.
- Санников В.З. 1990 – Конъюнкция и дисъюнкция в естественном языке (на материале русских сочинительных конструкций) // ВЯ. 1990. № 5.
- Тестелец Я.Г. 1996 – Сочинительные конструкции в цахурском языке (рукопись).
- Черемисина М.И. и др. 1986 – Структурные типы синтетических полипредикативных конструкций в языках разных систем. Новосибирск. 1986.
- Alpatov V.M., Podlesskaya V.I. 1995 – Converbs in Japanese // M. Haspelmath, E. König (eds.) *Converbs in cross-linguistic perspective. Structure and meaning of adverbial forms – adverbial participles, gerunds.* Berlin; New York. 1995.
- Bergel'son M.B., Kibrik A.A. 1995 – The system of switch-reference in Tuwa: Converbial and masdar-case forms // M. Haspelmath, E. König (eds.) *Converbs in cross-linguistic perspective.* Berlin; New York. 1995.
- Grice H.P. 1989 – Logic and conversation // H.P. Grice. *Studies in the way of words.* Cambridge (Mass.). 1989.
- Kendall S.A., Yoon J.-H. 1986 – Morphosyntactic interaction with pragmatic and syntax particles // *Chicago Linguistic Society 22.V.2, Parasession.* 1986.
- König E. 1995 – The meaning of converb constructions // M. Haspelmath, E. König (eds.). *Converbs in cross-linguistic perspective.* Berlin; New York. 1995.
- Lasnik H., Saito M. 1992 – Move Alpha. Cambridge (Mass.). 1992.
- Lee K. 1993 – A Korean grammar on semantic-pragmatic principles. Seoul, 1993.
- Nedjalkov V.N. 1995 – Some typological parameters of converbs // M. Haspelmath, E. König (eds.). *Converbs in cross-linguistic perspective.* Berlin; New York. 1995.
- Ross J.R. 1986 – *Infinite syntax.* Norwood, 1986.
- Haspelmath M. 1995 – The converbs as a cross-linguistically valid category // M. Haspelmath, E. König (eds.). *Converbs in cross-linguistic perspective.* Berlin; New-York, 1995.
- Haiman J. 1985 – Symmetry//J. Haiman (ed.). *Iconicity in Syntax. Proceedings of the symposium on iconicity in syntax.* Amsterdam, 1985.
- Schmerling S.F. 1975 – Asymmetric conjunction and rules of conversation // *Syntax and semantics 3. Speech Acts.* 1975.
- Yi E.-Y. 1994 – Adjunction, coordination and their theoretical consequences. (Manuscript, Cornell University).
- Yi E.-Y. 1995 – Phrasal structure of so-called *-ko* coordination in Korean. (Paper presented at the 110-th Linguistic Society of Japan Conference, June 9, 1995).
- Yoon J.-H., Yoon J. 1990 – Morphosyntactic mismatches and the function-content distinction // *Chicago Linguistic Society 26.V.1. The Main Session.* 1990.
- Yoon J.-H. 1994 – Korean verbal inflection and checking theory // *MIT Working Papers in Linguistics.* 1994.
- Yo Cho Y.-M., Sells P. 1995 – A lexical account of inflectional suffixes in Korean // *Journal of East Asian linguistics.* V. 4. № 2. 1995.

\* Автор выражает благодарность Я.Г. Тестельцу за интересное и полезное обсуждение настоящей работы и И.М. Богуславному за ценные советы, а также Ли Че Хонгу, Че Сул Ми и Ю Чул Чону за помощь в сборе материала.

**КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ**

**ОБЗОРЫ**

© 1997 г. К.Я. СИГАЛ

**ПРОБЛЕМА ИКОНИЧНОСТИ В ЯЗЫКЕ**

(обзор литературы)

**ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ**

За последние три десятилетия (1970-е–1990-е гг.), а точнее начиная с 1965 года, когда впервые увидела свет программная статья Р.О. Якобсона "В поисках сущности языка" [Якобсон 1983: 102–117], как в странах Западной Европы и США, так и в нашей стране опубликован целый ряд лингвистических исследований, посвященных проблеме ико<sup>ни</sup>ч<sup>но</sup>сти в языке. Как показывает выборочный анализ англо- и немецкоязычной литературы по лингвистике, употребление термина "иконичность" считается признаком хорошего лингвистического вкуса. Между тем этот термин часто употребляют вне его разумного соотношения с соответствующим ему понятием и теоретическим миром концепции, к которой он генетически восходит. Как подчеркивает немецкий лингвист Х. Зайлер, используя столь часто и безосновательно термин "иконичность", ученые отдают дань современной лингвистической моде [Seiler 1989: 165]. Неотработанность соответствующего понятия подтверждают отмеченные случаи полисемии термина, а также, что особенно показательно, использование как дублетных терминов, образующих противопоставленные ряды понятий в исходной концепции (ср. в монографии [Панфилов 1977: 55 и сл.]: как дублетные употребляют термины "иконичность" и "символичность"). Свидетельствуя о начальной фазе научного исследования проблемы, эти факты иллюстрируют и другое: попытки ученых-лингвистов разными путями прийти к адекватному понятию "иконичности". Примечательно и то, что уже дважды в течение последнего десятилетия собирались представительные международные симпозиумы, всецело посвященные проблеме иконичности: "Иконичность в синтаксисе" (июнь 1983 г., Стэнфорд) [IS 1985] и "Иконичность в языке" (октябрь 1992 г., Рим) [IL 1995]<sup>1</sup>. Меньшее внимание уделяют проблеме иконичности отечественные лингвисты, что связано прежде всего с отсутствием переводов основных трудов по проблеме на русский язык, а также с недостаточным информационным обеспечением нашей вузовской науки. Предваряя собственно обзор литературы, отобранной нами беспристрастно, т.е. с учетом собственных научных интересов, и все же отражающей основные подходы к осмыслению проблемы иконичности, заметим, что в отечественной лингвистике не существует никаких объективных препятствий для рассмотрения языка сквозь призму иконичности.

<sup>1</sup> Реферативное изложение основных докладов, сделанных на конференции в Римском университете, можно найти в [Березин 1996].

Развитие лингвистической науки в XX в., формирование целостного "образа языка" (Ю.С. Степанов) в сознании ученых-лингвистов происходило под влиянием семиологического подхода к изучению языка. Неслучайность возникновения именно такого подхода в методологической рефлексии лингвистов подтверждается тем, что в недрах различных, подчас не пересекающихся лингвистических традиций (русской, западноевропейской, американской) складываются предпосылки для интерпретации языка, его единиц и категорий как знаковых сущностей. При этом следует отметить, что доминирующие в каждой из традиций семиологические концепции соотносятся друг с другом по-разному: так, если концепции русских И.А. Богузна де Куртенэ и Н.В. Крушевского и швейцарца Ф. де Соссюра обычно признаются типологически близкими, то концепции того же Соссюра и американца Ч.С. Пирса (а также и его последователя Ч. Морриса), напротив, принято противопоставлять, считать их типологически некоррелированными, связывать их с различными парадигмами в лингвистике [Stetter 1979: 124–149; Shapiro 1983: 25–100; Dressler 1989]. Последнее обстоятельство представляется особенно важным, поскольку в современной лингвистике именно контрверза Соссюр-Пирс занимает ведущее место в обсуждении адекватности семиологического портрета языка, нарисованного Ф. де Соссюром и долгое время безоговорочно принимавшегося большинством лингвистов. Здесь необходимо обратить внимание на то, что концепция американского философа и логика Ч.С. Пирса (1839–1914) оставалась практически неизвестной лингвистам в Западной Европе и России до появления уже упоминавшейся статьи Р.О. Якобсона. Это было связано с тем, что его труды начали издаваться лишь с 1938 года, причем малыми тиражами и после весьма неудовлетворительной текстологической обработки [Мельвил 1968; Якобсон 1996: 164]. Поэтому "во времена великого брожения в науке, которое последовало за Первой мировой войной, только что появившийся Cours de linguistique générale Соссюра не мог быть сопоставлен с аргументами Пирса: такое сопоставление идей одновременно и сходных, и противоположных, возможно, изменило бы историю общей лингвистики и начала семиотики" [Якобсон 1996: 164]. Тем примечательнее обращение Р.О. Якобсона именно к трудам Пирса, объясняемое существованием особых "парадигм разрыва" в развитии научной мысли [Кубрякова 1995: 164 и сл.]. Сам ученый тяжело переживал отсутствие у лингвистов глубокого интереса к трудам Ч.С. Пирса, в чем признался в одной из последних статей, носящей характерное название "Несколько слов о Пирсе, п е р в о п р о х о д ц е (разрядка моя. – К.С.) науки о языке" (1977 г.): "Я должен признаться, что на протяжении многих лет испытывал горечь от того, что был, возможно, единственным среди лингвистов, кто интересовался взглядами Пирса" [Якобсон 1996: 165]. Более того, Р.О. Якобсон был настолько увлечен пирсовской семиологией, что создал целую программу лингвистических исследований, базирующуюся на важнейших положениях последней [Мельчук 1995: 603–605, 618–621]. (Подробнее о данной программе и ее освоении см. в разделах "Иконичность в морфологии" и особенно "Иконичность в синтаксисе").

Основным положением семиологии Ч.С. Пирса, оказавшимся крайне важным для лингвистики, является типология репрезентативных (т.е. знаковых), опирающаяся на виды знакообозначения, которые в свою очередь базируются на различных взаимоотношениях между означающим и означаемым знака. Фундаментом данной типологии у Пирса, по мнению большинства лингвистов [Shapiro 1983; Кубрякова 1993], явились понятия интерпретанты (т.е. того "ключа, с помощью которого получатель сообщения понимает полученное сообщение" [Якобсон 1996: 147], скрытого от непосредственного наблюдения правила, по которому означающее и означаемое языкового знака (или знакового образования) связано выражают некоторую концептуальную значимость) и интерпретатора, т.е. субъекта, которому в той или иной степени известны правила соотношения объекта в реальном мире, его когнитивного аналога и тела знака, под которое подводится данное когнитивное содержание [см. об этом подробнее [Кубрякова 1993: 21]]. С этим обстоятельством связано то, что уже в статье "В поисках

сущности языка" Р.О. Якобсон имплицитно, без употребления соответствующего термина, рассматривает типы знаков, выделенные Ч.С. Пирсом, как различные способы представления когнитивного содержания. Типология Ч.С. Пирса, которую в теоретической лингвистике правильнее было бы называть типологией Пирса-Якобсона, представляет собой триаду знаков: иконический знак – индекс – символ. Иконические знаки основаны на подобии означающего и означаемого (ср. замечание Ч. Морриса: "Семантическое правило употребления иконических знаков состоит в том, что они обозначают (денотируют) те объекты, которые имеют те же свойства, что и сами знаки, или чаще – некоторый ограниченный набор их признаков" [Моррис 1983: 58]), в то время как индексальные и символические знаки базируются на смежности означающего и означаемого. Однако если у индексального знака эта смежность реально существует и обнаруживается интерпретатором как факт, то у символического знака устанавливается по соглашению (ср. античную теорию *thései*). Примечательно, что в иерархии от иконического знака к символу уменьшается степень зависимости знака от своего аналога в реальном мире и/или в сознании интерпретатора. Кроме того, "указанные им (Пирсом. – К.С.) главные классы знаков не образуют замкнутых сфер, но постоянно накладываются друг на друга. Одно и то же явление может выступать в различных отношениях и как индекс, и как иконический знак, и как символ" [Мельвиль 1968: 198], т.е. между выделенными типами знаков не существует непроходимых границ, они могут совмещаться, а также динамически изменять свой статус в иерархии "иконичность ↔ символичность" (ср., в частности [Robertson 1983: 529–540; Виноградов 1993]). Поиски же лингвистического понятия иконичности<sup>2</sup> побуждают нас к тому, чтобы подробнее остановиться на трактовках иконических знаков у Пирса, Якобсона и их последователей.

Иконический знак, по Пирсу, основан на фактическом подобии означающего и означаемого. Такой "знак может служить знаком просто потому, что ему случилось быть похожим на свой объект" [Peirce VIII, 119]. Согласно Ч.С. Пирсу, иконические знаки представляют собой неоднородное явление, что позволило ему построить уже самостоятельную типологию иконических знаков, а точнее – степеней иконической репрезентации (таким же образом трактует эту типологию В. Дресслер [Dressler 1989: 13]): образ, диаграмма и метафора, причем от образа к метафоре степень иконичности уменьшается. Образ, по Пирсу, есть отражение "простых качеств" (*simple qualities*) означаемого в означающем (примеры таких знаков: фотографии, скульптуры и т.д., в языке – ономотопеи и идеофоны). Сходство между означающим и означаемым в диаграммах затрагивает исключительно отношения их частей. Диаграмматическим является тот знак, отношения между частями которого аналогичны отношениям между частями некоей вещи (*of one thing*), обозначенной им [Peirce II, 277]. Рассматривая в качестве примеров диаграмм геометрические чертежи и схемы, Пирс специфику их иконических свойств видит в том, что "наглядная схема вовсе не должна иметь чувственного сходства с ее объектом. Достаточно, чтобы имела место аналогия между отношениями частей той и другого" (цит. по [Мельвиль 1968: 185]). Таким образом, в отличие от образов отношения сходства в диаграммах более абстрактны, и следовательно, степень иконичности диаграмм меньше, чем аналогичный показатель у образных знаков. Еще слабее это сходство (= подобие) у метафоры, которую Пирс понимает как знак, основанный на соотношенности его означающего с каким-либо элементом в другом знаке. Примечательно, что в большинстве лингвистических исследований, опирающихся в какой-то мере на пирсовскую концепцию знака, и прежде всего в работах Р.О. Якобсона, метафора даже не упоминается как один из модусов иконичности. Возможно, что это связано с приоритетом диаграмматичности в

<sup>2</sup> Следует заметить, что в зарубежной лингвистике наряду с термином "иконичность" активно используют термин "естественность" (англ. *naturalness*, нем. *Natürlichkeit*), причем эти термины, как правило, синонимичны или, что гораздо реже, находятся в гиперо-гипонимических отношениях ("естественность" – гипероним).

языке в целом и в грамматике в частности, а именно грамматика, как правило, изучается с точки зрения иконизма<sup>3</sup>, а также с отсутствием общепринятых взглядов на семиологическую природу метафоры. По мысли Ч.С. Пирса, иконические знаки исключительно важны в актах коммуникации. "Единственный способ прямой передачи какой-либо идеи, – писал Пирс, – состоит в передаче посредством иконического знака. Всякий косвенный метод передачи (*communicating*) идеи должен быть основан на применении иконического знака. Следовательно, каждое утверждение должно содержать иконический знак или ряд иконических знаков или должно содержать знаки, значение которых может быть объяснено лишь с помощью иконических знаков" (цит. по [Мельвилл 1968: 188–189]). Эта точка зрения Пирса оспаривалась философом А. Бёрксом [Burks 1949], считавшим наиболее важными в коммуникации индексальные знаки. Однако А. Бёркс по сути дела создает еще более отдаленный от человека "образ языка", чем Ф. де Соссюр, который между прочим признавал относительно мотивированные знаки, т.е. иконичные относительно системы. Язык не может быть в семиологическом плане исключительно индексальным или символическим (ср., в частности [Joseph 1995: 213–225]). Другой вопрос, в какой степени язык иконичен и в какой мере его иконические свойства определяют языковую деятельность человека.

Априорное обсуждение этого вопроса вылилось в два варианта теории иконичности – "сильный" и "слабый" (или лучше, "радикальный" и "умеренный"). "Радикальный" вариант теории, заключающийся в отстаивании иконической природы языка и иконичности как психосемиологического предусловия вербальной коммуникации, насколько нам известно, представлен лишь у сторонников античной теории *phusei*. Они, прежде всего Кратил в одноименном платоновском диалоге, считали имя вещи подобным самой вещи по природе. Наиболее веский аргумент, доказывающий неправоту "радикального" варианта теории иконичности, предложили специалисты по зоосемиотике. В результате длительных опытов последние пришли к выводу, согласно которому оперирование иконическими кодами является неотъемлемым свойством коммуникации в животном мире [Wescott 1971: 416–418]. Человек, с их точки зрения, должен оперировать более абстрактными кодами, которые функционируют вне непосредственной связи со своими аналогами в реальном мире. Содержавший также элементы научного радикализма и в какой-то мере отдававший дань ряду идей Н. Хомского (ср., впрочем, недавнюю попытку Ф. Ньюмейера вписать понятие "иконичности" в генеративную грамматику [Newmeyer 1992]), этот взгляд не получил поддержки у большинства лингвистов. На международном симпозиуме "Иконичность в синтаксисе", состоявшемся в июне 1983 г. в Стэнфордском университете США, американский лингвист Т. Гивон подчеркивал: "В отличие от животных люди в действительности развили способность создавать более абстрактные коды и манипулировать ими. Многие грани иконичности этих кодов постепенно становились все более и более произвольными или перемешанными с произвольными – "символическими" – элементами... Однако *homo sapiens* продолжил сохранять изначальное отношение к своим кодам, т.е. в них имеется нечто естественное, необходимое, непроизвольное (разрядка автора. – К.С.)" [Givón 1985: 215]. И далее Т. Гивон также говорил о "мере иконичности" (*some measure of iconicity*) в человеческом языке, апеллируя по сути дела к "умеренному" варианту теории иконичности. Его

<sup>3</sup> Подтверждением приоритета диаграмматических знаков перед образными в организации языковых единиц является между прочим и развитие самой лингвистики. Так, если в 1960-е годы исследователи сосредоточили свое внимание на явлениях звукового символизма и в целом на поисках адекватной фоносемантической теории, то уже в середине 1970-х гг. была осознана периферийность иконической репрезентации на уровне звуков (и фонем), в связи с чем интересы лингвистов перемещаются к изучению иконических отношений в грамматике. Такая переориентация привела к возникновению в конце 1970-х – начале 1980-х гг. "естественной морфологии", а в середине 1980-х гг. и "естественного синтаксиса". Основной задачей этих направлений, охвативших почти всю университетскую лингвистику США и Западной Европы, было определить языковую специфику диаграмматического иконизма и обнаружить сферы проявления диаграмматических отношений в грамматических подсистемах языка.

методологические основания были изложены Р.О. Якобсоном в [Якобсон 1983: 102–117; 1985: 30–91, 369–420; 1996: 184–198] и др. Исследовательской позиции Якобсона была чрезвычайно близка философская позиция Сократа в диалоге Платона "Кратил", ибо у Сократа четко прослеживается мысль о примирении спорящих сторон (т.е. сторонников концепций "phusei" и "théseis") и о возможности принятия ими некоего "умеренного", редуцированного варианта лингвофилософской доктрины именованная. Сам Р.О. Якобсон комментирует речь Сократа следующим образом: "Примирающий обе стороны Сократ склонен в диалоге Платона согласиться, что репрезентация через подобие преобладает над использованием произвольных знаков, но, несмотря на привлекательную силу подобия, он чувствует себя обязанным признать дополнительный фактор-условность, обычай, привычку" [Якобсон 1983: 105]. Восприняв всю глубину диалектического суждения Сократа, Р.О. Якобсон, подобно Пирсу, стал пытаться осмыслить проблему иконичности посредством поиска ответов на те вопросы, которые были поставлены в античной философии. Этим объясняется появление в его программной статье платоновского "вопрошания", но направленного уже не к природе вещей, а к языковой структуре, к ее внутренней организации. Так, Р.О. Якобсон пишет: "...попытаемся теперь рассмотреть иконический аспект языковой структуры и дать ответ на вопрос Платона: какого рода подражание (mimesis) используется языком для соединения означающего с означаемым?" [Якобсон 1983: 107]. Постановка этого вопроса свидетельствовала о том, что соссюрианская семиология и прежде всего ее трактовка внутренней связи означающего с означаемым знака не является единственно возможной, что в языке эта внутренняя связь между двумя сторонами знака (или знакового образования) может быть представлена не только как их произвольное, т.е. по сути дела случайное, соединение, но и как-то иначе. Это подтверждают появившиеся в начале 1990-х гг. данные о нейробиологических основаниях иконичности в языке (см. хотя бы раздел "The biological basis of iconic codes" в монографии [Givón 1990: 976–983]), а также особенно показательное заявление Р. Энглера, известного специалиста по текстологии Соссюра, сделанное им на международной конференции "Иконичность в языке" (октябрь 1992 г., Рим), о том, что "в сознании говорящего иконическая природа знака доминирует над произвольностью" (цит. по [Березин 1996: 37–38]). Более того, Р. Энглер в своем докладе обратил внимание на то, что имплицитно это положение имелось уже у Ф. де Соссюра. Иными словами, в рамках "умеренного" варианта считается, что в языке, являющемся динамическим продуктом человеческой когниции и коммуникации, имеются условия в том числе и для иконического соотношения между означающим и означаемым языковых знаков. Не менее очевидной оказалась и мысль о том, что "иконичность скорее относительная, чем абсолютная характеристика любой коммуникативной системы, в том числе и языка" [Wescott 1971: 426]. Лишь в лингвоконструировании, в моделировании искусственных языков можно достичь универсальных иконических соответствий (см. об этом в [Кнорина 1995: 110–120]).

В лингвистических исследованиях, ставших предметом нашего обзора, иконичность понимается так же, как и в вычленном здесь "умеренном" варианте. Иконичность рассматривают как один из модусов существования знака (наряду с индексальностью и символическостью), имеющий глубокие нейробиологические, когнитивные и коммуникативные основания и принадлежащий к относительным (а не абсолютным) характеристикам языка. Семиологической базой иконичности в языке принято считать диаграммное отражение некоторого аспекта структуры реального мира в структуре языка [Haiman 1980: 515]. Таков общий контур понятия иконичности, реконструируемый по имеющейся в нашем распоряжении лингвистической литературе. Поиски более адекватного толкования еще впереди. Однако хотелось бы высказать одно соображение, вызванное статьей немецкого лингвиста Х. Зайлера [Seiler 1989], где утверждается, что "таксономическая фаза" в лингвистическом исследовании проблемы иконичности слишком затянулась, что необходимо заняться "выработкой общей дефиниции концепта", "выяснением сущности иконичности" [Seiler 1989: 165]. На наш

взгляд, адекватное понятие иконичности можно выработать лишь в процессе направленного, в том числе и таксономического, исследования разнообразных ее проявлений в языковой структуре. Сущность иконичности невозможно понять априори, оставляя в стороне семиологическую палитру языка, открытую нам великими предшественниками – Ч.С. Пирсом и Р.О. Якобсоном.

### ИКОНИЧНОСТЬ В МОРФОЛОГИИ

Различные проявления диаграмматического иконизма в морфологии с конца 1970-х – начала 1980-х гг. изучаются в рамках особой научной дисциплины – естественной морфологии. Теоретическими источниками последней стали прежде всего "естественная фонология" Д. Стэмпа, впервые заявленная в 1969 году на конференции в Чикаго, и концепция маркированности / немаркированности, разработанная Пражской лингвистической школой. Естественная фонология, согласно Д. Стэмпу, должна заниматься изучением фонологических процессов, представляющих собой "ментальные замены, которые систематически, но подсознательно приспособливают наши фонологические намерения (интенции, замыслы) к нашим фонетическим способностям" (цит. по [Dressler 1987: 3]). Для нового направления крайне важной оказалась мысль Д. Стэмпа и его последователей о том, что любое материально-языковое выражение опирается на определенные ментальные механизмы, т.е. мотивируется когнитивной деятельностью человека. Маркированность / немаркированность – ключевой концепт Пражской лингвистической школы – становится доминантным и в естественной морфологии. Маркированность здесь понимается традиционно как свойство одного из противопоставленных членов иметь выраженный дифференциальный признак, отсутствующий, и соответственно, не выраженный у другого члена. Посредством определения маркированного члена морфологического противопоставления в естественной морфологии устанавливаются степень его естественности (*naturalness*, *Natürlichkeit*), ибо данное свойство задается в иерархии противопоставленных членов. Немецкий лингвист В. Майерталер в специальной монографии "Морфологическая естественность" пишет: "...элемент  $s_1$  тем естественнее, чем менее  $s_1$  маркирован" [Mayerthaler 1981: 2]. Как следует из трудов ведущих теоретиков естественной морфологии [Mayerthaler 1980: 19–37; 1981; Wurzel 1984; Plank 1979; Dressler et al., 1987], "стык" двух источников данного направления, т.е. естественной фонологии и пражской концепции маркированности, осуществляется в том, что признается существование так называемой семантической, или когнитивной (ср. у В. Майерталера [Mayerthaler 1981: 10]: "...'семантический' означает прежде всего 'когнитивный' или 'концептуальный'"), маркированности категорий, отражаемой в морфологической маркированности этих категорий.

Семантическая маркированность категорий, согласно В. Майерталеру и В. Вурцелю [Mayerthaler 1981; Wurzel 1984: 21], зависит от того, насколько они "сохраняют" прототипические черты говорящего (*die prototypische Sprechereigenschaften*): семантически менее маркирована та категория, которая сохраняет эти черты. "Прототипические черты говорящего обусловлены биолого-психологически и социально-прагматически, частично они могут иметь и культурную специфику" [Wurzel 1984: 22]. И действительно, прототипический говорящий насыщает когнитивные образы категорий своими собственными чертами. Так, он понимает себя как *с у б ъ е к т а*, стоящего на вершине иерархии одушевленности. Говорящий отождествляет себя с первым лицом, и поскольку он обычно говорит не хором ("und da er normalerweise nicht im Chorus spricht"), то его чертой становится 'единичность'. Говорящий живет в реальном мире ([+ индикатив]). Говорящий также создает лишь позитивный образ самого себя, т.е. он [+ позитив] и т.д. [Mayerthaler 1981]. Используя предложенный В. Майерталером символ *sēm*, обозначающий семантически менее маркированную категорию, можно представить отмеченные прототипические черты говоря-

щего и их противочлены в виде вертикальной последовательности иерархизованных цепочек, где компонент, записанный на первом месте, т.е. ближе к символу  $\acute{s}\acute{e}m$ , будет обозначать семантически менее маркированную (или базисную) категорию. Например:

- $\acute{s}\acute{e}m$  (субъект, объект);
- $\acute{s}\acute{e}m$  (одушевленность, неодушевленность);
- $\acute{s}\acute{e}m$  (1-е лицо, другие лица);
- $\acute{s}\acute{e}m$  (презенс, непрезенс);
- $\acute{s}\acute{e}m$  (индикатив, неиндикатив);
- $\acute{s}\acute{e}m$  (единственность, множественность) и т.д.

Кодирование семантически маркированных категорий, согласно теоретикам естественной морфологии, является оптимальным или максимально естественным, в частности, в том случае, когда оно конструктивно – иконично ("konstruktionell ikonisch ist"), или в терминах Р.О. Якобсона и Дж. Хэймана – диаграмматично [Mayerthaler 1981: 22–23]. Конструктивный иконизм в морфологии означает отражение асимметрии категорий с точки зрения семантической маркированности  $\acute{s}\acute{e}m$  ( $K_1, K_2$ ) на асимметрии кодирования [Mayerthaler 1981: 23]. Иначе говоря, иконические отношения возникают там и только там, где семантически более маркированная категория маркируется в коде, а семантически менее маркированная не получает специального маркера или же снабжается маркером с меньшим числом фонем (еще менее распространены собственно фонетические способы, например, умлаут и др.). Так, в индоевропейских языках маркированные формы (такие, как множественное число, претерит, косвенные падежи и компаратив) длиннее, чем соответствующие немаркированные формы, т.е. различаются по количеству фонологических единиц; англ. *book* 'книга' – *books* 'книги'; *jump* 'прыгаю' – *jumped* 'прыгал'; *they* 'они' – *their* 'их'; *big* 'большой' – *bigger* 'больше' [Wescott 1971: 424]. В морфологии, таким образом, существенна закономерность, согласно которой "протяженность знака отражает иконически его семантическую сложность" [Кубрякова 1993: 24].

Морфологический иконизм связан между тем не только с парадигматикой (т.е. с маркированностью / немаркированностью противопоставленных членов), но и с синтагматикой. И здесь, по-видимому, будет реализовываться иная закономерность. Попытку выявить ее предпринял Дж. Хэйман [Haiman 1983: 793–795], рассмотревший способы выражения отчуждаемой и неотчуждаемой принадлежности в языках мира. По наблюдениям ученого, в австронезийских языках субъект отчуждаемой принадлежности (the alienable possessor) выражается отдельным именем, а субъект неотчуждаемой принадлежности (the inalienable possessor) – аффиксом в структуре имени, обозначающего объект принадлежности. Например, в языке наканаи *luma taku* 'дом мой'; *lima-qi* 'рука-моя' и т.п. В языке гуа, опять-таки по данным Дж. Хэймана, реализуется та же закономерность, но только не для суффикса, а для префикса, присоединяемого к имени, обозначающему объект неотчуждаемой принадлежности. Ср.: *dgai* ~ *fu* 'моя свинья' и *d-za* ~ 'моя-рука'; *kgai* ~ *ru* ~ 'твой топор' и *k-ru* ~ 'твое бедро'. Диаграмматический иконизм в приведенных примерах связан с тем, что говорящий, осознавая себя посессором как неотчуждаемых, так и отчуждаемых (т.е. присвоенных в процессе культуросозидания) объектов, стремится к отражению характера принадлежности в характере синтагматических отношений между субъектом и объектом принадлежности: при выражении отчуждаемой принадлежности субъект и объект, будучи обозначенными разными словами, "отчуждены" друг от друга границей между словами в синтагматическом ряду, в то время как при выражении неотчуждаемой принадлежности субъект и объект выражены связано, в морфологических границах одного и того же слова. По мнению Дж. Хэймана [Haiman 1983], иконически в данных примерах выражена концептуальная дистанция (the conceptual distance) между

субъектом и объектом принадлежности, но важно отметить, что сферой иконизации в языке здесь является не что иное, как синтагматика морфологически цельнооформленных слов и синтагматика морфем в слове соответственно.

Немецкий лингвист Ф. Планк в работе [Plank 1979] в качестве эпиграфа приводит следующие слова У. Бенджамина: "Таким образом был бы язык высочайшей степенью мимитического поведения и совершеннейшим архивом бессмысленных подобиий". Здесь нарисована картинка языка, в котором принцип иконичности абсолютизирован. Очевидно, что таких языков не существует. Но также очевидно и то, что неправильно было бы недооценивать роль иконических знаков в организации системы языка. Как отмечалось еще в академическом "Общем языкознании" (1970 г.), "...слишком категорическое утверждение об абсолютной арбитrarности языковых знаков, на которой так настаивал Ф. де Соссюр, оставляет в тени разнообразные виды иконичности, в той или иной степени характеризующие язык" [Общее языкознание 1970: 150]. Теоретики естественной морфологии, опираясь по сути дела на "умеренный" вариант концепции иконичности, предложили считать, что морфологические процессы, выражающие ту или иную категорию, могут быть представлены в виде иерархии: от наиболее иконических к наименее иконическим. В процессе разработки естественной морфологии как самостоятельной дисциплины принцип иерархизации стал одним из ее фундаментальных принципов.

Так, В. Майерталер показал, что конструктивный (или диаграмматический) иконизм в морфологии представлен в виде иерархии иконичности, или иконического кодирования: а) *максимально иконическое кодирование*, когда оно конструктивно-иконично и сегментно-аддитивно (англ. *boy* 'мальчик' – *boy + s* 'мальчики'); б) *менее чем максимально иконическое кодирование*, когда оно конструктивно-иконично и модуляторно-аддитивно (нем. *das Haus* 'дом – *die Häus + er* 'домá'); в) *минимально иконическое кодирование*, когда оно конструктивно-иконично и модуляторно (англ. *foot* 'ступня' – *feet* 'ступни'); г) *антииконическое кодирование*, когда оно не конструктивно-иконично (англ. *sheep* 'овца' – *sheep* 'овцы'); д) *контриконическое кодирование*, когда асимметрия категорий с точки зрения семантической маркированности отражается инвертированно на асимметрии кодирования (нем. *Eltern-teil* 'один из родителей' – *Eltern* 'родители') [Mayerthaler 1981]. Нельзя не заметить, что иерархия иконического кодирования отражает в данном случае и иерархию перцептивной прозрачности форм, ибо экспериментально было установлено, что иконические свойства языковых единиц облегчают их восприятие (см. об этом подробнее [Ransdell 1979: 51–66]).

Другим, не менее важным разделом естественной морфологии, в котором применяется принцип иерархизации, является исследование так называемых "конфликтов естественности" (*Natürlichkeitskonflikten*). Согласно тому же В. Майерталеру, такие конфликты могут возникать как между разными компонентами (например, прагматикой и конструктивным иконизмом), так и внутри одного компонента (между разными видами конструктивного иконизма) [Mayerthaler 1981: 30–36]. Примером межкомпонентного "конфликта естественности", по мнению В. Майерталера [Mayerthaler 1981: 44], является кодирование 3-го лица, где прагматика фаворизирует маркированность 1/2-го лица, в то время как в иерархизованной цепочке *sein* (1/2-е лицо, 3-е лицо) маркированности благоприятствует как раз 3-е лицо. Побеждают в данном конфликте, по наблюдениям ученого, прагматические факторы, т.е. формы 3-го лица менее маркированы, чем формы 1/2-го лица. Отсюда делается вывод, что прагматика в иерархии выше конструктивного иконизма (*Pragmatik > konstruktioneller Ikonismus*). Для иллюстрации внутрикомпонентного "конфликта естественности" В. Майерталер [Mayerthaler 1981: 45–46] рассматривает парадигму презенса индикатива в турецком языке: 1-е лицо ед. ч. *gel + iyor + um* 'я прихожу'; 2-е лицо ед. ч. *gel + iyor + sun* 'ты приходишь'; 3-е лицо ед. ч. *gel + iyor* 'он приходят'; 1-е лицо мн. ч. *gel + iyor + uz* 'мы приходим'; 2-е лицо мн. ч. *gel + iyor + sunuz* 'вы приходите'; 3-е лицо мн. ч. *gel + iyor + lar* 'они приходят'. 3-е лицо в подпарадигме ед. числа немаркировано, 3-е

лицо в подпарадигме мн. числа, напротив, на первый взгляд выглядит маркированным. Это впечатление изменится, как только суффикс *-lar* будет противопоставлен *-um/-sun/-uz/-sunuz* как показатель множественного числа в чистом виде. 3-е лицо в подпарадигме мн. числа, таким образом, также не кодируется. Рассматривая формы *geliyorlar* и *geliyor* на фоне парадигмы презенса индикатива, исследователь заключает, что иконическое кодирование противопоставления по числу в иерархии выше, чем иконическое кодирование противопоставления по лицу. Иерархизация в предложенных двух примерах, как кажется, используется не только как способ представления эмпирического материала, но и как способ его интерпретации: иерархически выделенный компонент "снимает" ситуацию "конфликта естественности", и следовательно, более существен в морфологическом означивании категорий.

Специфической особенностью естественной морфологии, выделяющейся на фоне других современных морфологических концепций, является включение в объект анализа процессов словообразования. Это связано с тем, что, по мнению теоретиков направления, 1) только флексии и деривационные аффиксы (и правила!) могут быть смешанными (*can be intermingled*), т.е. один и тот же формант может быть и флексией, и дериватором; 2) и флективная морфология, и словообразование способны изменять классы слов; 3) в обеих сферах используется супплетивизм; 4) в диахронии флективные морфемы (и правила!) могут приобретать деривационный статус, и наоборот [Dressler 1987: 4]. Отмеченная особенность отразилась в названии программной статьи В. Дресслера "Словообразование как часть естественной морфологии" [Dressler 1987: 99–126]. Изложенные в этой статье взгляды на проблему иконичности в словообразовании заслуживают специального рассмотрения. Согласно В. Дресслеру, словообразование имеет две основные функции: а) лексическое обогащение языка, т.е. формирование новых слов (в этом смысле словообразование обслуживает когнитивную функцию языка) и б) морфотактическую и семантическую мотивацию существующих слов, и следовательно, облегчение (*the facilitating*) коммуникативных процессов и хранения слов в памяти [Dressler 1987: 99]. К наиболее простым случаям деривационной иконичности В. Дресслер относит слова, обозначающие щебетанье птиц. Им свойственны элементы иконичности, ибо, во-первых, они могут имитировать звуки птичьих криков, т.е. быть оноματοпозитическими словами типа англ. *to twitter*, нем. *zwitschern* = рус. *чипукать* = новогреч. *teret-izo* и т.д., а во-вторых, они могут иконически отражать в означающем повторяющуюся структуру птичьих криков (означаемого) при помощи редупликации: ит. *pi-pi(l)-are*, алб. *ci-cër-uar*, венг. *csi-csereg*, новогреч. *tit-tyu-iz-o* [tit: i'vizo]. Очевидно, что второй вид иконичности имеет более абстрактную природу, он диаграмматичен, так как интерпретантой знака здесь выступает отношение повторяемости само по себе, вне исключительной соотнесенности с образной имитацией птичьих криков, как в примерах первого ряда. Более частотными случаями словообразовательного иконизма являются сложные слова типа англ. *corner stone* и *stone corner*, где первый компонент семантически квалифицирует второй компонент. "Линейный порядок семантической детерминации иконически отражается в морфологии: второй компонент является базисным (главным) не только с семантической, но и с грамматической точки зрения. Так, флексию способен присоединять только второй компонент, т.е. *corner stone-s*, а не \**corner-s stone*. В языках с родовыми различиями сложное слово принимает род второго компонента. Таким образом, нем. *Laub-wald* 'лиственный лес' муж. рода, как и слово *Wald* 'лес', но *Wald-laub* 'лесная зелень' – среднего, как и слово *Laub* 'зелень, листва'" [Dressler 1987: 101].

Центральный пример иконичности в словообразовании подобен случаям максимально иконического кодирования во флективной морфологии [Mayerthaler 1981: 43; Dressler et al. 1987]. Таким примером является девербатив со значением 'агента' типа англ. *read-er*, где деривационный процесс состоит в присоединении к основе глагола (т.е. *to read*) и ее значению суффикса *-er* и несомой им агентивной семантики соответственно. Здесь очевидна диаграмматическая аналогия между семантической и

морфотактической структурой слова. Если обозначить семантическую структуру девербатива формулой (A + B), а морфотактическую – формулой (a + b), то вслед за В. Дресслером [Dressler 1987] мы можем сказать, что А, значение глагола *read*, представлено символически с помощью *a* = англ. *read-*, В, значение агентивности, с помощью *b* = суффикс *-er*, и в этом отношении англ. *read-er* – символ, подобный нем. *Les-er*, ит. *legg-itore*, рус. *чита-тель*, венг. *olvas-ó* и т.п. Но в то же время эти слова мотивированы и семантически, и морфотактически с помощью их производящих глаголов (*to read* = *les-en*, *legg-ere*, *чита-ть*, *olvas*) и специфических по языкам агентивных суффиксов; здесь имеется диаграмматическое отношение между семантической и морфологической мотивацией. Относительно рассмотренного иконического правила аффиксации и отсутствия в данном случае каких-либо модификаций выявляются и другие, менее иконические или, вообще, антииконические правила словообразования. Эти правила обобщаются в виде двух иерархических шкал, построенных по принципу постепенной утраты иконических свойств (I) и сопровождающих их условий морфотактической прозрачности (II): I.1) иконическая аффиксация; 2) неиконическая конверсия (англ. *to cut* → *a cut*); 3) антииконическая нулевая аффиксация (чешск. *lov-it* → *lov*; рус. *логика* → *логик*); II.0) отсутствие модификаций; 1) фонетические модификации; 2) нефузионные морфонологические модификации; 3) фузионные процессы на морфемном шве; 4) частичный супплетивизм; 5) полный супплетивизм [Dressler 1987: 104]. Согласно В. Дресслеру, знак, характеризуемый каким-либо иным набором параметров. Степень морфологической естественности убывает от I.1) к I.3) и от II.0) к II.5). В статье В. Дресслера выявлена и другая интересная закономерность: если язык использует технику I.3), то он использует и технику I.2); если язык использует технику I.2), то он использует также и технику I.1). Распределение языков по шкале II зависит от их типа; например, для агглютинативных языков характерна техника II.0), в меньшей степени II.1) и еще в меньшей степени техника II.2). Техника II.3) относительно распространена в фузионных языках, а II.4) и II.5) находятся на периферии в языке любого типа [Dressler 1987: 106–107]. Соотнесение выявленных параметров в иерархиях I и II с типами языков позволяет установить и некую универсальную закономерность, связанную с фаворизацией тех параметров, которые обеспечивают наименьшую затрату ментальных усилий в процессе хранения, употребления и восприятия производных слов. Эта закономерность объясняется тем, что более иконические и более прозрачные (transparent) комбинации знаков создают психолингвистически благоприятную атмосферу коммуникации. Видимо, поэтому высока степень иконичности морфологических правил в детской речи [Dressler 1987: 109]. Однако нельзя недооценивать и того, что данная универсальная закономерность может быть типологически более или менее адекватной. Так, в естественной морфологии было установлено, что агглютинативный тип языков наилучшим образом представляет как иконичность (только параметр I.1), так и морфотактическую прозрачность (почти исключительно II.0) и II.1) и минимально II.2) [Dressler 1987: 110].

С данным свойством агглютинативных языков связана проблема диаграмматического иконизма в расположении аффиксов относительно корня, изученная Дж. Байби [Vybe 1985: 11–40]. Согласно Дж. Байби, порядок аффиксов в именных и глагольных словоформах зависит от того, насколько выражаемое тем или иным аффиксом значение релевантно для значения имени и глагола соответственно. Так, в турецком *ev-leri* 'домá' (аккузатив) *ev-* – корень, *-ler-* – показатель мн. числа, *-i* – падежный суффикс аккузатива (пример из [Mayerthaler 1981: 150]): числовой аффикс предшествует падежному в ранговой структуре слова. Это связано с тем, что "число непосредственно воздействует на сущность или сущности, обозначенные именем. Падеж же, напротив, только лишь изменяет отношение одной сущности к другой в предложении" [Vybe 1985: 25]. То есть порядок морфем *n(имя) + число + падеж* отражает диаграмматически степень воздействия семантики аффикса на референциальные свойства

имени. Порядок расположения аффиксов относительно корня глагола у Дж. Байби представлен следующей иерархией: вид > время > наклонение > лицо. Ее семантические основания заключаются в том, что вид и время более релевантны для семантики глагола, наклонение же связано с пропозицией в целом, а лицо является показателем партиципантов. Ср. пример из хиналугского языка: *ки-р-ет-мя* 'делает', где *ки-* есть корень, *-р-* показатель несом. вида, *-ет-* показатель наст. неопред. времени, *-мя* – показатель изъяв. наклонения (пример из [Кибрик 1992: 31]). В исследованиях Дж. Байби на материале 50 языков также было установлено, что показатель более релевантной для глагола морфологической категории в большей степени способен к фузии с глагольным корнем, и в этом также нельзя не усмотреть отношений диаграмматического иконизма [Bybee 1985: 28].

Поскольку традиционная морфология дала исчерпывающее описание разнообразных морфологических процессов (аффиксации, повтора, редупликации и т.п.), в естественной морфологии была поставлена задача выявить их иконический функциональный потенциал (*ikonisches Funktionspotential*). Так как не все морфологические процессы предназначены исключительно для кодирования специфических семантических категорий, сферу процесса  $P_1$  следует считать его иконическим функциональным потенциалом, если в ней  $P_1$  может выступать как средство потенциального конструктивно-иконического и/или фонетико-иконического кодирования [Mayerthaler 1981: 112]. В последнем случае имеется в виду кодирование семантически маркированных категорий средствами фонологически маркированных сегментов (или последовательностей сегментов), идеофонов и звуко-символизма, акцентологии слова и фразы, аблаута и др. Легко заметить, что различные типы морфологических процессов имеют свойственный именно им иконический функциональный потенциал (далее ИФП). Так, рассматривая ИФП  $\theta$ -процесса, В. Майерталер подчеркивает, что сфера ИФП данного процесса – кодирование базисных категорий и что конверсия (т.е. случаи типа англ. *to cut* → *a cut*) находится вне иконического потенциала  $\theta$ -процесса [Mayerthaler 1981: 112]. Выявление ИФП разнообразных морфологических процессов позволило исследователям посмотреть на проблему и с другой стороны, поставив вопрос о том, какие морфологические категории в языке обычно выражаются иконически. По мнению В.А. Виноградова [Виноградов 1993: 47 и сл.], такой категорией является, в частности, одушевленность / неодушевленность в славянских языках, служащая прямым отражением представлений о живой и неживой природе и получившая морфологическую эксплицитность. Показательна и роль категории одушевленности как контролера семантической устойчивости африканских именных классов, определяемая опять-таки семиологическим статусом этой категории, ее принципиальным иконизмом [Виноградов 1993]. Здесь нельзя не отметить примечательную деталь: выявление иконического потенциала одушевленности как морфологической категории, по мнению В. Майерталера [Mayerthaler 1981: 167], представляет собой лишь перспективу естественной морфологии. Но эта перспектива уже стала реальностью в отечественной категориальной типологии [Виноградов 1993].

Общая ориентация естественной морфологии на семантическую (= когнитивную) интерпретацию морфологических процессов вызвала изменения в трактовке такого традиционного грамматического понятия, как продуктивность. Если в традиционном языкознании продуктивность часто отождествлялась с количественными параметрами, то в естественной морфологии под это понятие подводится "психическая реальность" (*psychische Realität*). Как следует из книги В. Майерталера [Mayerthaler 1981: 124–131], продуктивен тот морфологический процесс, который обладает значительным иконическим функциональным потенциалом, т.е. обеспечивает прозрачность (*Transparenz*) образуемых форм. Такое понимание продуктивности позволило теоретикам естественной морфологии ответить на вопрос о том, является ли диаграмматический иконизм одним из принципов организации морфологической системы. Утвердительно отвечая на него, В. Вурцель подчеркивает, что суть этого принципа заключается в том, что во флективной морфологии фаворизируются парадигмы, которые построены так, что

семантически (т.е. когнитивно) маркированная категория в них маркируется и на уровне кода [Wurzel 1984: 175–183]. Следует однако заметить, что отдельные ученые считают диаграмматический иконизм в морфологии периферийным явлением, отказывают ему в статусе одного из системоорганизующих принципов морфологии, допуская, впрочем, его языковую и психологическую реальность в сфере синтаксиса. "Диаграммное соответствие в языковых знаках, – пишет акад. Т.В. Гамкрелидзе, – можно усмотреть частично на синтаксическом уровне, где линейная последовательность членов синтаксической группы находится в определенной иконической зависимости от отношений порядка или ранга на уровне означаемых" [Гамкрелидзе 1976: 12].

### ИКОНИЧНОСТЬ В СИНТАКСИСЕ

В зарубежном языкознании считается, что идея поиска иконических структур в синтаксисе вызрела и оформилась в недрах естественной морфологии как попытка обнаружить в языке реальные (а не системно детерминированные) диаграмматические соответствия между кодом и кодируемым. Здесь однако следует напомнить, что Р.О. Якобсон в своей статье "В поисках сущности языка" постулировал диаграмматический иконизм одновременно и как свойство морфологии, и как свойство синтаксиса [Якобсон 1983: 109]. Более того, заявленный как особое направление в середине 1980-х гг., естественный синтаксис (*natural syntax*) возводился его разработчиками не столько к уже существовавшей и переживавшей тогда стадию расцвета естественной морфологии, сколько непосредственно к трудам Ч.С. Пирса и Р.О. Якобсона, а также к "Логико-философскому трактату" (1921 г.) Л. Витгенштейна, где нарождавшееся научное направление обнаружило два крайне важные для него тезиса, а именно 1) "Предложение – картина действительности" и 2) "Знак явно представляет собой в данном случае некое подобие обозначаемого" [Витгенштейн 1994: 19]. Другим, не менее важным источником естественного синтаксиса была структурная типология, а именно типология порядков, основы которой заложил Дж. Гринберг в статье [Гринберг 1970]. "Особенно плодотворной", по выражению Р.О. Якобсона, была мысль Дж. Гринберга о том, что "порядок элементов в языке параллелен порядку в практической деятельности или в процессе познания" [Гринберг 1970: 150]. Однако до известной статьи Р.О. Якобсона данное положение Дж. Гринберга было всего лишь декларацией диаграмматического иконизма в синтаксисе, поскольку оно не нашло соответствующего категориального аппарата описания. В дальнейшем эта задача была выполнена Р.О. Якобсоном, применившим пражскую концепцию маркированности. Попутно заметим, что в этом смысле как раз естественная морфология была рецептирующей дисциплиной. Вопрос же о том, почему фундаментальная разработка проблемы иконичности в синтаксисе стала возможной на целое десятилетие позже, мы постараемся осветить в дальнейшем изложении.

В современных трудах, посвященных проблеме иконичности в синтаксисе, стало общим местом указание на то, что "пионером иконичности" (выражение Дж. Хэймана) в области синтаксиса был Р.О. Якобсон, сделавший конкретные наблюдения, которые показали, что, впрочем, и входило в замысел ученого, пути дальнейших разработок проблемы. Согласно Р.О. Якобсону, проявлений иконичности в синтаксисе следует ожидать прежде всего потому, что предложение существует в линейно-протяженном пространстве сообщаемого и в линейно-схемной форме закрепляется в системе языка (см. об этом также [Кубрякова 1993: 26 и сл.]). Так, Р.О. Якобсон писал: "Последовательность глаголов *veni, vidi, vici* (подчеркнуто мною. – К.С.) сообщает нам о порядке деяний Цезаря прежде всего и главным образом потому, что последовательность сочиненных форм прошедшего времени используется для воспроизведения хода событий. Временной порядок речевых форм имеет тенденцию к зеркальному отражению порядка повествуемых событий во времени и по степени важности. Такая последовательность, как "На собрании присутствовали *президент и госсекретарь*" (подчеркнуто мною. – К.С.), гораздо более обычна, чем обратная, потому что первая

позиция в паре однородных членов отражает более высокое официальное положение" [Якобсон 1983: 107]. Здесь Р.О. Якобсон по сути дела указал на значительный (и, к сожалению, не раскрытый до сих пор) иконический потенциал сочинительных конструкций (см., впрочем, работы [Санников 1989: 74–80; Сигал 1996: 67–76; Haiman 1985a; Plank 1979: 140–141; Givón 1995: 64–66]). Другим, не менее важным положением, также отстаиваемым ученым, явилось положение об иконическом характере семантико-синтаксических иерархий. Таково следующее наблюдение: "Подлежащее, единственный независимый член предложения, выделяет то, о чем говорится в сообщении. Каков бы ни был истинный ранг деятеля, он с необходимостью выдвигается в герои сообщения, как только берет на себя роль подлежащего. "Подчиненный повинуется главному" (The subordinate obeys the principal). Вопреки таблицы о рангах, внимание прежде всего сосредоточивается на подчиненном как на деятеле, а затем переходит на объект – на главного, которому повинуются" [Якобсон 1983: 108]. В этом положении, на наш взгляд, имплицитно заложена мысль о возможных иконических соотношениях между иерархией семантических ролей и иерархией актантных позиций при предикате, сформулированная как самостоятельная проблема в [Нунэн 1981: 362–363; Givón 1985: 1990]. Кроме того, именно Р.О. Якобсон впервые привлек понятие маркированности/немаркированности к исследованию иконичности порядков в предложениях с именными субъектом и объектом. Ученый показал, что, например, в русском языке представлены все шесть возможных типов расположения именного субъекта (s) и объекта (o) при глагольном предикате (v), выделенных Дж. Гринбергом [Гринберг 1970], т.е. svo, sov, vso, vos, osv и ovs, но при этом только порядок svo стилистически нейтрален или немаркирован. Иконический характер порядка svo связан с тем, что "начальная позиция субъекта по отношению к объекту, во всяком случае в немаркированных конструкциях, свидетельствует о иерархии концентрирования (focusing)" [Якобсон 1996: 190]. Сходным образом была осмыслена установленная Дж. Гринбергом [Гринберг 1970: 126] закономерность, согласно которой "в условных предложениях всех языков порядок, при котором условие предшествует следствию, является нормальным, первичным, нейтральным, немаркированным" [Якобсон 1983: 108]. Здесь обратим внимание на то, что у Р.О. Якобсона категориальный параметр [ $\pm$  маркированность] понимается исключительно в структурном плане, но идея об "иерархии концентрирования", как кажется, легко может быть увязана с современной тенденцией к соотношению структурных и когнитивных процессов. Итак, анализ концепции Р.О. Якобсона показывает, что в его работах были заложены основы "естественного синтаксиса" середины 1980-х – начала 1990-х гг., одной из задач которого была и остается иконическая интерпретация разнообразных синтаксических явлений в синхронии (обзор некоторых подходов к диахронической интерпретации см. в [Николаева 1984: 111–119]).

Первооткрывателем иконической тенденции в организации синтаксических единиц и прежде всего предложения, как справедливо указывается в литературе вопроса [Givón 1985: 1990; Haiman 1985b], был сам Ч.С. Пирс, которому принадлежит следующее высказывание: "Расположение слов в предложении, например, должно выполнять функцию иконического знака (выделено мною. – К.С.), для того чтобы предложение могло быть понято" [цит. по: Мельвиль 1968: 192]. Связав коммуникативную адекватность предложения с иконическим потенциалом его структуры, Пирс по сути дела предвосхитил часть проблематики современного естественного синтаксиса, в том числе такие аспекты, как поиск интерпретации иконичности как одного из базовых принципов "грамматики говорящего" (применительно к синтаксису) и изучение разнообразных проявлений иконичности в синтаксисе. Ряд других аспектов возникли в связи с обращением к трудам Р.О. Якобсона (см. выше) и вовлечением синтаксиса в парадигмальную сферу когнитивно-прагматической лингвистики (см. об этом [Кубрякова 1995: 207]). К ним мы относим следующие: объяснение проявлений иконичности в синтаксисе посредством категориального параметра [ $\pm$  маркированность]; выявление когнитивных оснований для иконического кодирования на уровне

синтаксиса; изучение взаимодействия когнитивных презумпций иконичности с культурными и текстовыми (дискурсными); разработка экспериментальной базы, позволяющей синтаксисту осуществлять "тестирование иконичности" (testing iconicity) [Östman 1989]. Наконец, отдельную проблему, появившуюся уже в более поздний период и вызванную своеобразным "иконическим бумом", составляет логико-методологический анализ понятийного аппарата, используемого в работах по естественному синтаксису. Вокруг обсуждения выделенных здесь семи основных сфер (или аспектов) проблематики данного научного направления и будет построено дальнейшее изложение.

Наиболее важной теоретической задачей, стоящей перед разработчиками естественного синтаксиса, является выработка общего понятия иконичности (заметим: независимого от естественной морфологии!), которое затем могло бы получать частные модификации при семиологической интерпретации различных синтаксических явлений. Такой подход к общему понятию иконичности, по всей видимости, должен объяснять последнюю как особый принцип, абстрагированный из разнообразных сфер его непосредственного проявления в синтаксисе. Попытку определить принцип иконичности, своеобразный "иконический императив" в самом общем виде предпринял американский лингвист Т. Гивон, согласно которому принцип иконичности заключается в том, что "при прочих равных условиях кодируемый опыт легче хранить, обрабатывать и передавать, если код максимально изоморфен этому опыту" [Givón 1985: 189]. С предложенной ученым формулировкой принципа иконичности имеет смысл согласиться по двум причинам. Во-первых, в ней эксплицитно представлены все компоненты иконического семиозиса, выделенные еще Ч.С. Пирсом: *код* (= тело знака, означающее), *опыт* (= кодируемое, означаемое), *интерпретанта* (= изоморфное отношение между кодом и кодируемым) и, наконец, *интерпретатор*, относительно когнитивно-коммуникативной деятельности которого определяется минимальная ("легче") затрата ментальных усилий, требуемых для хранения, обработки и передачи кодируемого опыта. Во-вторых, такое понимание позволяет конкретизировать характер иконического соотношения кода и кодируемого в различных сферах проявления данного принципа, тем более, если знать, что, например, "реализация предложений в определенном порядке открывает возможности диаграмматического иконизма, тогда как в строении самой системы иконизм может проявиться только там, где отдельные участки этой системы должны быть иерархизованы" [Кубрякова 1993: 26]. (См. также [Verhaar 1987]). С другой стороны, вызывает сомнения трактовка Т. Гивоном сформулированного им принципа иконичности как *м е т а - п р и н ц и п а* (the meta-principle) [Givón 1985; 1990; 1995]. Ведь если он абстрагирован на уровне метаязыка, то очевидно, что иконичность есть принцип грамматического описания, а не принцип грамматической организации; если же принцип иконичности абстрагирован из анализа конкретных языковых фактов, то не совсем понятно, почему Т. Гивон относит его к мета-параметрам языка. Думается, что выделенные ученым принципы иконического кодирования (такие, как принцип количества, близости и порядка) относятся к указанному принципу не как к мета-принципу, а наоборот, данный (общий) принцип проявляется в частных принципах иконического кодирования в синтаксисе. Было бы методологически неоправданным терминировать отношения "общее-частное" в сфере объекта как отношения корреляции между элементом объекта и его аналогом в метаязыке. Важно помнить, что иконичность в определенной мере присуща языку, и лишь поэтому существенна для лингвистического описания, но не наоборот!

В монографии Т. Гивона [Givón 1990: 968–973] каждый из частных принципов иконического кодирования, находимых в синтаксисе, был соотнесен со специфическими для него когнитивными основаниями. Так, например, принцип количества (the quantity principle) заключается в том, что а) большей части информации обычно присваивается большая часть кода; б) менее предсказуемой (less predictable) информации дается больший кодирующий материал; в) более важной информации дается больший кодирующий материал. Примером для в), по Т. Гивону, является опущение топикально не выделенного агенса пассива и пациенса в антипассивной конструкции:

англ. (Passiv) *The beer was drunk in a hurry* 'Пиво было выпито в спешке'; (Antipassiv) *John drinks a lot* 'Джон много пьет'. Когнитивная основа принципа количества – сфера распределения внимания [Tomlin 1987: 458], ментальных усилий и приоритетного означивания (см. об этом также [Бергельсон, Кибрик 1987: 52–63]). Принцип близости (the proximity principle) связан с тем, что а) единицы, сопряженные друг с другом функционально, концептуально или когнитивно, как правило, располагаются ближе друг к другу в пространственной и временной структуре кода; б) функциональные операторы располагаются ближе к той единице кода, с которой они образуют концептуальное единство (the conceptual unit). Для (а) характерным примером является степень интеграции придаточного дополнительного в составе сложноподчиненного предложения: англ. *She forgot that she had gone* 'Она забыла, что она уже ушла'; для (б) – расположение морфологических операторов (падежных маркеров, детерминаторов, классификаторов, показателей числа) рядом с их операндами. В качестве когнитивной базы принципа близости Т. Гивон называет механизм ассоциативной памяти. Принципы последовательного порядка (sequential order principles) сводятся к тому, что а) порядок предложений в связанном дискурсе имеет тенденцию отражать темпоральный порядок изображаемых ими событий. Например: англ. *He opened the door, came in, sat and ate* 'Он открыл дверь, вошел, сел и поел' (см. также [Haiman 1980: 528]); б) более важная или срочная информация, как правило, располагается первой в последовательности единиц кода (in the string); в) менее доступная информация обычно располагается первой в последовательности единиц кода. (Анализ некоторых примеров для (б) и (в) см. ниже). Как замечает Т. Гивон, когнитивно принцип (в) может быть подчинен (б), поскольку "не могущая быть предсказанной, менее доступная, неожиданная информация, вероятно, будет более срочной, чем предсказуемая, доступная информация" [Givón 1990: 973]. Когнитивную же основу иконического принципа порядка образует механизм распределения внимания, поскольку, как было доказано в психолингвистике, инициальный элемент в последовательности привлекает большее внимание и лучше запоминается, т.е. инициальная позиция является более естественной для важной и/или непредсказуемой информации [Givón 1990: 973] (см. также об этом [Лауфер 1990]).

Поскольку принципы иконического кодирования не задаются на семиологически однородном языковом пространстве, у лингвистов не вызывает сомнения то, что эти принципы реализуются не как обязательные, а как предпочтительные, т.е. допустимы различные отклонения от иконического кодирования. Кроме того, этому способствует также бинарный характер грамматических противопоставлений [Givón 1995: 28]. Такое положение дел не могло не привести ученых к использованию категориального параметра [ $\pm$  маркированность] для объяснения иконических свойств той или иной структуры, тем более, что сама идея, имплицитно существовавшая в лингвистике с античных времен, уже была применена в естественной морфологии, а чисто в структурном плане и в синтаксисе. Главной проблемой, вставшей перед учеными, была проблема поиска критериев, которые могли бы быть использованы для различения маркированных синтаксических структур от немаркированных. Пожалуй, наиболее адекватной и теоретически, и эмпирически является подход, предложенный Т. Гивоном [Givón 1995]. Согласно Т. Гивону, существенны три главных критерия: 1) *критерий структурной сложности*, в соответствии с которым маркированная структура имеет тенденцию быть более сложной (или крупной), чем сопряженная с ней немаркированная; 2) *критерий частотности*, в соответствии с которым маркированная структура имеет тенденцию быть менее частотной, чем сопряженная с ней немаркированная; 3) *критерий когнитивной сложности*, в соответствии с которым маркированная структура имеет тенденцию быть когнитивно более сложной (в терминах затраты ментальных усилий, распределения внимания, а также времени, необходимого для продуцирования данной структуры), чем сопряженная с ней немаркированная. Особенность этих критериев, по Т. Гивону, заключается в том, что каж-

дый из них должен объясняться посредством двух других, и в этом ученый как раз и видит "общее отражение иконичности в грамматике" [Givón 1995: 28]. Примечательно, что данные теоретические положения подтверждаются большим количеством примеров. Рассмотрим лишь некоторые из них. Так, например, пассивные конструкции маркированы по сравнению с соответствующими им активными, причем их маркированность обусловлена и структурно, и статистически, и когнитивно. Так как пассивность конструкции всегда маркируется с помощью глагольной морфологии или вспомогательного глагола, то можно утверждать, что пассивные конструкции имеют более сложную структуру, чем соответствующие им активные. Но в т.н. пассивном субъектном имперсонале, по мнению Т. Гивона, данная закономерность нарушается, поскольку эти пассивные конструкции короче и менее сложны по структуре. Ср. его примеры из индейского языка юта: (Activ) *tamach sivaatuch-i paxa-qa* 'Женщина козу убила' и (Impersonal passive) *sivaatuch-i paxa-ta-xa* 'Коза была убита'. Только в случаях типа англ. *The goat was killed by the woman* 'Коза была убита женщиной' большая структурная сложность пассивных конструкций, по Т. Гивону, не вызывает сомнений [Givón 1995: 44]. Позволим себе заметить, что структурная сложность пассивной конструкции не нарушается и в примере из языка юта, поскольку, во-первых, эллиптирование агенса здесь вторично (т.е. связано не с синтаксисом, а с прагматикой!) и, во-вторых, глагол маркирован морфологическим показателем пассива *-ta-*. Относительно критерия частотности можно утверждать, что, например, в каждодневном, неформальном английском дискурсе преобладают активные конструкции. По данным Т. Гивона, это справедливо и для других типов дискурса. Ср.: научный дискурс: 82% (AKT) – 18% (PAS); художественная литература: 91%–9%; новости: 92%–8%; спорт: 96%–4% [Givón 1995: 44–45], т.е. в соответствии со вторым критерием пассивные конструкции должны быть также признаны маркированными. Когнитивная сложность пассивных конструкций связана с тем, что, по данным психолингвистики, они продуцируются с большими трудностями и гораздо позднее, чем активные, появляются в речи детей. В то же время немаркированность, и следовательно, естественность активных конструкций объясняется Т. Гивоном тем, что агенс, замещая позицию субъекта (топика), отражает антропоцентрическую ориентацию человеческой культуры и человеческого дискурса [Givón 1995: 45]. То же подтверждает и применение категориального параметра [ $\pm$  маркированность] к анализу иконического потенциала актантно-ролевого синтаксиса. Так, известно, что иерархия главных семантических ролей (Агенс > Датив/Бенефактив > Пациенс > Локатив > Инструмент > другие) отражает их способность занимать более выделенную (топикальную) грамматическую позицию в предложении (субъект > прямой объект > непрямой объект). В иерархии грамматических ролей, по мнению Т. Гивона, отражается грамматикализация семантической иерархии [Givón 1995: 46]. Каждый из трех критериев маркированности применяется на корпусе предложений, в которых каждой грамматической роли приписывается соответствующая ей семантическая роль. С точки зрения структурной сложности грамматические роли субъекта и прямого объекта являются морфологически менее маркированными (или даже немаркированными). Такое положение дел, характерное для номинативных языков, принципиально меняется в языках эргативного строя, где субъект переходного глагола морфологически маркирован, и, кроме того, относительно редок морфологически немаркированный непрямой объект. Более выделенные (топикальные) семантические роли – Агенс, Датив/Бенефактив и Пациенс – с большей вероятностью могут занять грамматические позиции субъекта или прямого объекта. Поэтому легко предсказать, что субъект и прямой объект являются более частотными грамматическими ролями в тексте, т.е. они немаркированы [Givón 1995: 46]. Немаркированный когнитивный статус субъекта/Агенса и объекта/Пациенса доказывается их более ранним появлением в детской речи. Об их немаркированности с когнитивной точки зрения свидетельствует и то, что грамматические роли субъекта и прямого объекта кодируют когнитивно более выделенные (the cognitively more salient) партиципранты в описы-

ваемых состояниях и событиях [Givón 1995: 47]. Не стоит однако забывать о том, что универсальная иерархия семантических ролей может получать специфические модификации в конкретных языках. В русском, к примеру, по всей вероятности, (1) Агенса и Экспериментер должны занимать одну и ту же позицию в иерархии, поскольку для них наиболее характерна грамматическая роль субъекта, а (2) Причина в иерархии должна предшествовать Инструменту, поскольку легче продвигается в позицию субъекта, и, кроме того, Инструмент, выполняющий грамматическую роль субъекта, как правило, подвергается "каузальной" модификации. Ср.: *Мяч разбил окно; В дверь школы грубо стучала палка* (А. Платонов) и т.п. Высказанные в качестве гипотезы, (1), как кажется, свидетельствует о проникновении в зону синтаксического иконизма собственно символических, арбитранных элементов, способствующих укрупнению одной и той же позиции в иерархии, а (2) – о культурно-психологических основаниях иерархии семантических ролей. Примечательно, что гипотеза (1) может быть подтверждена применением чисто синтаксических (структурных) методов, а (2) – исключительно экспериментально.

Вопрос об экспериментальной базе иконического синтаксиса, актуальность которого определяется и выдвижением гипотез типа (2), и сложившимся еще в когнитивной психологии и психофизиологии представлением об иконичности как феномене человеческой психики, появился в поле зрения лингвистов не сразу и не вдруг: он достаточно долго вызревал в процессе методологической рефлексии ученых над собственными исследованиями феноменов иконичности в языке. Впервые этот вопрос был поставлен Дж. Хэйманом, который указал на то, что "психологическая (а правильное здесь было бы сказать "психическая". – Прим. мое. – К.С.) реальность иконических тенденций делает их тестируемыми (testable)" [IS 1985: 4]. Релевантность эксперимента при установлении иконических "универсалий", казалось бы, очевидна: положенные в основу когнитивной деятельности, обладающие психической (и психофизиологической) реальностью, они не могут быть чужды экспериментальному анализу, в котором иконический характер того или иного феномена грамматики раскрывается интерпретаторами (в смысле Ч.С. Пирса), имеющими самое интуитивное представление о языке. Между тем в изученной литературе, а следовательно, и в современной лингвистике вся важность экспериментальной базы иконичности в синтаксисе до конца не осознана. Единственной известной нам работой, затрагивающей проблему "тестирования иконичности" (testing iconicity) и построенной на обработке данных проведенного эксперимента, является статья финского лингвиста Я.-О. Ёстмана "Тестирование иконичности: структура высказывания и вежливость" [Östman 1989: 145–163]. Опираясь на утверждение Дж. Хэймана о том, что "социальная дистанция между собеседниками соотносится с длиной сообщения" [Haiman 1983: 783], исследователь предположил, что иконическое соотношение формы и функции в языке является средством связи ступеней вежливости с физической длиной сообщения. При этом под формой Я.-О. Ёстман понимает, как это и принято в естественном синтаксисе Дж. Хэймана [Haiman 1985b], протяженность, длину слов и предложений в поверхностной структуре сообщаемого, а под функцией – вежливость, или скорее шкалу в сфере вежливости (one scale within the sphere of politeness), крайними точками которой являются формальный и неформальный регистры общения [Östman 1989: 145]. По мнению финского ученого, проверить эту гипотезу можно экспериментальным путем, причем так, чтобы выявить некоторую иконическую тенденцию как универсальную. Участниками эксперимента стали 194 студента-лингвиста, мужчины и женщины, в возрасте между 17 и 33 годами, причем для одних родным языком являлся финский, а для других – шведский. Поскольку данные языки относятся к разным языковым семьям и типологически не схожи, в качестве языка эксперимента был выбран искусственный язык Анрик, позволяющий избежать значительных "зазоров" в интерпретации данных, представленных обеими группами участников эксперимента. Процедура эксперимента была предельно проста. Каждому испытуемому предлагались пары высказываний на языке Анрик, которые в принципе означают одно и то же, но

используются различно: одна версия используется в более формальной ситуации, другая же – в более неформальной. Испытуемые должны были поставить знаки "I" (англ. informal) и "F" (англ. formal) перед соответствующими версиями. Иначе говоря, они должны были определить возможность использования каждой из версий в формальном или неформальном регистре. Так, при анализе пары<sup>4</sup> 5а) *Kalekrosi melaka* и в) *Kalekrosi melaka selakato repatini* 164 человека (или 85%) определили, что (а) – версия используется в более неформальной ситуации, чем (в) – версия [Östman 1989: 148]. Со ссылкой на Дж. Хэймана [Haiman 1983: 783] Естман формулирует т.н. стратегию длины (the length strategy), согласно которой длиннее то высказывание, которое принадлежит к более формальному регистру. И действительно, чем больше социальная дистанция между коммуникантами, тем больше должна быть длина сообщения (т.е. как бы с учетом речевых и грамматических "формул" вежливости). Далее сопоставим результаты для 3а) *Resemi xaleгаа peliskop* и в) *Resemi karakote xaleгаа kolonija peliskop* (159 чел., или 82%, считают, что 3а – версия более неформальна) и 1а) *Karakre evidaxi lemotsi* и в) *Karakre ka evidaxi no lemotsi* (113 чел., или 58%, высказали мнение, что 1а – версия более неформальна). Примеры 3в и 1в похожи тем, что между словами, имеющимися также в 3а и 1а, встречаются т.н. "экстра" слова *karakote. kolonija* и *ka, no* соответственно. "Экстра" слова из 1в короче и менее сложны, чем "экстра" слова из 3в. Именно поэтому, судя по процентному соотношению, полученному при сопоставлении данных для 3) и 1), версия 1в может использоваться в более неформальном регистре, чем 3в. Это связано с т.н. "партиклевой" стратегией (the particle strategy), согласно которой более короткие, частицеобразные слова включаются, как правило, в высказывания, принадлежащие к более неформальному регистру [Östman 1989: 149–151]. Согласно Я.–О. Естману, если стратегия длины является иконически мотивированной, то "партиклевая" стратегия представляет собой особый случай экономной мотивации (is a special case of economic motivation) [Östman 1989: 159]. В одной из пар высказываний "тестировалась" ситуация совмещения обеих стратегий: 4а) *Se kesot ije karak ele semako* и в) *Se kesot ije ka re karak ele na semako*. 112 человек (или 58%) посчитали версию 4а принадлежащей к более неформальному регистру. По мнению финского лингвиста, это свидетельствует о своеобразной победе стратегии длины над "партиклевой" стратегией [Östman 1989: 159–160] и в свою очередь подтверждает гипотезу Дж. Хэймана о том, что при конкуренции (competing) экономной мотивации с различными видами иконичности экономия проигрывает [Haiman 1983: 814]. Таким образом, в результате проведенного эксперимента была подтверждена гипотеза Дж. Хэймана (кстати сказать, оспариваемая в [Givón 1985]) и кроме того доказана психологическая реальность иконичности, поскольку носители двух генетически и типологически различных языков обнаружили сходство в выборе аналогичных речеповеденческих стереотипов.

В литературе последних лет все чаще поднимается вопрос о взаимодействии когнитивных презумпций синтаксического иконизма с культурными и текстовыми. Рассмотрим его на примере расположения однородных актантов (далее ОА) [Сигал 1996: 68]. По мнению целого ряда исследователей (У. Купер и Дж. Росс, Ф. Планк, Т. Гивон, В.З. Санников, Н.И. Лауфер), порядок ОА определяется когнитивными установками говорящего и носит более или менее конвенциональный характер. Действительно, предпочтительный порядок ОА в случаях типа *президент и госсекретарь, майор и старшина, профессор и ассистент* и т.п. обусловлен имеющейся в сознании говорящего иерархией лиц по рангу. Никто в то же время не станет оспаривать и культурной детерминации такого порядка. То есть первый актант в ряду ОА выделен не только когнитивно, но и культурно [Givón 1995: 64–66]. Заметим, впрочем, что не всегда наблюдается подобная симметрия когнитивных и культурных презумпций

<sup>4</sup>Нумерация примеров здесь дается по статье Я.–О. Естмана [Östman 1989]. Количество примеров, рассматриваемых в данном обзоре, сокращено

иконического порядка ОА. Ср. наш пример: Не было уже ни всесильного *кардинала* Ришелье, ни подвластного ему *короля* Людовика XIII (М. Булгаков. Жизнь господина де Мольера). Здесь культурная презумпция "побеждает", поскольку, на наш взгляд, в ней содержится антропоцентрическое, историко-аксиологическое, но отнюдь не объективно-констатирующее восприятие ранговой иерархии лиц по общественному положению. Текстовые презумпции иконичности порядка ОА наиболее устойчивы, поскольку они формируются не только при взаимодействии с когнитивными и культурными, но и благодаря тому обстоятельству, что "иконичность знаков легче всего проявится в тексте из-за его пространственного расположения, прежде всего линейной протяженности текста" [Кубрякова 1993: 26]. В частности, последовательность введения актантов в текст, закрепленная в письменной форме последовательно ("выше" или "ниже"), а в процессе порождения и восприятия текста и темпорально ("раньше" или "позже"), способствует формированию их иконической рядоположенности в ряду ОА, стратегия порядка в котором задается последовательным "вплетением" этих актантов в текст. Естественно, что первую позицию в ряду ОА займет тот актант, который отмечен в предтексте, т.е. вводится "раньше" (= "выше"), чем другие актанты, образующие однородный ряд. Например: Перед тем как садиться обедать, она (Катя. – К.С.) разбила стакан, и теперь бабушка отодвигала от нее то стакан, то рюмку (А. Чехов) [Сигал 1997]. Исследование текстовых презумпций иконического порядка ОА приводит фактически к необходимости более глубоко изучить иконический потенциал текста. Позволим себе заметить и то, что именно отсутствие ориентации на текст, своеобразного текстоцентризма привело в свое время к задержке на целое десятилетие фундаментальной разработки естественного синтаксиса (по сравнению с естественной морфологией). Однако к середине 1990-х гг. большинство ученых именно с текстом связывают перспективы "иконических штудий" в области синтаксиса.

#### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, в современной лингвистике понятию иконичности, заявленному в философии и логике еще в дососсюррианский период, как показывает проведенный обзор литературы, отводится одно из ведущих мест в семиологической интерпретации языка. Лингвистика нашего времени откликнулась на призыв Р.О. Якобсона [Якобсон 1983: 107] и занялась сложнейшей по причине ее глубокой гносеологической и лингво-философской аспектуации задачей: выявлением иконического потенциала языковой структуры и прежде всего морфологии и синтаксиса. Однако логика развития научного направления, которое условно можно было бы назвать "Iconicity in language", привела к тому, что постепенно ученые осознали два важнейших момента: во-первых, то, что иконический статус единиц и категорий языка невозможно установить без обращения к структуре дискурса (текста), в котором собственно и происходит становление и функционирование этих единиц и категорий как знаковых сущностей и который ориентирован на иконичность; во-вторых, то, что система языка ограничивает иконическую стихию дискурса, внося в семиологическую структуру единиц и категорий морфологии и синтаксиса символические элементы, получающие свою значимость не относительно "естественных" оснований в реальном мире и/или в сознании человека, а относительно самой языковой системы. С теоретико-методологическим освоением выделенных двух аспектов, на наш взгляд, связаны перспективы данного направления. Первый может способствовать становлению семиологического анализа категориальной структуры языка как в синхронии, так и в диахронии (см. [Hopper, Thompson 1985: 151–183; Wierzbicka 1985: 311–342; Виноградов 1993]), а также "естественной" лингвистики текста, где текст и текстообразование рассматривались бы с точки зрения доминирования<sup>VS</sup> ограничения иконичности в их структуре (см. введение в проблему в [Жолковский 1996: 77–92; Dressler 1989; Enkvist 1981: 71–111; Roventa-Frumusani 1980]). Фундаментальная разработка второго аспекта позволит, как кажется,

семиологически интерпретировать динамику языка, поскольку "система (код) языка и дискурс (текст) имеют различную семиологическую ориентацию: система – на символичность, текст – на иконичность, и это различие является одним из факторов языковой динамики" [Виноградов 1992: 2433]. В этом смысле семиология Пирса–Якобсона также превосходит соссорианскую, поскольку у Ф. де Соссюра и его последователей синхрония и диахрония были скорее противопоставлены, чем осмыслены как континуум последовательных семиологических состояний, что приводило в свою очередь к сомнительной концепции двойственной природы языка – одновременно знаковой и незнаковой.

Таким образом, направление "Iconicity in language", представляя собой контрверзу соссорианскому структурализму и в значительной мере генеративизму, а также вписываясь в современную постгенеративную парадигму лингвистики, позволяет по-новому взглянуть на язык и на науку о нем, что делает данное направление чрезвычайно перспективным и выдвигает в роль одного из доминантных среди лингвистических направлений и теорий, парадигмально прикрепленных к постгенеративизму.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Бергельсон М.Б., Кибрик А.Е.* 1987 – Прагматический принцип приоритета и его отражение в грамматике языка // Моделирование языковой деятельности в интеллектуальных системах. М., 1987.
- Березин Ф.М.* 1996 – Иконичность в языке // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Реферативный журнал. Сер. 6. Языкознание. № 1. 1996.
- Виноградов В.А.* 1992 – Иерархия категорий в грамматической типологии // Proceedings of the Fourteenth International Congress of Linguists. Berlin, 1992.
- Виноградов В.А.* 1993 – Категориальная типология и языковой тип. Дис. ... докт. филол. наук. М., 1993.
- Витгенштейн Л.* 1994 – Философские работы. Ч. I. М., 1994.
- Гамкрелидзе Т.В.* 1976 – "Принцип дополнительности" и проблема произвольности языкового знака. Тбилиси, 1976.
- Гринберг Дж.* 1970 – Некоторые грамматические универсалии, преимущественно касающиеся порядка значимых элементов // Новое в лингвистике. Вып. V. М., 1970.
- Жолковский А.К.* 1996 – How to show things with words // Жолковский А.К., Щеглов Ю.К. Работы по поэтике выразительности. М., 1996.
- Кибрик А.Е.* 1992 – Очерки по общим и прикладным вопросам языкознания (универсальное, типовое и специфичное в языке). М., 1992.
- Кнорина Л.В.* 1995 – Природа языка в лингвоконструировании XVII в. // ВЯ. 1995. № 2.
- Кубрякова Е.С.* 1993 – Возвращаясь к определению знака // ВЯ. 1993. № 4.
- Кубрякова Е.С.* 1995 – Эволюция лингвистических идей во второй половине XX века (опыт парадигмального анализа) // Язык и наука конца 20 века. М., 1995.
- Лауфер Н.И.* 1990 – Семантическая и формальная организация конструкций со значением множества (в связи с механизмом распределения внимания). Дис. ... канд. филол. наук. М., 1990.
- Мельвилл Ю.К.* 1968 – Чарлз Пирс и прагматизм. М., 1968.
- Мельчук И.А.* 1995 – 3 main features, 7 basic principles and 11 most important results of R. Jakobson's morphological research // Мельчук И.А. Русский язык в модели "Смысл ↔ Текст". М.; Вена. 1995.
- Моррис Ч.* 1983 – Основания теории знаков // Семиотика / Под ред. Ю.С. Степанова. М., 1983.
- Николаева Т.М.* 1984 – Коммуникативно-дискурсивный подход и интерпретация языковой эволюции // ВЯ. 1984. № 3.
- Нунан М.* 1989 – О подлежащих и толиках // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XI. М., 1982.
- ОЯ* 1970 – Общее языкознание. Формы существования, функции, история языка. М., 1970.
- Панфилов В.З.* 1977 – Философские проблемы языкознания: Гносеологические аспекты. М., 1977.
- Санников В.З.* 1989 – Русские сочинительные конструкции: Семантика. Прагматика. Синтаксис. М., 1989.
- Сигал К.Я.* 1996 – Расположение однородных актантов и принцип иконичности // ИАН СЛЯ. 1996. № 4.
- Сигал К.Я.* 1997 – Синтаксический иконизм и текстообразование. 1997 (В печати).
- Якобсон Р.О.* 1983 – В поисках сущности языка // Семиотика / Под ред. Ю.С. Степанова. М., 1983.
- Якобсон Р.О.* 1985 – Избранные работы. М., 1985.
- Якобсон Р.О.* 1996 – Язык и бессознательное. М., 1996.
- Virks A.W.* 1949 – Icon, index and symbol // Philosophy and phenomenological research. IX. 1949.
- Wybee J.* 1985 – Diagrammatic iconicity in stem-inflection relations // Iconicity in syntax / Ed. by J. Haiman. Amsterdam, Philadelphia, 1985.

- Dressler W.U., Mayerthaler W., Panagl O., Wurzel W.* 1987 – Leitmotifs in natural morphology. Amsterdam, 1987.
- Dressler W.U.* 1987 – Word formation as a part of natural morphology // Leitmotifs in natural morphology. Amsterdam, 1987.
- Dressler W.U.* 1989 – Semiotische Parameter einer textlinguistischen Natürlichkeitstheorie. Wien, 1989.
- Enkvist N.* 1981 – Experiential iconicism in text strategy // Text. 1981. N 1.
- Givón T.* 1985 – Iconicity, isomorphism and non-arbitrary coding in syntax // Iconicity in syntax / Ed. by J. Haiman. Amsterdam; Philadelphia, 1985.
- Givón T.* 1990 – Syntax: A functional-typological introduction. V. II. Amsterdam; Philadelphia, 1990.
- Givón T.* 1995 – Markedness as meta-iconicity: Distributional and cognitive correlates of syntactic structure // Givón T. Functionalism and grammar. Amsterdam; Philadelphia, 1995.
- Haiman J.* 1980 – The iconicity of grammar: isomorphism and motivation // Language. V. 56. 1980. N 3.
- Haiman J.* 1983 – Iconic and economic motivation // Language. V. 59. 1983. N 4.
- Haiman J.* 1985 – Symmetry // Iconicity in syntax / Ed. by J. Haiman. Amsterdam; Philadelphia, 1985.
- Haiman J.* 1985a – Natural syntax: iconicity and erosion. Cambridge, 1985.
- Hopper P., Thompson S.* 1985 – The iconicity of the universal categories "noun" and "verbs" // Iconicity in syntax / Ed. by J. Haiman. Amsterdam; Philadelphia, 1985.
- IS* 1985 – Iconicity in syntax / Ed. by J. Haiman. Amsterdam; Philadelphia, 1985.
- IL* 1995 – Iconicity in language / Ed. by R. Simone. Amsterdam; Philadelphia, 1995.
- Joseph J.E.* 1995 – Natural grammar, arbitrary lexicon: an enduring in the history of linguistic thought // Language and Communication. 1995. V. 15. N. 3
- Mayerthaler W.* 1980 – Morphologische Ikonismus // Zeitschrift für Semiotik. 1980. N. 2.
- Mayerthaler W.* 1981 – Morphologische Natürlichkeit. Wiesbaden, 1981.
- Newmeyer F.J.* 1992 – Iconicity and generative grammar // Language. V. 68. 1992.
- Ostman J.-O.* 1989 – Testing iconicity: Sentence Structure and Politeness // Universals of language. 1989. N 4.
- Peirce Ch.S.* 1938–1952 – Collected papers of Ch.S. Peirce. – I–VIII. Cambridge (Mass.), 1938–1952.
- Plank F.* 1979 – Ikonisierung und Deikonisierung als Prinzipien des Sprachwandels // Sprachwissenschaft. 1979. N 4.
- Ransdell J.M.* 1979 – The epistemic function of iconicity in perception // Peirce Studies. 1979. 1.
- Robertson J.S.* 1983 – From symbol to icon: The evolution of the pronominal system from Common Mayan to Modern Yucatecan // Language. 1983. V. 59. N 3.
- Roventa-Frumusam D.* 1980 – L'iconicité dans le discours scientifique // Revue roumaine de linguistique. 1980. N 25.
- Seiler H.* 1989 – Iconicity in functional perspective // Universals of language. 1989. N 4.
- Shapiro M.* 1983 – Peirce's semeiotic. Sketch of a Peircean theory of grammar // Shapiro M. The sense of grammar: Language as semeiotic. Bloomington, 1983.
- Stetter Ch.* 1979 – Peirce und Saussure // Kodikas / Code. 1979. N 1.
- Tomlin R.* 1987 – Linguistic reflections of cognitive events // Coherence and grounding in discourse / Ed. by R.S. Tomlin. Amsterdam; Philadelphia, 1987.
- Verhaar J.* 1987 – On iconicity and hierarchy // Studies in Language. V. II. N 2. 1987.
- Wescott R.* 1971 – Linguistics iconism // Language. V. 47. N 2. 1971.
- Wierzbicka A.* 1985 – Oats and wheats: the fallacy of arbitrariness // Iconicity in syntax / Ed. by J. Haiman. Amsterdam; Philadelphia, 1985.
- Wurzel W.U.* 1984 – Flexionsmorphologie und Natürlichkeit. Berlin, 1984.

РЕЦЕНЗИИ

**Межкатегориальные связи в грамматике /** Под ред. А.В. Бондарко, М.Д. Воейковой, Н.А. Козинцевой. СПб., Изд-во "Дмитрий Буланин", 1996. 231 с.

Грамматическое описание предполагает прежде всего установление и всестороннюю характеристику грамматических категорий. Однако изолированная от конституции, от языковой и речевой среды категория – это всегда в известном смысле искусственный "препарат", полученный в результате применения специальных процедур лингвистического анализа. Очевидно, что в речевых произведениях перед нами предстают не изолированные языковые категории, а комплекс взаимодействующих категорий морфологии и синтаксиса, грамматики и лексики. На определенном этапе развития языкознания было важно разработать методику вычленения категорий из этих комплексов, что было отнюдь не простой задачей<sup>1</sup>.

Подход к языковой категории как к изолированному, вычлененному из лексического и грамматического контекста феномену позволил глубже изучить сущность самого понятия категории и установить основные типы формальных и семантических отношений между элементами, противопоставленными в рамках категории. И тем не менее этот подход в настоящее время в значительной степени себя исчерпал, так как для многих языков мира уже выявлен и в целом описан корпус языковых категорий (прежде всего – категорий грамматики).

Возврат к комплексам категорий (или, по выражению А.В. Бондарко, "поликатегориальным единствам") – но уже на этот раз не как к исходному материалу для вычленения категорий, а как к самостоятельному объекту особой природы, со своими особыми системообразующими свойствами, предста-

вляется вполне закономерным в рамках системного и функционального подходов к языку. Специальное теоретическое осмысление проблемы межкатегориальных связей на материале языков различных типов весьма актуально и для общего языкознания, и для описания конкретных языков.

Рецензируемая книга займет особое место в получившей самую широкую известность и признание "ленинградской" серии монографий по теории системно-описательной и функциональной грамматики, подготовленных к изданию в отделе теории грамматики и лаборатории типологического изучения языков Института лингвистических исследований РАН<sup>2</sup>. Именно в данной работе объектом специального анализа становится понятие межкатегориальной связи, которое по самой своей сути должно являться, безусловно, одним из важнейших, основополагающих понятий системного подхода к языку (см.: [Булыгина 1980; Храковский 1990; Кибрик 1992 и др.]).

Конечно же, взаимодействие категорий имплицитно предполагается в качестве одной из исходных теоретических посылок при исследовании конкретного языкового материала во многих работах, поскольку и языковая система в целом, и любая языковая подсистема представляют собой классы элементов, упорядоченных сетью отношений. Однако сам феномен межкатегориального взаимодействия до сих пор рассматривался в теоретическом плане обычно либо в самом общем виде, либо на материале, ограниченном рамками одного языка, а чаще всего и одной части речи.

Теория межкатегориального взаимодействия излагается в двух разделах

<sup>1</sup> Ср. наблюдавшееся в XVIII–XIX в. объединение (точнее, смешение) русских категорий вида и времени в рамках многочленной – до десяти форм! – временной системы, устанавливаемой по аналогии с западноевропейскими языками, не обладающими категорией вида.

<sup>2</sup> См., в частности: [Холодович, ред. 1974; Бондарко и др. 1987, 1990, 1991, 1992, 1996; Неделков, ред. 1983; Храковский, ред. 1989 и др.].

рецензируемой книги – в предисловии, написанном ответственным редактором издания А.В. Бондарко, где определяется общая стратегия описания поликатегориальных единств, и в разделе "Грамматические категории глагола (опыт теории взаимодействия)", автором которого является В.С. Храковский.

А.В. Бондарко в предисловии разграничивает два типа объектов, представляющих интерес в плане изучения межкатегориальных связей (с. 3). Это, с одной стороны, традиционно описываемые "естественные комплексы" категорий, связи между которыми очевидны (вид и время, время и наклонение), а с другой – такие поликатегориальные единства, само существование которых или дискуссионно, или же вообще до сих пор не стало предметом широкого научного обсуждения в силу того, что сами категории, образующие подобные единства, к настоящему времени не вошли в общепринятый аппарат грамматического описания. Попутно сразу же замечу, что установление и описание в монографии ряда нетривиальных категориальных единств на материале, казалось бы, достаточно хорошо изученных языков (см. подробнее ниже) – одно из бесспорных достижений авторов рецензируемого издания.

В предисловии разграничены также основные типы связей между категориями языка: связи парадигматические (они обнаруживаются в морфологической парадигме слова) и связи функциональные, обнаруживаемые при изучении функционирования категорий в речи. Кроме того, объективно существующая в языке иерархизация категорий (ср.: "...функциональные разновидности одной категории могут рассматриваться как позиции по отношению к функционированию другой грамматической категории" – с. 4) позволяет также подвергнуть специальному изучению иерархические связи между категориями (с. 3).

Характер представления описываемых поликатегориальных единств в принципе может быть, как подчеркивает А.В. Бондарко, различным, что и демонстрируется в рецензируемой монографии. В одних разделах монографии за основу рассмотрения берется определенная языковая категория, а объектом изучения становятся ее многоплановые связи с другими категориями. С подобным "центрированным" (или "фокусированным") подходом в монографии сощетается описание категорий в определенной морфологической парадигме или в контексте предложения определенного типа, при этом за точку отсчета берется не

отдельная категория, а целостный комплекс категорий на уровне слова, предложения, высказывания или связного текста.

Построение основной части монографии подчинено не логике противопоставления типов межкатегориального взаимодействия, а связано с разграничением уровней ее реализации такого взаимодействия в языке и речи.

Как уже было сказано выше, в монографии рассматриваются с точки зрения межкатегориального взаимодействия не только традиционные, хорошо изученные категории (например, наклонение, вид, число и т.п.), но и категории, пока еще не являющиеся достоянием стандартной лингвистической теории, поскольку само обоснование их выделения было осуществлено лишь недавно. В связи со сказанным только что следует отметить прежде всего описание системных связей, характеризующих особую категорию высказывания и связного текста – категорию времени и его порядка. О ней идет речь в принадлежащем перу А.В. Бондарко разделе "Категория временного порядка и функции глагольных форм вида и времени в высказывании".

"Временной порядок, – пишет автор, – трактуется нами как отражаемое в высказывании и целостном тексте языковое представление "времени в событиях", т.е. представление временной оси, репрезентируемой событиями, процессами, состояниями, обозначениями моментов времени и интервалов (*на другой день, через пять минут* и т.п.)" (с. 6). Категория временного порядка представляет собой, по мысли А.В. Бондарко, одну из семантических категорий, в которых реализуется идея времени (в самом широком смысле), наряду с общепризнанными уже категориями темпоральности, таксиса, аспектуальности и временной локализованности (с. 6); о закономерностях функционального соотношения перечисленных категорий см. подробнее в [Бондарко и др. 1987; 1990; Бондарко 1996].

Категоризация недискретного по своей природе временного порядка в виде бинарного противопоставления смыслов, имеющих специализированные средства выражения, осуществляется А.В. Бондарко на основе следующих пар семантических признаков: динамичность /статичность; "возникновение новой ситуации" (ВНС) / "данная ситуация" (ДС); суцессивность /симультанность. При этом можно говорить и об иерархической подчиненности признаков друг другу, и, соответственно, об определенном "синтаксисе" признаков в рамках

толкования ситуации; ср. рассматриваемый в монографии пример из К. Вагинова и его интерпретацию в плане выражения отношений временной последовательности: "В вагоне никого не было [ДС<sub>1</sub>], они сидели вдвоем [ДС<sub>2</sub>, simultанность по отношению к ДС<sub>1</sub>; комплекс элементов ДС<sub>1</sub> и ДС<sub>2</sub>, образующий более широкую "данную ситуацию", обуславливает выражение в тексте семантики статичности]. Костя Ротиков встал [ВНС<sub>1</sub>] и стал читать [ВНС<sub>2</sub>] сонет Гонгоры [статичность сменяется динамичностью: сочетание элементов ВНС<sub>1</sub> и ВНС<sub>2</sub> передает смену ситуаций, находящихся в отношении сукцессивности]" (с. 7).

Идея временного порядка исключительно важна для выстраивания временных отношений. Более того, это по сути своей *центральный* концепт в рамках системы представлений о времени, категория уровня текста (см. соответствующие утверждения на с. 12 и 14). Таким образом, разрабатываемая А.В. Бондарко в течение уже трех десятилетий лингвистическая модель времени обогатилась в последние годы весьма существенным компонентом.

Представляют интерес наблюдения о том, что категория временного порядка реализуется не только в полипредикативных конструкциях, выражающих бинарное соотношение ДС – ВНС, но и в изолированных (автономных) монопредикативных высказываниях с формами совершенного вида, манифестирующих лишь ВНС (*Вчера мы письмо получили*); содержание подобных высказываний, по мнению А.В. Бондарко, соотносено с определенной точкой на временной оси, в презумпции же – та или иная ДС, имплицитно предшествующая данному ВНС и фактически его подготавливающая (или даже каузирующая); см. рассуждения на эту тему на с. 10, 13, 20 и др. В этой связи было бы интересно, вероятно, обсудить возможность автономного выражения ВНС в высказываниях с формой не совершенного вида (ср. высказывания типа *Мы наконец-то переезжаем!*).

Показав грамматическую природу постулируемой категории, А.В. Бондарко обращается к рассмотрению связей категории временного порядка как центральной категории обширного функционально-семантического поля времени с другими категориями, образующими это поле. Автор разграничивает смежные, но различные по своему содержанию категории временного порядка и темпоральности. Так, принципиально недейктические обстоятельственные показатели временного порядка типа *затем, на следующий день* отграничены в моногра-

фии от соответствующих показателей временного дейксиса, принадлежащих сфере собственно темпоральности, типа *когда-нибудь, прошлым летом* (с. 8–9). В монографии проводится детальный анализ полифункциональных распространителей типа *через десять минут*, которые в различных контекстах могут иметь как недейктическую, так и дейктическую функцию, ср.: (1) *Через десять минут семья из Сан-Франциско сошла в большую барку...* (И. Бунин) и (2) *Через десять минут я зайду к тебе*. Временной порядок как категория, реализуемая самым широким спектром языковых средств от целостного текста до аспектуально охарактеризованного монопредикативного предложения, отграничивается А.В. Бондарко от смежной категории таксиса (характеризующейся, по его мнению, специализированным выражением в виде полипредикативной конструкции: с. 20). Определенные связи устанавливаются также между временным порядком и временной локализованностью (с. 21).

Следующая часть монографии озаглавлена "Грамматические категории глагола". Она открывается теоретическим разделом "Грамматические категории глагола (опыт теории взаимодействия)", написанным В.С. Храковским. Автор раздела, специально разрабатывавший проблематику межкатегориального взаимодействия на материале глагола [Храковский 1990], излагает параметры рассмотрения глагольных категорий на материале различных языков ряде последующих разделов монографии и задает точку отсчета при описании категорий: система грамматических категорий глагола моделируется в направлении от категории наклона.

В.С. Храковский предваряет свой раздел обсуждением исходного понятия "взаимодействие", что немаловажно не только для содержания данной части рецензируемой монографии, но и в более широком плане, поскольку, как справедливо отмечается в монографии, "в настоящее время в языкознании нет какой-либо теории взаимодействия" (с. 24). Взаимодействие трактуется В.С. Храковским как разновидность отношений между категориями (другими разновидностями межкатегориальных отношений являются: взаимообусловленность, взаимозависимость и взаимосвязь). Взаимодействие определяется как "такое отношение между грамматическими категориями, при котором обе категории функционируют согласованно и влияют друг на друга таким образом, который может приводить к видоизменению обеих грамматических категорий (в

частном случае – одной категории)" (с. 25). Взаимообусловленность, в отличие от взаимодействия, предполагает "обязательное сосуществование двух категорий" (там же). Что касается других типов межкатегориального отношения, то о них В.С. Храковский пишет: "...я не убежден, что взаимозависимость и взаимосвязь четко отличаются друг от друга по понятийному содержанию". Дефиниции этих двух последних типов отношений, к сожалению, в работе не приведены, однако говорится о том, что у сопряженных категорий, находящихся в отношениях взаимозависимости (вид – время, время – наклонение), отмечается наличие общего семантического компонента (с. 25), что совсем не обязательно для категорий, находящихся в отношениях других типов.

В монографии (с. 26) оценивается как правдоподобная гипотеза семантического устройства глагольной словоформы, предложенная на материале агглютинативных языков в исследовании [Кибрик 1992: 31]. Согласно этой гипотезе, продолжает В.С. Храковский, "семантическое представление глагольной словоформы можно уподобить набору матрешек. Внешняя матрешка – это категория наклонения, в значении которой имеется переменная, заполняемая значением категории времени, т.е. следующей матрешки. В свою очередь в значении категории времени есть переменная, которая заполняется значением категории вида (...). И в значении категории вида есть переменная, которая заполняется значением корня, представляющим собой последнюю, внутреннюю матрешку" (там же). По мнению Храковского, взаимодействовать могут не только смежные категории, значения которых непосредственно "вкладываются" друг в друга (ср. наклонение и время), но и категории, семантически далекие друг от друга (например, наклонение и вид, наклонение и лицо, наклонение и число, наклонение и залог).

Этот тезис обосновывается в монографии с использованием многочисленных примеров из языков различных типов, при этом автор раздела высказывает целый ряд соображений, уточняющих бытующие представления о составе категорий того или иного языка.

Проследивая взаимодействие категорий наклонения и времени, автор обосновывает отсутствие категории времени у форм императива в латыни; и императив настоящего времени, и императив будущего времени обозначают будущее действие; сходная ситуация обнаруживается и в тунгусо-маньчжурских языках, в частности в нанайском.

Есть основания усматривать наличие у указанных форм не категории времени (в обычном понимании), а особой категории временной ориентации. "...Различие образующих ее [т.е. данной категории. – Е.К.] форм, – пишет В.С. Храковский, – связано с обязательностью/необязательностью наличия интервала между моментом речи и моментом исполнения действия" (с. 29), ср.: *Manus lava et cena* (действие произойдет непосредственно после момента речи) – *Si me diligis, ad me litteras mittito* (действие может произойти только через какой-либо временной интервал после момента речи).

Подобные примеры позволяют В.С. Храковскому говорить о принципиальной возможности "ликвидации" одной (зависимой, рецессивной) категории под воздействием другой, доминантной категории как одном из типов взаимодействия категорий (с. 41). Не отрицая принципиальной возможности такого взаимодействия категорий, я бы интерпретировал конкретные рассмотренные факты осторожнее – не как ликвидацию категории времени в императиве, а как особый позиционно обусловленный семантический сдвиг в рамках категории времени, как явление функциональной трансформации граммем категории времени под воздействием общей футуральной перспективы императива.

Категория наклонения является доминантной категорией, как показано в монографии, по отношению к категории вида (с. 30–33), а также по отношению к категориям залога (с. 34–36), лица и числа (с. 36–41). В результате попарного изучения взаимодействия перечисленных категорий с категорией наклонения В.С. Храковский выделяет несколько типов видоизменения рецессивных категорий: 1) ликвидация рецессивной категории под влиянием категории доминантной (см. примеры выше); 2) ликвидация отдельных форм рецессивной категории (ср. регулярное отсутствие в императиве корреляции по залого); 3) появление рецессивной категории на фоне ее отсутствия в других грамматических формах того же слова (ср. наличие в некоторых языках, например в нивхском, кламат, лезгинском, монгольском, японском, в формах императива противопоставления по лицу и числу и отсутствие подобного противопоставления в индикативе); 4) появление у рецессивной категории новых форм (например, в русском языке формы "двойственного числа" императива типа *идем!* при отсутствии двойственного числа в индикативе); 5) содержательная модификация

граммам рецессивной категории (ср. в английском преобразование в императиве оппозиции 'актив/пассив' в оппозицию 'некаузатив/каузатив': *Don't be deceived* 'не будь обманут (= не дай себя обмануть)'); 6) формальная модификация рецессивной категории (имеется в виду, судя по приводимым примерам, изменение относительной значимости граммем категории: в императиве центральной является форма 2-го лица, которая никогда не является центральной в индикативе); 7) содержательная модификация отдельных форм рецессивной категории (так, в индонезийском языке в пассиве индикативная форма 3-го л. может использоваться как форма 2-го л. императива); 8) формальная модификация отдельных форм рецессивной категории (в качестве примера отмечается тот факт, что в императиве и индикативе одно и то же лицо может обозначаться с помощью разных формальных показателей).

Перечень типов межкатегориального взаимодействия, как полагает В.С. Храковский, может быть расширен. Кроме того, автор называет целый ряд категорий, которые никак не взаимодействуют с категорией склонения. Это категория рефлексива, реципрока и каузатива (с. 42). Последнее утверждение нуждается, как кажется, в уточнении в связи с приведенными ранее примерами функциональной соотносительности пассива и каузатива под воздействием императива (очевидно, нужно в полной мере учитывать явления опосредованного воздействия одной категории на другую и разработать отдельную классификацию типов подобного непрямого взаимодействия категорий). В целом рассуждения В.С. Храковского представляют серьезный вклад в теорию межкатегориальных связей.

Ю.А. Пупынин в разделе "Грамматические категории русского глагола в их системно-парадигматических и функциональных связях" развивает целый ряд положений, высказанных в работах А.В. Бондарко и конкретизированных в его собственных исследованиях. Автор соотносит по семантике систему глагольных категорий с частеречным значением процессуальности (с. 44, 49). Сразу же можно заметить, что такое соотношение вполне правомерно по отношению к большинству, но отнюдь не ко всем глагольным категориям: не имеют прямого отношения к процессуальности категориальные значения глагольного числа и рода (указание на количество и биологический пол субъектов действия); лицо также соотносится скорее с

элементами коммуникативной ситуации (в системе координат 'я - здесь - сейчас'), нежели с денотативной ситуацией, предикат которой и обозначается процессуальной (глагольной) лексемой.

Исходя из представлений об относительной значимости глагольных категорий (о "формально-структурной иерархии грамматических категорий глагола"), Ю.А. Пупынин предлагает следующую схему воздействия одних категорий на другие (с. 46):

ВИД →  
→ НАКЛОНЕНИЕ → ВРЕМЯ → ЛИЦО  
ЗАЛОГ →

Данная схема, отражающая формальное воздействие одних (более общих) категорий на другие (более частные), должна быть, как кажется, соотнесена с выводами В.С. Храковского в предыдущем разделе монографии о склонении как функционально доминирующей категории по отношению не только к категории лица, но и вида, и залога.

Ю.А. Пупынин ставит закономерный вопрос о парадигматической избирательности категорий (с. 47): граммемы одних категорий "пересекаются" друг с другом в одной словоформе (например, граммемы лица и настоящего/будущего времени), другие же граммемы "уклоняются" от такого пересечения (ср. граммемы лица и прошедшего времени). Теоретически возможно 256 комбинаций граммем вида, залога, склонения, времени и лица. Реально в русском языке отмечена 21 регулярная комбинация граммем в рамках словоформы; в этот перечень не включены "ограниченно возможные" сочетания граммем, например 'НСВ + пассив + индикатив + настоящее время + 1-е л.', хотя в художественной литературе и отмечаются фразы типа *...Я читаюсь больше, чем Лев Толстой* (А. Толстой).

"В процессе функционирования грамматических форм, — пишет Ю.А. Пупынин, — многие парадигматические ограничения преодолеваются, компенсируются с помощью других языковых средств" (с. 52). Так, отсутствующая у инфинитива граммема лица компенсирована контекстными показателями: *Нам время тлеть, тебе — цвести* (А. Пушкин). Автор высказывает утверждение об обязательной контекстной выраженности личного значения для любого употребления неличных форм глагола (инфинитива, деепричастий), а также для таких форм, как прошедшее время индикатива, сослагательное и повелительное склонение (с. 53). Отдельно рассмотрен

вопрос о функционировании сослагательного наклонения, в частности о темпоральном содержании высказываний с формами сослагательного наклонения (с. 54–55) и о конкурентных конструкций типа *Я хотел бы рассказать / Я хочу рассказать / Я рассказал бы* (с. 55–58).

Е.Е. Корди (раздел "О взаимодействии категорий французского глагола: императив и категории лица/числа, времени/вида, залога") обращается к французскому императиву, практически не имеющему, как известно, парадигматических форм, не омонимичных формам индикатива или же сослагательного наклонения – субъективна. Тем не менее с учетом особых синтагматических характеристик императива (ср., в частности, системный запрет на реализацию позиции субъекта – подлежащего) императив признается в работе особой "категорией" (точнее, возможно, было бы сказать: граммемой) французского наклонения с шестью категориальными формами, базирующимися на противопоставлении значений трех лиц и двух чисел (с. 62–66), причем все эти формы принадлежат плану будущего (изменяемость по времени отсутствует) и обычно несовместимы с пассивным значением (с. 75–77).

При реализации императивного значения важную роль играет коммуникативное значение адресата речи: непосредственно ориентированные на адресата формы второго лица составляют центральное звено системы императива, а императивные формы, соотносимые с субъективом, используются в собственно императивном (а не, например, оптативном) значении при наличии "слушающего, который принимает активное участие в реализации побуждения" (с. 70), ср.: *Que je ne te revvoie jamais!* 'чтоб я никогда тебя больше не видел' (= 'уйди навсегда').

В разделе "Взаимодействие перфекта с семантическими и грамматическими категориями в высказываниях современного армянского языка" (автором его является Н.А. Козинцева) перфектные формы индикатива – собственно перфект и плюсквамперфект, противопоставленные в анализируемом языке имперфективным формам (презенсу и имперфекту) и результативу, рассматриваются в русле заявленной автором раздела комплексной программы описания перфекта. Эта программа предполагает изучение системного взаимодействия граммемы перфекта с лексической семантикой глагола, с сопряженными морфологическими категориями глагола (залог, лицо, число), с морфологическими категориями имени (число, определенность-неопределенность) и с категориями высказывания

(модальность, временная локализованность-нелокализованность, таксис, коммуникативная перспектива).

В рецензируемой монографии реализована, естественно, лишь часть данной широкомасштабной программы. Армянский перфект рассмотрен прежде всего в связи с характером валентности и разграничением аспектуальных классов глагола (предельные/непредельные одноактантные и многоактантные глаголы; с. 80–86). Обсуждаются также вопросы установления контекстуальных типов армянского перфекта, который может употребляться как в контекстах, выражающих актуальность последствий действия для момента речи (*Erku gorcov et ekel* 'Я пришел на две минуты'), так и в контекстах, не связанных с обозначением актуальной значимости последствий действия в прошлом. В контекстах второго типа перфект передает значение незасвидетельствованности действия со стороны говорящего (точнее, косвенной авторизации информации о действии: *Hers patmin e.r, or im holor papern ays kulayic en gini xmel* 'Мой отец рассказывал, что все мои деды пили вино из этого кувшина'), или же участвует в формировании нарративного текста, что является типологически существенной характеристикой именно армянского перфекта, и перфект в подобных контекстах сближается с аористом (с. 95–96). В разделе на большом фактическом материале рассмотрены также соотношения граммем перфекта и пассива, перфекта и лица.

Следующая часть монографии, посвященная специальному рассмотрению категорий имени, представлена лишь одним разделом: "Категория числа и определенность/неопределенность в современных иранских языках". Построения этого раздела монографии базируются на данных обеих генетических ветвей иранских языков – западноиранской, представленной персидским, курдским и белуджским языками, и восточноиранской – афганский и рушанский языки.

Автор раздела И.А. Смирнова убедительно демонстрирует сложное многоуровневое взаимодействие в сфере рассматриваемых категорий. Прежде всего, семантический потенциал грамматической категории числа непосредственно обусловлен в иранских языках лексической категорией, реализуемой в противопоставлении двух основных классов имен – лиц и "предметов" (в последние включаются и наименования неактивных по своему поведению в той или иной ситуации животных; с. 108–109). С другой стороны, категория числа выступает как "среда" для семантической категории

определенности/неопределенности. Так, немаркированные с точки зрения количественности (т.е. первично предназначенные для обозначения не единичных предметов, а целых классов предметов: перс. *kolax* 'шапка вообще', бел. *draxi* 'дерево вообще'; с. 108) формы единственного числа предметных существительных при наличии специальных распространителей – указательных местоимений, показателей единичности – могут выражать как четко актуализированную единичность, всегда связанную с противопоставлением определенности/неопределенности, так и нейтральную в отношении определенности/неопределенности неактуализированную единичность (с. 131–135). Формы же единственного числа личных существительных могут выражать актуализованную единичность без каких бы то ни было контекстных уточнителей. Форма множественного числа имеет категориальное значение раздельной (расчлененной) множественности (перс. *Āgarāna āz dur su miāādānd* 'вдали мигали фюаря') и целый ряд иных значений, включая я и значение класса предметов (отмечаемое, например, для предметных имен в афганском, реже – в курдском языке).

В результате изучения материала И.А. Смирнова устанавливает два типа отношений между категориями числа и определенности/неопределенности: 1) для формы единственного числа предметных имен отмечается "слияние этих двух категорий" как в формальном, так и в содержательном отношении и тенденция к грамматикализации числовых уточнителей (например, к артиклеобразованию); 2) для формы единственного числа личных имен и для формы множественного числа как личных, так и предметных существительных можно говорить об автономном выражении значений числа и определенности/неопределенности при отсутствии грамматикализации лексических уточнителей каждого из типов значений (с. 143).

Подчеркивая информативность рассмотренного раздела монографии, можно только выразить сожаление, что именные категории не были проанализированы в рецензируемой диссертации в более полном объеме – как на материале иных языковых групп, так и на всем типологически возможном корпусе категорий (согласовательный класс, род, одушевленность, падеж и др.).

Заключительная часть монографии посвящена изучению межкатегориального взаимодействия синтаксических единиц с категориями лексики и морфологии. Эта часть открывается небольшим по объему

разделом "Связи субъекта и объекта с грамматической семантикой предиката в русском языке", написанным Ю.А. Пупыным. Автор исходит из ряда допущений, и основным является предположение о том, что предикат, субъект и объект представляют собой определенные к а т е г о р и и синтаксиса и что "...на уровне синтаксической конструкции в центре внимания находятся межкатегориальные связи типа Субъект – Предикат – Объект. Однако конкретная репрезентация Субъекта, Предиката и Объекта происходит при участии соответствующих ГК (грамматических категорий. – Е.К.) более низкого порядка..." (для субъекта и объекта – это категории падежа, числа, рода, для предиката – категории вида, залога, наклонения, времени, лица (с. 145). При этом Ю.А. Пупынин полагает, что "возможно и даже целесообразно интерпретировать предикат как категорию более высокого порядка, по отношению к которой грамматические (морфологические) категории выступают как ряд (система) признаков" (там же). Автор кратко рассматривает реализацию субъектно-объективных значений в активных и пассивных, а также безличных конструкциях, отношение субъекта и объекта к действительским ориентирам ситуации речи, семантическую специализацию субъекта и объекта (по отношению к семантико-синтаксическим ролям агенса, бенефактива, инструмента и т.п.), а также возможности референтной отнесенности субъекта и объекта (в оппозиции "референт" – "класс").

Категориальная интерпретация актантных и предикатных (а также, очевидно, и сирконстантных?) значений представляется интересной и перспективной, поскольку позволяет существенно расширить и керализовать в целом менее детально описанную по сравнению с набором морфологических или лексических категорий систему категорий синтаксиса. Однако мысль о наличии прямой корреляции между морфологическими и синтаксическими категориями заставляет вспомнить об обосновываемой выше в монографии (с. 43 и сл.) едва ли не аналогичной корреляции между наборами морфологических категорий и частями речи. Как представляется, в этой связи было бы весьма своевременным обращение к вечной проблеме, решаемой традиционной грамматикой в терминах соотношения частей речи и членов предложения. В любом случае, однозначная привязка предиката к глагольным категориям, а субъекта или объекта – к категориям имени требует более пристального рас-

смотрения с привлечением сведений, с одной стороны, о неизменной репрезентации так называемых предикатных актантов, а с другой – о регулярном субстантивном выражении основного предиката высказывания (*Мой брат – студент*): во всех подобных случаях постулируемая в монографии корреляция между категориями морфологии и синтаксиса или существенно деформируется, или же вообще разрушается.

Завершают монографию два раздела, посвященные категориальным свойствам синтаксических конструкций различной семантики. М.Д. Воейкова в разделе "Категориальные признаки перформативных высказываний в русском языке" кратко излагает историю изучения перформативности как особого свойства высказывания и характеризует семантическую структуру перформативного глагола и вводимой им пропозиции (с. 155–160), после чего рассматривает реализацию в русских перформативных высказываниях таких категорий, как вид и время, а также лицо, залог и модальность (161–166).

Е.А. Мельникова посвящает написанный ею фрагмент коллективной монографии решению на материале английского языка следующей проблемы: "Семантический признак 'характер передаваемой информации' и типы синтаксических конструкций с глаголами речи" (с. 168–216). Автор предлагает детально разработанную классификацию глаголов речи с учетом признака 'характер передаваемой информации', выстраивая особым образом организованную лексико-семантическую категорию, образуемую противопоставлением глаголов информационной семантики типа *to inform*, глаголов речевого поведения типа *to blame* 'порицать, обвинять', 'экспрессивов' типа *to congratulate* 'поздравлять' и глаголов идентификации типа *to define* 'определять' (с. 169–170). В дальнейшем изложении содержится детальная характеристика семантики и конструктивных возможностей каждого из указанных лексических классов. Сам характер значения описываемых глаголов предполагает обращение автора к проблематике категорий перформативности (с. 168), специально рассмотренной в предыдущем разделе монографии. Анализируя сочетаемость глаголов речи с именными актантами 'агенса', 'адресата' и 'содержание речи', автор заключительного раздела рецензируемой монографии опирается также на понятие особой глагольной категории – категории переходности (с. 169); попутно можно выразить сожаление, что данная синтагма-

тически выражаемая грамматическая категория глагола фактически игнорируется в предыдущих разделах монографии (а в разделе, посвященном армянскому перфекту, трактуется как лексический фактор реализации функций перфекта: с. 79).

Жаль также, что монография не содержит общего заключения, в котором бы суммировались основные теоретические результаты проведенного исследования связей между языковыми категориями и намечались бы перспективы дальнейшего изучения поликатегориальных единств.

Издание в целом хорошо оформлено, снабжено большим перечнем использованной литературы (с. 217–226); это самая полная библиография по проблемам межкатегориального взаимодействия и смежным вопросам. Завершают книгу указатели – именной и предметный. Недостает, возможно, лишь списка условных сокращений – их в книге очень много, и некоторые из них носят ярко выраженный авторский характер: Ц, ОГР, КЧ, О/НО и т.п.

Разумеется, не все вопросы теории межкатегориального взаимодействия поставлены (и тем более однозначно решены) в рецензируемом труде. Однако трудно упрекнуть за это авторский коллектив: для достижения указанной глобальной цели необходимо предварительное конкретное и весьма трудоемкое описание, причем по единой программе, всех поликатегориальных единств в языках различных типов, которое в конечном итоге должно вылиться в многотомный труд, создание которого может мыслиться лишь на весьма отдаленную временную перспективу.

Важно, что авторы рецензируемой коллективной монографии, подводя итог определенному этапу изучения межкатегориального взаимодействия, заставляют читателя задуматься о комплексе исследовательских задач, решение которых важно для развития теоретической базы системно-коммуникативной научной парадигмы.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Бондарко А.В. 1996 – Проблемы грамматической семантики и русской аспектологии. СПб., 1996.  
Бондарко А.В. и др. 1987 – Теория функциональной грамматики: Введение. Актуальность. Временная локализованность. Таксис / Под ред. А.В. Бондарко и др. Л., 1987.  
Бондарко А.В. и др. 1990 – Теория функциональной грамматики: Темпоральность. Модальность / Под ред. А.В. Бондарко и др. Л., 1990.  
Бондарко А.В. и др. 1991 – Теория функциональной грамматики: Персональность. Залоговость / Под ред. А.В. Бондарко и др. СПб., 1991.

- Бондарко А.В. и др. 1992 – Теория функциональной грамматики: Субъектность. Объектность. Коммуникативная перспектива высказывания. Определенность/неопределенность / Под ред. А.В. Бондарко и др. СПб., 1992.
- Бондарко А.В. и др. 1996 – Теория функциональной грамматики: Качественность. Количественность / Под ред. А.В. Бондарко и др. СПб., 1996.
- Булыгина Т.В. 1980 – Грамматические и семантические категории и их связи // Аспекты семантических исследований. М., 1980.
- Кибрик А.Е. 1992 – Очерки по общим и прикладным вопросам языкознания. М., 1992.
- Недялков В.П., ред. 1983 – Типология результативных конструкций (результатив, статив, пассив, перфект). Л., 1983.
- Холодович А.А., ред. 1974 – Типология пассивных конструкций. Диатезы и залогов. Л., 1974.
- Храковский В.С. 1990 – Взаимодействие грамматических категорий глагола (опыт анализа) // ВЯ. 1990. № 5.
- Храковский В.С., ред. 1989 – Типология итеративных конструкций. Л., 1989.

Е.В. Клабуков

**Koester-Thoma Soia. Die Lexik der russischen Umgangssprache. Forschungsgeschichte und Darstellung.** Berlin: Dieter Lenz Verlag, 1996. 275 S.

Русская разговорная речь и просторечие в последние двадцать лет становятся все более привлекательным объектом лингвистического исследования. Во многом это – возрождение искусственно (точнее – насильственно) прерванной инициативы Б.А. Ларина, в 20-х годах не только разработавшего комплексную программу изучения городской речи путем анкетирования и опроса информантов, но и многое сделавшего с группой своих учеников и единомышленников для ее реализации. Ларинские идеи, несмотря на их длительную табуизацию, нашли, как известно, выход в некоторых его собственных исследованиях и словарях, созданных последователями Б.А. Ларина. Эти идеи оказались живительными и сейчас, когда большие коллективы русистов в разных городах России (Москве, Петербурге, Саратове, Перми и др.) активно изучают живую речь во всех ее ипостасях. Не случайно поэтому во многих местах книги "Лексика русской разговорной речи" З. Кестер-Тома читатель найдет апелляцию к идеям и проектам Б.А. Ларина (ср. сс. 22, 39, 67 и др.). Причем не просто апелляцию, но и стремление продемонстрировать воплощение этих не потерявших своей актуальности идей в современной лингвистической (особенно лексикографической) практике.

Вслед за Б.А. Лариным автор рецензируемой книги ищет комплексного решения многих проблем разговорной русской лексики. Как и петербургский исследователь, З. Кестер-Тома признает и всесторонне аргументирует динамичный, мобильный характер системы живой речи, переходность ее явлений и неопределенность статуса многих конкретных лексических фактов. С ларинским подходом автора роднит и стремление проверить

гармонию системы разговорной речи алгеброй словарной практики: более половины проблем, рассмотренных в монографии, так или иначе развернуты в сторону лексикографии.

Сами понятие и термин "разговорная речь" автор понимает достаточно диалектично и широко, активно отвергая консервативно представление о ней как об отступлении от норм стандартного (resp. литературного) языка (с. 38). В этом подходе чувствуется опора на русскую лингвистическую традицию таких исследователей, как И.А. Бодуэн де Куртене, А.А. Шахматов, Л.В. Щерба, Л.П. Якубинский и, конечно, Б.А. Ларин. Выработывая собственное понимание этого термина, З. Кестер-Тома не только сопоставляет его с аналогичными терминами, выработанным германистами, романистами и славистами Европы (сс. 46–58; 130–131), но и в полной мере использует достижения нашей русистики, особенно – группы Е.А. Земской, с которой она уже давно активно и плодотворно сотрудничает (ср. [Koester-Thoma, Zemskaya 1995]). Рассматривая понятие разговорной речи и просторечия в спектре оппозиции "кодифицированность – некодифицированность" и трактуя некодифицированную лексику как компонент русской разговорной речи (с. 13), автор определяет последнюю как "процесс, языковое поведение, в результате которого создается разговорный текст как готовый продукт" (с. 46). Более широким понятием и часто употребляемым исследовательницей термином является "субстандарт", в который включается и "просторечие", экстралингвистическими параметрами которого признаются непосредственное участие говорящих в акте коммуникации, неподготовленность (resp. спонтанность) и непри-

нужденность последнего и неофициальный ее характер (с. 132). Понятия и термины "жаргон, сленг, арг" и т.п. оговариваются и квалифицируются в книге дополнительно (с. 144, 153 и др.).

Как видим, при таком освещении проблемы разговорная речь, предстает в более широком общелингвистическом контексте. И действительно, в ходе изложения это понятие находится под постоянным "перекрестным огнем" столь важных оппозиций, как "говорящий – слушающий", "система – норма", "код – текст", "регулярность – экспрессивность" и т.д. Не случайно читателю предлагается общая схема взаимоотношений описываемых в книге понятий (см. с. 52 рецензируемой книги).

Вырабатывая собственную точку зрения на понимание речевого субстандарта, З. Кестер-Тома внимательно изучает динамику его интерпретации в самой России. В этом отношении книга весьма полезна и как критический обзор лингвистической литературы и лексикографических трудов, в которых разговорная речь, просторечие и жаргон были обследованы или описаны. Автор при этом обнаруживает полную осведомленность не только в литературе вопроса, но и во многих новейших тенденциях и программах изучения интересующего ее объекта. Так, она информирует читателя о новаторском проекте экспериментального динамического словаря, составляемого группой Г.Н. Складневской в Институте лингвистических исследований РАН в Петербурге (с. 118).

Читателю (особенно немецкоязычному) будет полезно систематическое изложение подачи разговорной и просторечной речи в русских грамматиках, учебных пособиях и словарях. Собственно, анализ этого предмета и составляет основу всей "трехглавой" книги – ее наиболее объемистую главу "Научные предпосылки" (с. 62–127). В первой главе ("К исследованию разговорной лексики") рассматриваются общие концептуальные и терминологические вопросы, о которых уже говорилось (с. 23–61), в третьей ("Русские языковые варианты") дан самостоятельный анализ лексики просторечия, жаргона, мата и смежных явлений (с. 128–203).

З. Кестер-Тома не просто описывает факты фиксации разговорно-просторечной лексики в различных русских источниках, но и дает им объективную оценку. Сквозь сито такой оценки "просеиваются" грамматики А.Х. Востокова и Ф.И. Буслаева, в которых русская разговорная речь и

просторечие уже нашли более значимое место, чем в грамматической традиции М.В. Ломоносова. Примеры, приводимые автором из этих грамматик (*егоза, забулдыга, запивоха, зюзя, кобенитесь, бабёноц* и др. у А.Х. Востокова – с. 69) до сих пор сохраняют свою актуальность в нашей речевой среде. Особое внимание уделила исследовательница работам В.И. Чернышева, которые значительно продвинули русистику к "узакониванию" речевых явлений и в словарях, и в грамматиках. Сопоставляя "Граматику русского языка" (1952–1954), "Русскую грамматику" (1980) и "Краткую русскую грамматику" (1989), автор показывает, как наши грамматисты медленно, но верно пришли от декларативного признания прав разговорно-речевых элементов на фиксацию к их реальной дегабузации. "Краткая грамматика русского языка" в этом отношении – шаг почти революционный.

С целью проследить эту динамику З. Кестер-Тома анализирует и некоторые русские словари. При этом автор вспоминает критические слова Л.В. Щербы, произнесенные им 26 мая 1939 года при обсуждении проекта "Словаря современного русского литературного языка", из которого была вычеркнута разговорная лексика типа *слямзить, шамать, налимониться* и предупреждение ученого об опасности такого языкового пуризма (с. 64–65). Несмотря на то, что пуристическая традиция в русской лексикографии была не меньшей, чем во французской академической лексикографии, эволюция отношения к разговорной речи и просторечию и здесь была "запрограммирована" самим временем. Даже и в "Словаре церковно-славянского и русского языка" в четырех томах (1843–1847), в котором были зафиксированы 114 749 слов, встречаются, по наблюдениям З. Кестер-Тома, и такие, как *мозгляк* 'слабый, болезненный человек' или *орава* 'масса людей', которые и сейчас квалифицируются как просторечные. Традиция фиксации подобной лексики, продолженная и "Толковым словарем живого великорусского языка" В.И. Даля, и "Словарем русского языка" под редакцией Я.К. Грота и А.А. Шахматова, и "Толковым словарем русского языка" под ред. Д.Н. Ушакова, и "Словарем русского языка" С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, внимательно изучается автором монографии. Читатель найдет и объективные критические замечания (например, о стилистическом статусе оборота *амур имети / возьмети* на с. 109 или упрек в несовершенстве дефиниции для

слова *баламут* на с. 110), и "рейтинговые" рекомендации по стилиевой оценке того или иного словоряда (с. 114, 116), и весьма полезную статистику, основанную на сопоставлении перечисленных словарей.

Для исторической стилистики русского языка значима попытка регистрации и интерпретации помет, которыми снабжалась такого рода лексика и фразеология во всех названных словарях. *Фамильярный стиль устной городской речи, употребляется в просторечии, простонародное, разговорное, фамильярное, шутливое, бранное, вульгарное, грубое, ироническое, презрительное, пренебрежительное, неодобрительное, школьное, охотничье, фабричное, арголическое, детское* и т.д. — набор этих помет и их иерархия постепенно менялись и кристаллизировались, хотя, как подчеркивает исследовательница, так и не достигли в современной лексикографии совершенства. З. Кестер-Тома при этом предлагает читателю сводные таблицы стилистических квалификаторов одних и тех же лексем разными словарями (с. 91–92, 102–104, 112–113), наглядно демонстрирующие определенный "беспредел" в этой лексикографической зоне. Такой "беспредел" здесь традиционен, ибо до сих пор неоднозначны и расплывчивы даже такие широко употребляемые термины, как *стилистический оттенок, стилистическая окраска, стилистическая характеристика, стилистическая помета* (с. 81).

К проблемам стилистической квалификации лексики автор вообще возвращается постоянно, что весьма справедливо и оправдано. Такая квалификация формулируется как одна из целей всего исследования (с. 58). Нерешенность проблемы объясняется З. Кестер-Тома тем, что стилистическая оценка лексики в русской лексикографии и стилистике велась с позиций нормативного употребления, а употребительность слова вне нормы как правило игнорировалась (с. 208). Опыт таких словарей, как словарь под ред. Д.Н. Ушакова и однотомника С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой хотя и вел здесь к дифференцированному подходу, но тем не менее не смог преодолеть этой жесткой, заданной официальной языковой политической установки.

Отмечая переходность граней между разговорной речью, просторечием и жаргоном, автор книги, тем не менее, не становится на позицию стилистического нигилизма. Характерна поэтому ее реакция на новейшую тенденцию некоторых представителей академической лексико-

графии — отказаться вообще от пометы *прост.* Понимая мотивы, побудившие, например, Г.Н. Складневскую к такому отказу, З. Кестер-Тома, однако, выступает за сохранение и этой пометы, и этого понятия уже потому, что последние дают возможность более дифференцированно описывать в словаре соответствующую лексику (с. 129–130). Действительно, как бы критически не относиться к отечественной лексикографической традиции использования пометы *прост.*, эта помета сыграла важную роль в маркировании лексики с повышенной квотой экспрессивности. И пока современная лексикография не разработает новых стилеметрических координат, этому знаковому "мавру" рано уходить из словарного пространства.

Специальному анализу подвергается также разговорно-просторечная и жаргонная лексика в словарях неологизмов — как серии под ред. Ю.С. Сорокина и Н.З. Котеловой, так и в "Словаре перестройки" (под ред. В.И. Максимова, СПб., 1992), "Новые слова. Отражают события 1991 года" Д. Одессе (Paris, 1992), "Neue Wörter und Bedeutungen" Е. Кановой и В. Эгерта (Berlin, 1992). Основное место в этом анализе уделено, правда, первой серии словарей, хотя опыт петербургских, парижских и берлинских "неологов" заслуживает особого внимания, поскольку составители во многом идут своим собственным путем и вводят в оборот несколько иные квоты материала, чем представители русской академической неологии<sup>1</sup>.

Достаточное внимание отводится автором монографии и такому актуальному ныне лексикографическому жанру, как словари жаргона и бранной русской лексики (155 и сл.). Здесь кратко, но точно выявлены лексикографические параметры этих словарей, число которых увеличивается в геометрической прогрессии. С лексикографическим хладнокровием автор относится и к экспансии в современной литературе и словарях такого прежде "неподцензурного" языкового явления, как мат. Это хладнокровие основывается как на регистрации матерщины на страницах самой столичной прессы, так и на обследованиях носителей русского языка. Так, по просьбе автора двадцатичетырехлетняя москвичка, инженер-строитель назвала те лексемы, кото-

<sup>1</sup> См. рецензии автора этих строк на упомянутые словари: *Slavia* 1994. №8. 1. (на словарь Dola Haudressy); *Zielsprache Russisch*, 1993. № 4. (на словарь E. Kanowa und W. Egert).

рыми она сама, ее подруги и друзья активно пользуются на работе и в обиходе (см. сс. 158–159). Этот социологический эксперимент, по замечанию автора, является свидетельством речевого раскрепощения носителей русского языка, в том числе и женской интеллигенции. Факт грустный (особенно для представителей "сильного пола", которые прежде имели почти исключительную монополию на лексику такого рода), но поучительный. Ведь не случайно и автором одного из новейших больших словарей русского мата является женщина – профессор московского вуза Т.В. Ахметова [Ахметова 1996], если, конечно, ее фамилия не псевдоним типа "известного московского лексикографа" Василия Буя, издавшего не менее замечательный словарь [Буй 1995].

Как видим, конкретный материал, который является иллюстрацией книги Э. Кестер-Тома, имеет весьма широкий качественный диапазон: от нейтрально-разговорного и "неграмматно-просторечного" до накалило экспрессивного жаргонного и obscene. Такой диапазон оправдан тем широким охватом проблемы, который входил в задачу автора книги, интересующимся с у б с т а н д а р т о м как единым полем. Широта подхода во многом оправдывается и максималистскими установками Э. Кестер-Тома, и попыткой нащупать основные семантические доминанты анализируемой ею лексики. В третьей главе и в приложении читателю предлагаются большие тематические "гроздьи", сама количественная представленность которых говорит об императиве экспрессивного начала в системе разговорной речи, просторечия и жаргона. Выделяются такие доминанты, как обозначения возраста, физического состояния, внешности, характерных черт характера и поведения, умственных способностей, социальной принадлежности и т.д., что говорит о центростремительной антропоморфичности данной лексики.

Само по себе распределение столь импульсивно развивающейся лексики на тематические группы весьма полезно – оно обогащает "синонимические" сусеки отечественной лексикографии. Вот, например, синонимы слова *автомобиль*, собранные автором: *авто, биби, бибика, драндулет, драндулетина, железка, колымага* (в книге ошибочно – *калымага*, видимо, по ассоциации с *калым*), *кар, колёса, лайба, машинетка, мотор, подкидыш, тачанка, тачка, телега, утюг, шина, шины, мальница, иномарка, воронок, канарейка, клетка, коляска, луноход, ментовка, мигалка, мусоровоз, раковая шейка,*

*синеглазка, упаковка, пылесос* и др. (с. 194–195). Вчитываясь в такие ряды, собранные как из разных лексикографических, литературных и публицистических источников, так и путем социологических обследований носителей, легко понять, почему исследовательницу столь занимает проблема стилистической квалификации разговорной лексики: только такая квалификация может обеспечить дифференцированное описание в словаре, сделать из коллекции лексических раритетов стройную иерархизированную систему.

Дифференцировать недифференцируемое и иерархизировать неиерархизируемое, разумеется, – задача необычайной сложности. Не случайно ее окончательно не решил ни один из предшественников Э. Кестер-Тома. Поэтому и после публикации книги остается немало места для научных дискуссий и рутинной лексикографической работы по уточнению и совершенствованию способов описания разговорно-просторечной лексики. Один из дискуссионных вопросов – вопрос о теоретическом и практическом разграничении разговорной речи и просторечия. Автор монографии, как мы видели, не желает отказываться от второго термина и понятия, а тем самым – и от пометы *прост.* в русских словарях, что кажется в целом оправданным. Оспорить, однако, можно ее утверждение о достаточно четкой границе между просторечием и разговорной речью. Дискутируя с В. Леманном, который признает отсутствие такой четкой границы, Э. Кестер-Тома пишет: «Тем не менее между разговорной речью и просторечием существует все-таки "граница", которая ощущается каждым носителем русского языка» (с. 134). "Ощущение" носителей языка, однако, – весьма субъективно и, как показывают результаты опросов информантов, чрезвычайно дифференцировано в зависимости от возраста, социального статуса и образовательного ценза каждого русского. Именно поэтому в словарях русского языка царит такой стилистический хаос в разграничении этих двух разновидностей живой речи, хаос, который убедительно продемонстрировала своим исследованием и сама его автор. Размытость границы между разговорной речью, просторечием и жаргоном – реальный факт современного русского языка и ощущения его носителей этому факту, как кажется, вполне соответствуют.

Стремление учредить более строгую границу между двумя названными ипостасями русского субстандарта заставляет автора книги искать собственно лингвисти-

ческие признаки, по которым эта граница маркируется. Таким маркером для городского просторечия признается "большое число вариантов", в то время как "разговорная речь в тех случаях, когда она развивает дублиеты, напротив, стремится освободиться от языковых единиц с идентичными значениями и коннотациями" (с. 137). Этот вывод, как кажется, тоже можно оспорить, ибо синонимические и вариантыные ряды разговорной речи и просторечия по своей активности и качественной концентрированности весьма близки друг другу. В этом легко убедиться, раскрыв синонимические словари русского языка, где гнезда "пьяный", "глупый", "много" и др. достаточно сбалансированно наполнены и просторечными, и разговорными лексемами и фраземами. Критерий количественной активности синонимов и вариантов как маркер городского просторечия поэтому следует признать по меньшей мере весьма относительным.

В соответствии с названием автор, естественно, льющую долю исследовательского внимания уделяет лексике. Кажется, однако, что антропоцентричность и высокий экспрессивный потенциал лексической системы разговорной речи и просторечия требуют подключения к ее анализу и фразеологического материала. Он нередко является и источником образования лексем, и их продолжением. В книге З. Кестер-Тома, к сожалению, фразеология приводится лишь спорадически, — отказ от анализа последней даже специально оговаривается в предисловии (с. 13; ср. не включение фразеологического уровня в перечень уровней иерархий просторечия на с. 132). Вместе с тем автору не удалось соблюсти полного фразеологического "иммунитета" и некоторые обороты (типа *Кто пашет, а кто с Мавзолея ручкой машет* — с. 30, *без дураков* — с. 124; *дать на лапу* (с. 145), *крут как варёное яйцо*; *круче тебя только яйца, выше тебя только звёзды* — с. 169) прорываются в конкретные пассажи исследования, так сказать, в общем потоке. Иногда лишь условность графической кодификации превращает фразу в слово — таково, например, наречие *нахалтай* 'бесплатно, на дармовщину' (с. 141), вышедшее из лона активной фразеологической модели типа *на шермака*, *на халтон*, *на шару* и т.п. Дефицит фразеологического материала и его недостаточная комментируемость особо остро ощущаются в тех случаях, когда лексемы и фраземы тесно взаимодействуют и

дополняют друг друга. Так, включение в спектр анализа оборота *на авось* могло бы глубже выявить коннотативные потенции лексем *авосьник*, *авосьница*; выражение *бить (давить) сачка* многое объяснило бы в развитии семантики слова *сачкодав* или *сачок* (с. 31); фразеологизм *сидеть на камчатке* стал бы неплохим диахроническим фоном к слову *камчатка* (с. 165), а включение таких словосочетаний, как *полный беспредел*, *правовой беспредел* и т.п. расширило бы представления о функционировании и семантической экспансии жаргонизма *беспредел*, которое, по справедливому наблюдению В.Г. Костомарова, стало символом нашего времени (с. 127).

Книга З. Кестер-Тома отличается точностью воспроизведения форм и значений разговорно-просторечных и жаргонных лексем, что особо трудно, учитывая лексикографическую неразработанность и непоследовательность их фиксации. Лишь в отдельных случаях можно отметить неточности — например, лексема *сиздить* дефинируется как 'удивляться, совершать что-л. неправильное (*sich wundern, nicht das Richtige tun*)' (с. 158), хотя многим носителям русского языка (правда, носителям-мужчинам, а данную семантику глагола сообщила уже упомянутая московская информантка инженер-строитель) оно известно в значении 'украсть'. Весьма редки в книге, отличающейся немецким полиграфическим качеством, и опечатки типа нем. *verfrüht* вм. *verführt* (с. 131).

Монография берлинской славистки подводит итоги многолетним исследованиям русских и зарубежных специалистов в области разговорно-просторечной лексики. Эта книга своевременна уже потому, что экспансия живой речи на страницы широкой печати требует и теоретического обобщения, и лексикографической фиксации. З. Кестер-Тома и рецензируемой работой, и другими своими лексикографическими трудами [Koester-Thoma, Rom 1985] немало сделала для выполнения этих двух актуальных задач. Завершенный и подготовленный автором к печати "Словарь русского просторечия: лексика, фразеология, грамматические формы" и завершаемый словарь русской разговорной речи — следующие этапы комплексного описания разговорно-просторечной лексики, намеченные автором (с. 140). Хотелось бы пожелать автору этих "судьбоносных" проектов довести их до конца уже в нынешнем столетии.

- Ахметова Т.В. 1996 – Русский мат. Толковый словарь. М., 1996.
- Буй В 1995 – Русская заветная идиоматика. Веселый словарь крылатых выражений. М., 1995.
- Koester-Thoma S., Rom E. 1985 – Wörterbuch der modernen russischen Umgangssprache. Russisch-Deutsch. München, 1985.

Koester-Thoma S., Zemskaja E. 1995 – Russische Umgangssprache. Phonetik, Morphologie, Syntax, Wortbildung, Wortstellung, Lexik, Nomination, Sprachspiel/ Hrsg. S. Koester-Thoma, E.A. Zemskaja. Berlin, 1995.

В.М. Мокиенко

\* Ю.Д. Апресян, О.Ю. Богуславская, И.Б. Левонтина, Е.В. Урысон, М.Я. Гловинская, Т.В. Крылова. Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. Первый выпуск / Под общ. руководством академика Ю.Д. Апресяна. М.: Школа "Языки русской культуры", 1997. 511 с.

Выход в свет этого словаря – бесспорно, одно из самых крупных событий в мировой лексикографии последних десятилетий. Казалось бы, этому утверждению противоречит то обстоятельство, что рецензируемый словарь включает всего 132 синонимических ряда (для сравнения: двухтомный Словарь синонимов 1970–1971 гг. под ред. А.П. Евгеньевой содержит около 4000 синонимических рядов [Словарь синонимов 1970–1971], а Словарь синонимов 1989 г. З.Е. Александровой – 11000 рядов [Александрова 1989]). Необходимо, однако, иметь в виду, что это лишь первый выпуск, за которым, надеемся, последуют другие. Однако основная причина столь резкого различия количественных характеристик сравниваемых синонимических словарей не в этом: Новый объяснительный словарь синонимов русского языка неизмеримо богаче по информации (грамматической, семантической, прагматической), помещаемой в словарной статье. Это, в отличие от словарей Александровой и Евгеньевой, словарь другого типа, словарь актуальный. В Проспекте к словарю (1995 г.) отмечается, что словарь рассчитан на говорящего, предназначен для развития навыков устной и особенно письменной речи и потому "должен давать полную характеристику значений синонимов, их грамматических форм, типичных для них синтаксических конструкций <...> и лексико-семантической сочетаемости, а сверх этого должен включать перечень семантически родственных им лексем..." [Проспект: 29]. В рецензируемом словаре словарная единица (синонимический ряд) не есть нечто изолированное, оторванное от других рядов: детально описывается место ряда (и отдельных его членов) в лексической системе языка, дается полный перечень лексем, семантически

связанных с тем или иным синонимом (конверсивы, антонимы, гиперонимы, гипонимы, разного рода дериваты). Тем самым словарь содержит строго систематизированный большой фрагмент русской лексики (по нашим подсчетам – около 5000 слов).

Два указанных теоретических принципа словаря – активность и системность – связаны с третьим – интегральностью лингвистического описания, которая заключается в максимальной согласованности грамматики и словаря. Проводя в жизнь эти теоретические установки, авторы словаря предлагают, кроме богатейшей семантической информации, полную характеристику морфологических, сочетаемостных, синтаксических свойств синонимов (включая модели управления). В нем дается также информация, которая никогда раньше не описывалась в словарях, – информация о просодических и коммуникативных свойствах лексем. Неудивительно, что Новый словарь синонимов, несопоставимый по величине словника со словарями З.Е. Александровой и А.П. Евгеньевой, вполне сопоставим с ними по объему.

Непосредственным прототипом для Нового словаря синонимов послужил "Англо-русский синонимический словарь" (М., 1979 г.), реализующий концепцию, развиваемую Ю.Д. Апресяном с конца 50-х годов. Рецензируемый труд не имеет аналогов в мировой лексикографии. Однако, несмотря на его новаторский характер, следует говорить не о разрыве с мировой лексикографией, а о новом ее этапе. "Новую лингвистику" часто обвиняют (не всегда обосновательно) в пренебрежительном, "нигилистическом" отношении к традиционной русистике. Авторов Нового словаря синонимов и Проспекта к нему обвинить в этом

невозможно: они обнаруживают глубокое знание традиционной русской (и мировой) лексикографии и бережное отношение к ее достижениям (так, при установлении состава синонимических рядов они существенно опираются на Словарь синонимов З.Е. Александровой).

Новый словарь синонимов содержит 132 синонимических ряда, большинство из которых публикуется впервые, а остальные, публиковавшиеся ранее, существенно переработаны и дополнены авторами для нового издания.

Во Введении содержится описание 1) структуры словарной статьи и 2) лингвистической терминологии словаря. Этот второй раздел Введения содержит краткие, но чрезвычайно четкие и научно обоснованные определения многих терминов современной лингвистики и представляет самостоятельную ценность, особенно для студентов и аспирантов-филологов. Однако самое серьезное наше критическое замечание касается именно Введения. Видимо, опасаясь повторов, авторы не стали излагать в словаре даваемую в Проспекте теорию словаря, его место в синонимической лексикографии (русской и мировой) и т.п. Это, бесспорно, просчет авторов (и издателей): словарь теряет свою автономность, остаются непонятными некоторые не только теоретические, но и чисто технические вопросы (например, выделение значений того или иного слова, смысл и происхождение соответствующих цифровых индексов, типа *разумный* 2.1, *свободный* 9.1). Напомним в этой связи, что обширное теоретическое Введение академика В.В. Виноградова к первой Академической грамматике русского языка не помешало ей стать (и остаться до сих пор) лучшей грамматикой русского языка. Надеемся, однако, что в очередном выпуске рецензируемого словаря эта ошибка будет исправлена и в нем будет воспроизведена (разумеется, с необходимыми изменениями) теоретическая часть вводной главы Проспекта.

Словарная статья Нового словаря синонимов делится на девять зон (в которых выделяются подзоны): 1. Вход словарной статьи (сам синонимический ряд со стилистическими пометами, семантические группы внутри ряда); 2. Преамбула (место синонимического ряда в лексической системе); 3. Значения (содержательные сходства и различия между синонимами); 4. Примечания; 5. Формы (сходства и различия между синонимами по наборам морфологических форм); 6. Конструкции (различия между синонимами в наборах синтаксических кон-

струкций, в частности, в модели управления, в порядке слов); 7. Сочетаемость (сходства и различия между синонимами в лексико-семантической, морфологической, коммуникативно-просодической и иных видах сочетаемости); 8. Иллюстрации; 9. Справочные зоны (парадигматические семантические связи между членами синонимического ряда и другими лексемами – аналогами, конверсивами, антонимами, дериватами; библиография).

Несмотря на исключительное богатство приводимой информации и сложность структуры Нового словаря синонимов, содержащиеся в нем статьи написаны предельно просто, четко, без использования сложной символики (чем грешит, например, Толково-комбинаторный словарь современного русского языка И.А. Мельчука и А.К. Жолковского [Мельчук, Жолковский 1984]). Статьи рецензируемого словаря, каждая из которых, в сущности, представляет собой отдельную научную работу, вполне доступны (несмотря на большой объем словарной статьи) даже для неспециалиста.

Несомненным достоинством Нового словаря синонимов является композиционная и даже стилистическая унифицированность материала. Она достигается не только наличием четких теоретических установок и требований к содержанию и структуре словарной статьи (которых строго придерживаются авторы), не только тем, что статьи тщательно отредактированы научным руководителем работы, – важную роль сыграло то обстоятельство, что все без исключения статьи (в том числе и статьи, написанные научным руководителем) были всесторонне обсуждены на рабочих заседаниях Сектора теоретической семантики Института русского языка им. В.В. Виноградова.

Словарь строится на богатом материале. Это машинный корпус текстов – свыше пяти миллионов словоупотреблений, а также собственные карточки авторов словаря. Использовались произведения русской литературы XIX–XX вв. (проза, поэзия, драматургия, мемуары, публицистика, газетные репортажи и т.п.). Важно отметить, что Новый словарь синонимов полностью преодолевает два существеннейших недостатка наших толковых и синонимических словарей: 1) архаичность, преобладающая ориентация на русскую литературу XIX в., 2) идеологизированность, обилие цитат из убогих, казенно-сукожных (как они справедливо оцениваются в Проспекте) текстов советских вождей.

Новый словарь синонимов – вклад не только в лексикографию, но и в лексикологию и в теоретическую семантику. Поражает глубина семантического анализа синонимических рядов и отдельных их членов. После толкования синонимического ряда (т.е. общей части значения всех членов ряда) детально описываются сходства и различия между отдельными членами рядами, рассматриваются подгруппы внутри ряда, выделяемые по тому или иному признаку. Стремление к точности семантического анализа позволило авторам разделять *точные и неточные* конверсивы и антонимы, выделять наряду с синонимами *аналоги* (слова, близкие по значению с членами синонимического ряда, но все-таки “не дотягивающие” до статуса синонимов).

Чрезвычайно интересно входить в творческую лабораторию исследователей того или иного синонимического ряда. Тонкие наблюдения над семантикой отдельных слов и синонимических рядов позволили авторам выделить (практически в каждой статье) важные компоненты смысла, а также особенности употребления, которые обычно оставались незамеченными.

Разумеется, не со всеми принятыми решениями мы можем согласиться. Вот две конкретные “придирки”.

1) Семантическое своеобразие лексики *корпус 4* в контекстах типа *административный корпус санатория* и т.п. (тонко подмечаемое самим автором статьи!), а также особенности синтаксической сочетаемости настолько велики, что это препятствует, на наш взгляд, ее включению в синонимический ряд *дом1, здание, строение 2, постройка*. Может быть, точнее было бы говорить здесь об аналоге.

2) Автор статьи, описывающей слово *покойник*, выделяет два значения этого слова: *покойник1* (при описании человека после смерти, напр.: *На столе лежал покойник*) и *покойник2* (при описании человека до его смерти, напр.: *Покойник любил французские романы*). Нам это разделение представляется несколько искусственным; говорящие, нам кажется, не делят образ человека на два – до и после смерти, но присваивают покойнику “двойную ипостась”, нечто вроде: ‘взрослый человек, который до недавнего времени был живым, но в момент речи мертв’ (компоненты ‘взрослый человек’ и ‘до недавнего времени’ объясняют неправильность фраз *\*На столе лежал пятилетний покойник; \*Николай II был последним русским царем. Покойник отличался мягким характером*). В пользу неразграничения двух значений

слова *покойник* говорят примеры типа *Покойник и при жизни не отличался красотой*, где явно совмещены оба значения. Косвенным свидетельством в пользу такого понимания являются и некоторые примеры использования слова *труп*. Весьма показательна известная строка: *Знакомый труп лежал в долине той*. В романе “Цар” В. Набоков пишет: *«Вам никогда не приходило в голову, что лермонтовский “знакомый труп” – это безумно смешно, ибо он, собственно, хотел сказать “труп знакомого”, – иначе ведь непонятно: знакомство по смертному контекстом не оправдано»*. Действительно, неточность, но неточность очень показательная: даже в слове *труп* (казалось бы, обозначающем только мертвое тело!) человек до смерти и после смерти может мыслиться (пусть это понимание необычно) как нечто единое. Тем более это справедливо по отношению к *покойнику*.

Разумеется, в обоих рассмотренных конкретных примерах речь идет не об ошибках авторов словаря, а о возможности разного понимания некоторых сложных случаев, что вполне естественно.

Словарь чрезвычайно интересен также и в общетеоретическом плане, в частности, в связи с одной важной теоретической проблемой, которая оживленно обсуждается в последнее время и вызывает много споров, – проблемой “цельности” или “атомарности” лексических значений. Интуитивно ощущаемое представление о единстве слова во всех его значениях явилось причиной резкой критики “атомарного” рассмотрения языковых значений, выделения большого числа значений одного слова (см., например, статью Н.В. Перцова [Перцов 1996]). Вряд ли, однако, даже самые ярые противники “атомарного” подхода смогут отрицать, что в синонимический ряд слово входит лишь “одним боком”, одним из своих значений, тогда как другие значения могут включаться в другие ряды, по значению иногда резко отличающиеся от первого. Так, прилагательное *пустой1.1* входит в синонимический ряд со словами *пустующий, опустевший, опустелый, порожний1* – ‘такой, где отсутствует нечто, чего в данном месте естественно ожидать’, а *пустой1.2* – в ряд со словами *полой, пустотелый* – ‘имеющий внутри пустое пространство, окруженное со всех сторон однородным материалом’, и члены двух рядов во взаимозаменяемы, ср.: *В пустой комнате свалены в углу старые стулья* (не: *\*В полой, пустотелой комнате...); пустые стебли тростника* (не:

\*пустующие, опустевшие, порожние стебли...). Важно также, что это касается и морфологических, синтаксических, сочетаемостных свойств, которые иногда резко различны для разных значений одного слова.

Техническое исполнение книги выше всяких похвал: издательство Школа "Языки русской культуры", известное тем, что оно издает быстро и хорошо, превзошло здесь само себя.

Подводя итог, можно сказать, что рецензируемый словарь знаменует начало нового этапа отечественной и мировой синонимической лексикографии. В нем облекаются в плоть и кровь теоретические положения, в течение десятилетий развиваемые академиком Ю.Д. Апресяном, и блестяще доказываются их жизнеспособность и практическая применимость. Несомненно, что рецензируемый словарь представляет громадный интерес не только для специалистов по лексикологии и лексикографии русского языка (для которых он станет настольной

книгой), но для самого широкого круга филологов, включая студентов, преподавателей русского языка, писателей, журналистов.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Александрова З.Е.* 1989 – Словарь синонимов русского языка. М., 1989.
- Мельчук И.А., Жолковский А.К.* 1984 – Толково-комбинаторный словарь современного русского языка. Вена, 1984.
- Перцов Н.В.* 1996 – О некоторых проблемах современной семантики и компьютерной лингвистики // Московский лингвистический альманах. Вып. 1. М., 1996.
- Прспект 1995 – *Ю.Д. Апресян, О.Ю. Богуславская, И.Б. Левонтина, Е.В. Урысон.* Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. Прспект. М., 1995.
- Словарь синонимов 1970–1971 – Словарь синонимов русского языка: В 2-х томах / Гл. ред. А.П. Евгеньева. Л., 1970–1971.

*В.З. Санников*

## НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

## ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

18–20 сентября 1996 г. в Ополе (Польша) состоялась 10-я Всепольская ономастическая конференция с большим привлечением иностранных участников. Было проведено три пленарных заседания. Основная работа велась параллельно в трех секциях. Всего прочитано 58 докладов. Главные темы конференции: Ономастическая грамматика; Изменения имен; Переименования.

Р. Шрамек (Брно) в докладе "Ономастичность ономастической грамматики" подчеркнул, что в ономастике существует ряд категорий, не свойственных аппелятивной грамматике. Проприальный план языка использует иные грамматические формы. Существующие грамматики не дают достаточной информации об этом. Тем не менее, граница имен собственных и нарицательных может быть обнаружена на грамматическом уровне. Такие категории, как деминутивность, антропоформанты, топоформанты, тополексемы, онимизация, трансоимилизация, присущи лишь собственным именам. В каждом языке имеются свои ономастические маркеры – суффиксы, предлоги, флексии, вокатив, утраченный аппелятивами.

Развивая положение Е. Куриловича о положении имени собственного в языке, многие выступающие в своих докладах показывали различные типы отличий имен собственных от нарицательных, в том числе и в области синтаксиса. Большую дискуссию вызвал вопрос, может ли имя собственное выступать в функции предикатива во фразах типа *Я – Ева; Меня зовут Ева; Я зовусь Евой; Он подобен Улису* (т.е. хитрый); *Это настоящий Соломон* (т.е. мудрый). Специальный доклад на эту тему сделала М. Бэлик (Ольштин). В дискуссии высказывалась точка зрения, что имя собственное может быть предикативом лишь тогда, когда оно находится на пути аппеля-

тивации. *Это Наполеон* (у него замашки Наполеона), когда имя хорошо известно – *Варшава была под Наполеоном*, или метафорически: *Это Пенелопа* (она подобна Пенелопе). Высказывалось также мнение, что во фразах типа *Это Янек; Это Петров; Новый город Гдыня* имя собственное выступает в функции идентификации (презентации), которой нет у имен нарицательных.

Ряд докладов был посвящен морфологии имен собственных.

П. Жиго (Братислава) отметил, что многие ойконимы создавались путем смены парадигмы имени нарицательного (путем изменения рода, числа): словацкие *Конске, Крайне* (из *конска, крайна*), *Дворы, Сады* (из *двор, сад*).

О.Т. Молчанова (Ярославль) отметила, что создание оптимальной модели географических названий – тенденция всех языков. Сопоставляя топонимы славянских, германских и тюркских языков, она выявила общую тенденцию их развития: от семантически прозрачных к неясным. Введению последних в онимические ряды помогают специальные маркеры – географические термины. Морфологическая организация онимов имеет общие позиции в языках разных типов. Оттопонимические дериваты занимают особое место в системе географических названий.

М. Вуйтович (Познань) на большом фактическом материале от Остромирова Евангелия до наших дней прослеживает изменения окончаний русских христианских имен, отмечая, что в отказных и таможенных книгах XVI в. много усеченных форм: *Алфёр, Артём, Афанас, Астах, Денис, Ефим, Влас*, а также форм со вторичными окончаниями: *Ефиман, Дорофан, Олимпан; Фокай, Минай*.

А.В. Суперанская (Москва) рассмотрела морфологические типы русских фамилий. Они составляют стройные ряды,

при этом для выделения ряда важен не только суффикс, но и предшествующие ему элементы, отражающие словообразование предшествующих этапов и представляющие собой тесно спаянные цепочки нескольких суффиксов: *Помогателев, Родителев, Пушкарёв, Рыжевцев, Рюмичев, Ростоцков, Сапожёнков, Рябеньков, Путимов, Роговин, Головкин, Разумейкин, Сафонкин, Пышечкин*.

В нескольких докладах говорилось об орфографии собственных имен.

Э. Б р е з а (Гданьск) показал различные орфограммы одних и тех же фамилий: *Klajn, Klejn, Weis, Weiss, Wejs, Pik, Pieck*.

М. М а л е ц (Краков) отметила интенсификацию процесса появления удвоенных согласных в женских именах: *Ютта, Лотта, Ритта, Виолетта; Изабелла, Марселла, Даниелла; Регинна, Антонна, Богданна, Янна*. В XIX в. неоправданные геминаты часто встречались в польских апеллативах.

Некоторые докладчики говорили о переименовании географических объектов и о новых элементах в топонимии.

Д. Г. Б у ч к о (Тернополь) рассмотрел изменения, происшедшие в топонимии Украины после 1946 г. Издавна на Украине проживало до 30 народов. После 1946 г. число их сократилось. Исчезли географические названия с основой *татар-, немец-, польск-*; неславянские названия украинизированы, как и названия других славянских языков: *Зимнаудка* стала *Холодноводковка*, *Фалькенберг* – *Сокологирка*, *Зайончики* – *Зайчики*, *Боень* (румынское) – *Боляны*, *Янушкевичи* – *Иванивка*. Исчезли названия, образованные от топонимов других стран: *Варшавка, Люксембург*, топонимы с основой *бискуп-*. В результате утрачены архаичные модели: *Жидятчи* стали *Гамалеевкой*, изменены модели, деформирована система. Таким образом стремились сделать топонимию одноязычной, однонациональной, прозрачной. В юго-западной Украине некоторые объекты переименовывались по несколько раз.

В. Л у ч и к (Кировоград) обратил внимание на новые элементы и явления в гидронимии Центральной Украины. В процессе славянизации речка *Караэль* (тюркск. *черный путь*) превращается в *Карабель*, затем в *Корибельная*; населенное место

*Вуковар* (венг. поселение *Вука*) дало название ручью *Вуковар*, которое превратилось в *Букварский*. Ряд мелких гидрообъектов получил свои названия метафорически: пруд *БАМ* (очень большой), пруд *Байкал* (с чистой водой).

Появление новых онимических категорий в посткоммунистическом обществе отмечалось в следующих докладах.

Э. Х о ф ф м а н н (Вена) показал появление новых классов собственных имен в России после 1991 г.: названия фирм, корпораций, акционерных обществ, компаний, банков, издательств, радиостанций, фондов, компьютерных программ. Становлению этого пласта лексики мешает недостаточность знаний в области правовых аспектов товарных знаков и рекламы, отсутствие единой терминологии, что затрудняет переговоры с иностранными инвесторами. Американизация экономики ведет к американизации некоторых систем названий. Эта область сейчас подвержена самым сильным языковым изменениям.

К. Г у т ш и д т (Дрезден) говорил о расширении ономастического пространства в славянских странах на данном этапе их развития за счет появления указанных выше классов собственных имен. Масса идеологических названий уходит в прошлое. Появляются новые классы онимизированных объектов, происходит ономастический переворот. Одинаковые или очень похожие названия появляются в разных странах: издательство *Атлантис* – в Польше, Чехии, Болгарии; *Геликон* – в Болгарии, *Новый Геликон* – в России.

Подводя итоги. Э. Э й х л е р (Лейпциг), Э. Ж е т е л ь с к а - Ф е л е ш к о (Варшава), Ст. Г а й д а (Ополе) отметили, что подобные конференции побуждают к работе. Показатель ономастической зрелости – атлас. Первый том общеславянского ономастического атласа скоро выйдет. Из-за отставания восточно-славянской ономастики трудно реализовать общеславянские проекты. Планируется создание энциклопедии славянской ономастики.

Следующая общепольская ономастическая конференция – в 1998 г. в Быдгоще (июнь). В августе того же года в Кракове состоится Международный конгресс славистов, к которому планируется выпуск специального тома, посвященного ономастике.

А. Суперанская (Москва)

УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ,  
ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ  
"ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ" В 1997 г.

Статьи

Абдиев Т.К. Конструкции с каузативными глаголами в киргизском языке.....	1
Альквист А. Мерянская проблема на фоне многослойности топонимии.....	6
Апресян В.Ю. Семантика и ее рефлексy у наречий усилия и малой степени.....	5
Арутюнова Н.Д. О стыде и стуже.....	2
Бабаева Е.Э., Журавлев А.Ф., Макаева И.И. О проекте "Исторического словаря современного русского языка".....	2
Бабурин К.Б. Этнолингвистический аспект в исторической лексикографии.....	3
Булыгина Т.В., Шмелев А.Д. Референция и смысл выражений <i>мясопуст (мясопустная неделя)</i> и <i>сыропуст (сыропустная неделя)</i> .....	3
Вендина Т.И. К проблеме центрального и маргинального ареалов Славии.....	2
Воркачев С.Г. Безразличие как этносемантическая характеристика личности: опыт сопоставительной паремиологии.....	4
Гак В.Г. Типология аналитических форм глагола в славянских языках (Иррадиация и конкатенация).....	2
Гак В.Г. Особенности библейских фразеологизмов в русском языке (в сопоставлении с французскими библеизмами).....	5
Гальченко М.Г., Яценко А.Н. Палеографические и графико-орфографические особенности Лествиц 1421 и 1424 гг., написанных в Константинополе и на Афоне русским монахом Евсевием-Ефремом (к вопросу о втором Южнославянском влиянии).....	1
Голева Г.С. Персидская фразеология (лингвосоциокультурологический аспект).....	5
Добровольский Д.О. Национально-культурная специфика во фразеологии (I).....	6
Добродомов И.Г. Еще раз: <i>Куряне сведоми къмети</i> "Слова о полку Игореве".....	3
Дитрих В. Очерк исторического развития новогреческого в сопоставлении с формированием романских языков из народной латыни.....	3
Живов В.М., Тимберлейк А. Расставаясь со структурализмом (тезисы для дискуссии).....	3
Живов В.М. Заметки об историческом синтаксисе русского языка (По поводу книги: G. Hüttl-Folter. Syntaktische Studien zur neueren russischen Literatursprache. Die frühen Übersetzungen aus dem Französischen. Böhlau Verlag. Wien; Köln; Weimar, 1996. 319 S.).....	4
Замятина Н.А. Из истории изучения иконных надписей.....	2
Калнынь Л.Э. Русские диалекты в современной языковой ситуации и их динамика.....	3
Кибрик А.Е. Иерархии, роли, нули, маркированность и "аномальная" упаковка грамматической семантики.....	4
Крысько В.Б. Verba pretii в истории русского и других славянских языков.....	2
Лантева О.А. К формально-функциональному моделированию системы устно-разговорного синтаксиса.....	2
Лютикова Е.А. Рефлективы и эмпфаза.....	6
Майер И. Русское глагольное управление XVII в.: проблема своего и чужого (На материале "Вестей-Курантов").....	5
Маковский М.М. Язык – миф – культура. Символы жизни и жизнь символов.....	1

Максимович К.А. Глоссы и интерполяции в Ефремовской кормчей XII в.....	3
Мароевич Р. Методологические вопросы реконструкции древнеславянских топонимов (деривационно-семантический и деривационно-фонетический аспекты).....	3
Михайлова Т.А. К "грамматике" заговора (о словесной магии в древнеирландской поэтической традиции).....	2
Молдован А.М. Лексический аспект в истории церковнославянского языка.....	3
Мустайки А. Возможна ли грамматика на семантической основе?.....	3
Никитин М.В. Предел семиотики.....	1
Островский Б.Я. Эвиденциальность и перфектные формы (на материале языка дари).....	6
Падучева Е.В. Родительный субъекта в отрицательном предложении: синтаксис или семантика?.....	2
Пириайнен Е. "Область метафорического отображения" – метафора – метафорическая модель (на материале фразеологии западно-мюнстерландского диалекта).....	4
Плотникова А.А. Семантический подход к описанию терминологии южнославянской обрядности.....	2
Потапова Р.К., Прокopenko С.В. К опыту изучения семантико-синтаксической ритмизации текстов художественной прозы.....	4
Потапов В.В. К современному состоянию проблемы вымирающих языков в некоторых регионах мира.....	5
Ратмайр Р. Функциональные и культурно-сопоставительные аспекты прагматических клише (на материале русского и немецкого языков).....	1
Рудницкая Е.Л. Проблема алтайского сочинения в корейском языке.....	6
Семенов А.Л. Особенности лексических заимствований в китайском языке.....	1
Степанов Ю.С. Непарадигматические передвижения ударения в индоевропейском (I. Вокруг законов Ваккернагеля и Лескина).....	4
Тимберлейк А. Аугмент имперфекта в Лаврентьевской летописи.....	5
Толстой Н.И. Slavia Orthodoxa и Slavia Latina – общее и различное в литературно-языковой ситуации (опыт предварительной оценки).....	2
Топорова Т.В. Индоевропейские параллели древнегерманских заговоров.....	2
Трубачев О.Н. Мои воспоминания о Никите Ильиче Толстом.....	2
Федосюк М.Ю. Нерешенные вопросы теории речевых жанров.....	5
Филимонова Е.Ю. К вопросу об иерархическом упорядочивании лиц. Выделенность 2-го лица. Гипотеза языковой корреляции.....	4
Филипенко М.В. Об иерархии аспектуальных характеристик в высказывании (к анализу адвербиалов – определителей "процесса").....	5
Черткова М.Ю., Плуныян В.А., Рябчиков А.А., Кузнецов Д.О. Ответы на анкету аспектологического семинара филологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.....	3
Шаламова А.Н. Словарь русского языка XI–XVII вв.: проблемы и результаты (по материалам авторских томов).....	5
Шилов А.Л. Арсальные связи топонимии Заволочья и географическая терминология Заволочской чуди.....	6
Шульга М.В. Славянский грамматический род: привативная оппозиция.....	3
Шутова Е.И. Сложение значимых моносиллабов как грамматический способ современного китайского языка (на материале класса именных полисиллабов).....	1
Янин В.Л., Зализняк А.А. Берестяные грамоты из новгородских раскопок 1996 г.....	2
Ясан Л. О принципах выделения видовой пары в русском языке.....	4

#### ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

Благова Г.Ф. Периодизация литературных тюркских языков в архивных работах академика А.Н. Самойловича.....	2
Кнорина Л.В. Лингвистические аспекты еврейской традиции комментирования.....	1
Самойлович А. О среднеазиатско-турецком литературном языке и его отношении к другим турецким языкам. Петроград 1917.....	2

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обзоры

Дементьев В.В. Изучение речевых жанров. Обзор работ в современной русистике.....	1
Сигал К.Я. Проблема иконичности в языке (обзор литературы).....	6
Шелестюк Е.В. О лингвистическом исследовании символа (обзор литературы).....	4

Рецензии

Алпатов В.М. <i>J. Edwards. Multilingualism</i> .....	1
Бояркина В.Д. Национальные лексико-фразеологические фонды.....	4
Вендина Т.И. Лексичны атлас беларускіх народных гаворах (Т. 1-5).....	2
Вендина Т.И. Л.П. Комягина. Лексический атлас Архангельской области.....	4
Гак В.Г. Т.А. Репина. Сравнительная типология романских языков (французский, итальянский, испанский, португальский, румынский).....	4
Демьянко В.З. М.М. Маковский. Сравнительный словарь мифологической символики в индоевропейских языках. Образ мира и миры образов.....	3
Добродомов И.Г. <i>Palaeoslavica. International journal for the study of Slavic Medieval literature, history, language and ethnology</i> .....	5
Добродомов И.Г. М.Ф. Мурьянов "Слово о полку Игореве" в контексте европейского средневековья.....	5
Журавлев А.Ф. Новгородский областной словарь.....	2
Казанский Н.Н. <i>A.L. Sihler. New comparative grammar of Greek and Latin</i> .....	5
Климов Г.А., Эдельман Д.И. Th.V. Gamkrelidze, V.V. Ivanov. Indo-European and the Indo-Europeans. A reconstruction and historical analysis of a Proto-language and a Proto-culture.....	5
Клобук в Е.В. Межкатегориальные связи в грамматике.....	6
Мокиенко В.М. <i>J. Petermann, R. Hansen-Kokorus, T. Bill. Russischdeutsches phraseologisches Wörterbuch</i> .....	1
Мокиенко В.М. Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей.....	2
Мокиенко В.М. <i>Koester-Thoma Soia. Die Lexik der russischen Umgangssprache. Forschungsgeschichte und Darstellung</i> .....	6
Подлеская В.И. <i>T. Givón. Functionalism and grammar</i> .....	3
Санников В.З. Ю.Д. Апресян, О.Ю. Богуславская, И.Б. Левонтина, Е.В. Урысон, М.Я. Гловинская, Т.В. Крылова. Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. Первый выпуск.....	6
Супрун В.И. Русская ономастика и ономастика России: словарь.....	3
Тихонов А.Н. Контактологический энциклопедический словарь-справочник. Выпуск I: Северный регион. Языки народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в контактах с русским языком.....	4
Усачева В.В. <i>Ласло Дэжé. Деловая письменность русинов в XVII-XVIII веках. Словарь, анализ, тексты</i> .....	2
Черданцева Т.З. Т.С. Аристова, М.Л. Ковшова, Е.А. Рысева, В.Н. Телия, И.Н. Черкасова. Словарь образных выражений русского языка.....	1
Швейцер А.Д. Американа. Англо-русский лингвострановедческий словарь.....	3
Юдин А.В. Славянские древности: этнолингвистический словарь в 5-ти томах.....	2

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки.....	1,3,6
---------------------------	-------

## К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

1. Рукописи представляются в двух экземплярах; текст и подстрочные примечания обязательно должны быть напечатаны на машинке или на компьютере через два интервала. После подписи указываются сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, место работы, занимаемая должность, ученая степень, домашний адрес, телефон.

2. Примеры в журнале принято давать курсивом (подчеркивать в рукописи волнистой чертой), а значения их в кавычках.

3. Библиография в журнале оформляется следующим образом:

3.1. Список использованной литературы дается в конце статьи по алфавиту фамилий авторов и оформляется так:

– "Код работы" (фамилия и инициалы авторов, год выхода цитируемой работы), тире, название работы. В случае, если авторов больше двух, допустимо указывать только одного автора плюс выражение типа "и др." или "et al."

– Если это монография, то после точки указываются место и год издания, например: *Успенский Б.А.* 1994 – Краткий очерк истории русского литературного языка (XI–XIX вв.). М., 1994.

– Если это статья, то после двойного слэша (//) указывается журнал (допустимы при этом стандартные сокращения) или выходные данные сборника, например:

*Трубецкой Н.С.* 1990 – Общеславянский элемент в русской культуре // ВЯ. 1990. № 2, 3.

– Если это сборник или иное аналогичное издание, то "кодом" является одно из двух:

а) фамилия и инициалы редактора (или редакторов; допустимы сокращения как и в ссылке на авторскую работу, см. выше) с указанием "ред." (для других языков – ed., hrsg. и т.п.) и год;

б) сокращенное название и год.

В обоих последних случаях вслед за ключом после тире указывается полное название работы, а после точки – место, запятая, год издания, например:

*Greenberg J. ed* 1978 – *Universals of human language*. V. 1. Method and theory. Stanford (California), 1978.

*Universals...* 1978 – *Universals of human language*. V. 1. Method and theory. Stanford (California), 1978.

3.2. В тексте ссылки на литературу даются в квадратных скобках; фамилия (и инициалы автора, если это необходимо во избежание недоразумений), год публикации работы с указанием цитируемых страниц (если это существенно). Например [В.В. Иванов 1992: 34], [W. Jones 1890]. Если в библиографии упоминаются несколько работ одного и того же автора и года, используются уточнения типа: [W. James 1890a]. Под этим же кодом упоминается данная работа в списке литературы.

3.3. Подстрочные примечания, которые сохраняются наряду со списком использованной литературы, имеют сквозную нумерацию.

4. Неприятые рукописи не возвращаются.

5. Статьи, опубликованные или направленные в редакции других журналов, не принимаются.

6. Авторам публикуемых статей направляется копия наборного экземпляра, который является окончательным вариантом сдаваемого в набор материала; корректура авторам не высылается.

Статьи, оформленные не в соответствии с указанными выше правилами, к рассмотрению в журнале "Вопросы языкознания" не принимаются.

## CONTENTS

A.L. Š i l o v (Moscow). Areal links of toponymy in Zavoločje and geographical terminology of the Zavoloč Chud'people; A. A l q u i s t (Helsinki). The Merjan problem studied on the background of polystratic toponymy; D.O. D o b r o v o l ' s k i j (Moscow). National and cultural peculiarities of phraseology (I); E.A. L j u t i k o v a (Moscow). Reflexives and emphasis; B.Ya. O s t r o v s k i j (Moscow). Evidentiality and perfect forms (founded on the materials of the Dari language); E.L. R u d n i c k a j a (Moscow). Problems of Altaic coordination in the Korean language; Surveys: K.Ya. S i g a l (Moscow). The problem of iconicity in language (a survey of literature); **Reviews:** E.V. K l o b u k o v (Moscow). Intercategorical relations in grammar; V.M. M o k i e n k o (St.-Petersburg). *Koester-Thoma Soia. Die Lexik der russischen Umgangssprache. Forschungsgeschichte und Darstellung;* V.Z. S a n n i k o v (Moscow). *Yu.D. Apresjan, O.Yu. Boguslavskaja, I.B. Levontina, E.V. Uryson, M.Ya. Glovinskaja, T.V. Krylova. The new explanatory dictionary of the Russian language. Part I; Scientific life:* Chronicle features.

Технический редактор *О.Н. Никитина*

---

Сдано в набор 29.08.97.

Подписано к печати 13.10.97.

Формат бумаги 70×100 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>

Офсетная печать.

Усл.печ.л. 11,7

Усл.кр.-отт. 18,6 тыс.

Уч.-изд.л. 13,5

Бум.л. 4,5

Тираж 1555 экз. Зак 2453

---

Адрес редакции: 121019, Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2. Институт русского языка,  
телефон 201-74-42

Московская типография № 2 РАН, 121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6